



TARTU ÜLIKOOLI
VENE KIRJANDUSE KATEEDER
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК
XIII

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА:
МЕТРОПОЛИЯ И ДИАСПОРА

ТАРТУ 1996

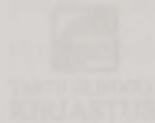
ТАЙТУ ДИЖИОНУ
У
БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК

ХІІІ

БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК

ХІІІ

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА:
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ДИАЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ



TARTU ÜLIKOOLI
VENE KIRJANDUSE KATEEDER
КАФЕДРА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК
XIII

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА:
МЕТРОПОЛИЯ И ДИАСПОРА



TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Редколлегия: И. Белобровцева, А. Данилевский,
Л. Киселева, А. Лавров, М. Лотман, Г. Пономарева.

Редактор тома: А. Данилевский

Набор: С. Долгорукова

© Статьи и публикации: авторы, 1996

© Составление: Кафедра русской литературы Тартуского
университета, 1996

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press
Tiigi 78, Tartu, EE-2400
Eesti/Estonia

Order no. 253

*Памяти
Валерия Ивановича Беззубова*

Фото: Михаил Тоом



СОДЕРЖАНИЕ

А. А. Блок и культура начала века

- К. К у м п а н (С. — Петербург). Блок — участник венгерского издания Пушкина. Статья вторая 15
- Л. И е з у и т о в а (С. — Петербург). «Елеазар», библейский рассказ Л. Н. Андреева 39
- Л. П и л ь д (Тарту). И. Ф. Анненский — интерпретатор И. С. Тургенева 63
- Г. П о н о м а р е в а (Тарту). К цензурной истории романа Д. С. Мережковского «Александр I» 74
- С. Д о ц е н к о (Таллинн). О символическом подтексте даты написания «Слова о погибели русской земли» А. М. Ремизова 86
- Т. Г л а н ц (Прага). Слово и текст Казимира Малевича 93

Метрополия и диаспора

- Э. Г а р е т т о (Милан). Мемуары и тема памяти в литературе русского зарубежья 101
- Т. Ц и в ь я н (Москва). К стратегии сохранения русского языка в диаспоре: «случай Ремизова» 110

А. К о н е ч н ы й (С. – Петербург). Петербург с «того берега» (в мемуарах эмигрантов «первой волны») ...	128
Г. С л о б и н (Санта Крус, США). О смещении границ в литературе после 1917 г. (филология, поэтика, нация)	147
К. П о с т о у т е н к о (Москва). Э. К. Метнер: метаморфозы национальной идентификации	165
Р. Х ь ю з (Беркли). Ходасевич: ода русскому четырехстопному ямбу	170
С. М и т ю р е в (Таллинн). «Будет, будет великое упрощение!...» (Марк Алданов и Достоевский)	185
С. Д а н и э л ь (С. – Петербург). Петербургская тема в романе Набокова «Дар»	197
О. К о с т а н д и (Таллинн). Поэтика одной шахматной задачи В. Набокова	206
О. Р а е в с к а я - Х ь ю з (Беркли). Иванов-Разумник в 1942 году	214
И. Б е л о б р о в ц е в а (Таллинн). Русская литературная эмиграция о «визите в советское посольство» (1945): событие и реакция	233
С. И с а к о в (Тарту). Жизнь и творчество В. Е. Гущика. Статья I. Биография	244
А. Э т к и н д (С. – Петербург). Жизнь в границах литературы: русские эмигранты-психоаналитики	260
Ю. А б ы з о в (Рига). Латвийская ветвь российской эмиграции	282
А. А р с е н ь е в (Новый Сад). Культурные организации русской интеллигенции в Югославии 1920 – 1944 гг.	309
Р. П о л ч а н и н о в (Нью-Йорк). Русские в Сараеве ..	336

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Настоящий сборник посвящен памяти нашего учителя и коллеги, исследователя русской литературы XX века, одного из зачинателей «Блоковских сборников», доцента кафедры русской литературы Тартуского университета Валерия Ивановича Беззубова (8.10.1929 – 9.03.1991).

С 1960 г. до конца жизни В. И. Беззубов проработал на нашей кафедре, с 1977 по 1980 гг. был ее заведующим. В университете он читал лекции по истории русской литературы, теории перевода, многие спецкурсы. Но главным его курсом была история советской литературы — предмет, казавшийся в те годы одиозным. Валерий Иванович преподавал его настолько смело и увлеченно, никогда не боясь затрагивать запретных тем и авторов, что сразу преодолевал предрассудки слушателей против своего предмета. Остается только жалеть, что его оригинальная концепция истории советской литературы и блестящие интерпретации многих произведений сохранились лишь в форме студенческих конспектов.

В. И. Беззубов не считал себя оратором, голос его звучал в аудитории негромко, темп лекций был часто замедленным. Однако студенты, слушавшие его, попадали в особую атмосферу. Казалось, что историко-литературные факты непосредственно в аудитории оформляются в концепцию и что в этом процессе участвуют слушатели. Индивидуальность Валерия Ивановича как автора концепции отходила на второй план. Он ничем и никак не пытался подчеркнуть, что факты, с которыми ему приходилось иметь дело, до лекции представляли собой неорганизованную массу и что именно он придал им смысл, порядок и направление.

Валерий Иванович читал лекции не только русским, но и эстонским филологам, и другой язык предполагал для него как лектора взгляд на русскую литературу с точки зрения другой культуры. При всем различии обе аудитории ему покорялись, и эстонские студенты, так же, как и русские, относили его к числу любимых преподавателей.

Научные интересы В. И. Беззубова были обширны. Начав свой путь ученого с изучения творчества Леонида Андреева, он постоянно расширял поле своих научных изысканий. Проза и драматургия Л. Андреева рассматривались им в контексте творчества крупнейших русских писателей второй половины XIX — начала XX вв.: Достоевского, Толстого, Чехова, М. Горького, Блока. В круг научных интересов Валерия Ивановича входила также проза И. А. Бунина, творчество писателей 1920 — 30-х гг., в том числе, писателей-эмигрантов. Он знал и ценил театр — русский, эстонский, чешский, польский.

Трудно переоценить роль В. И. Беззубова в деле знакомства эстонских читателей с лучшими произведениями русской литературы: он являлся автором предисловий ко многим изданиям русских писателей на эстонском языке, составителем антологий, консультантом эстонских переводчиков.

Из-за повышенной требовательности к себе, предельной добросовестности Валерий Иванович работал трудно и медленно и написал гораздо меньше того, что успел продумать и проанализировать. Основные статьи составили его широко известную книгу, так и оставшуюся единственной: «Леонид Андреев и традиции русского реализма» (Таллинн, 1984). В своих работах он стремился к объективному научному повествованию, не перегруженному сложной терминологией. Вообще неприятие позы, эффекта, стремление к простоте и естественности выражались во всем, что он делал: в чтении лекций, редактировании кафедральных сборников, общении с друзьями и знакомыми, которых у него было множество.

Валерий Иванович Беззубов был наделен не просто талантом ученого, но редким человеческим талантом — талантом бескорыстного, открытого и, одновременно, ироничного отношения к жизни и окружающим. Он был очень творческим и смелым человеком. Ему было тесно в рамках одного, однажды избранного пути. Он пробо-

вал себя на разных поприщах, не уставая искать новых жизненных дорог.

7—9 октября 1994 г., в дни 65-летия В. И. Беззубова, в Тартуском университете прошел международный семинар «Русская культура XX века: метрополия и диаспора», посвященный его памяти. Труды этого семинара составили основу данного сборника.

Соседство на страницах «Блоковского сборника» статей по литературе начала XX в. и исследований по русской эмиграции представляется нам вполне органичным и закономерным. «Понятие "блоковская культура" уже давно и далеко перешагнуло границы творчества Блока и фактически слилось с изучением русского "нового искусства" <...> "серебряного века" в целом», — писала З. Г. Минц, определяя дальнейшее направление «Блоковских сборников»*. Проведенный кафедрой семинар и публикация его материалов — это воплощение намеченной в 1990 г. программы.

Следующий семинар — «Культура русской диаспоры: саморефлексия и самоидентификация» — намечен на осень 1996 г. Саморефлексия и самоидентификация понимаются прежде всего как культурная и литературная преемственность. Поэтому следующий «Блоковский сборник» составят, в основном, труды, посвященные как собственно эмигрантской проблематике, вопросам генезиса культуры Русского Зарубежья, так и исследованиям литературы «Серебряного века».

*<Минц З. Г.> О дальнейшем направлении «Блоковских сборников» // Блоковский сборник XI / Ред. В. И. Беззубов. — Тарту, 1990. — С. 4. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 917).

БЛОК — УЧАСТНИК ВЕНГЕРОВСКОГО ИЗДАНИЯ ПУШКИНА

Статья вторая¹

КСЕНИЯ КУМΠΑН

Составлением комментария к 29-ти лицейским стихотворениям Пушкина для первого тома собрания сочинений в серии «Библиотека великих писателей» Блок занимался с конца января по 2 апреля 1907 г. Хронология работы реконструируется по известным письмам поэта к С. А. Венгеру² и подробно освещена в исследованиях З. Г. Минц и Е. Ланды.³ Поэтому, не касаясь «биографического» аспекта темы и по возможности опуская известные факты, обратимся к анализу текста блоковского комментария. В свете дополнительных разысканий вопрос о комментаторских принципах Блока-пушкиниста нуждается, на наш взгляд, в корректировке и уточнении.

Для оценки научных качеств комментария и выявления установок Блока-литературоведа прежде всего следует остановиться на некоторых деталях работы поэта с источниками.

Известно, что главным источником примечаний Блока послужил комментарий Л. Н. Майкова к первому тому академического собрания сочинений Пушкина (Изд. 2-е. — Спб., 1900). Поэт использовал сообщенные в нем археографические и библиографические сведения, обильно вводил в свой текст критические замечания этого «компетентного» комментатора, а также, следуя указаниям Венгерова, опирался на проделанную Майковым текстологическую работу.

Однако «академический» комментарий не был единственным источником всех указанных сведений. С целью дополнения фактологии Майкова Блок обращается к двум последующим изданиям Пушкина — «Сочинениям и письмам» под редакцией П. О. Морозова (Спб., 1903)

и «Сочинениям» с примечаниями П. А. Ефремова (Спб., 1905). Об этом свидетельствуют анализ цитатного пласта блоковских примечаний, а также пометы на сохранившемся в библиотеке поэта первом томе морозовского издания, которое было приобретено им в начале работы (см. дату на титуле: «1907. II»).⁴

В тексте морозовских примечаний Блок пометил заглавия отобранных им 29-ти стихотворений и тем же красным карандашом подчеркнул следующие библиографические ссылки: 1) на публикацию письма Каразина в «Русской старине» (в комментарии к стихотворению «Разлука»), 2) на статью Ф. Е. Корша «Разбор вопроса о подлинности окончания "Русалки"» и 3) на рецензию Б. В. Никольского на первый том академического Пушкина (в комментарии к эпиграмме «Е. С. Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада»). Легко убедиться, что источники эти не были учтены в соответствующих примечаниях академического издания (а последняя рецензия и не могла быть учтена), и Блок дополнил ими собственный комментарий к указанным стихотворениям.⁵ Особо отметим взятую из Морозова ссылку на письмо Каразина, к которой нам еще придется вернуться.

Из других помет на этом издании укажем еще одну — уточняющую хронологию работы Блока — знак «+» против названия стихотворения «Окно». Есть основания считать ее знаком отработки текста, т.е. предположить, что к моменту приобретения издания Морозова (к февралю 1907) примечание к «Окну» было уже готово. Напомним, что в письме к Венгерову от 30 января 1907 года Блок обещал «в ближайшие дни» завершить «комментарий одного-двух стихотворений (вероятно, "Окно" и "Наслаждение")» и представить их редактору в качестве «образца»,⁶ а в примечании к «Наслаждению» впервые появляется ссылка на морозовское издание (С. 324). Иначе говоря, примечание к элегии «Окно» следует выделить из блоковского комментария как первое и образцовое, т.е. как текст, в котором комментаторские принципы Блока проявились с максимальной четкостью.

Кроме примечаний Майкова, Морозова и Ефремова Блок пользовался примечаниями к изданиям Пушкина, вышедшим до «академического», а именно: П. В. Анненкова (1855), Л. И. Поливанова (1893), П. А. Ефремова (1880) и Г. Н. Геннади (к «Полному собранию сочинений» в из-

дании Я. А. Исакова, 1870). Поскольку майковские комментарии вобрали в себя фактологию предшественников, Блок обращался к этим изданиям с целью проверки цитат и сведений, приведенных в академическом издании. Судя по тому, что поэт не только расширяет цитаты из этих источников, но и вносит небольшие уточнения (напр., не учтенную Майковым датировку и т.д.), можно предположить, что он проработал их внимательно и обращался к ним при работе постоянно. Об этом свидетельствует и фраза из письма Блока Ю. Н. Верховскому от 31 января 1907 г.: «<...> заложен Пушкиным со всех сторон»,⁷ — которую следует понимать буквально: в этот день поэт вплотную сел за составление обещанного Венгеру накануне «образца» примечаний, где имеются следы работы с изданиями Майкова, Анненкова, Поливанова и Ефремова (1905).

Итак, все фактические сведения Блок черпает из примечаний к наиболее авторитетным изданиям Пушкина того времени; указанные собрания сочинений составляют основной, константный круг источников.

Принципиально иной характер носит работа Блока с источниками, библиографические ссылки на которые он находит в примечаниях предшественников, т.е. с исследованиями пушкинистов и критиков, мемуарами современников и т.д. Исходя из венгеровского требования максимальной полноты комментария, поэт, как правило, расширяет цитату, отобранную комментатором-предшественником, заменяет ею сжатый пересказ или ссылку, но самостоятельной критической переработки не предпринимает. В отличие от работы с изданиями Пушкина, обращение к этим источникам «второго ряда» было эпизодическим, стимулировалось наличием ссылки в примечаниях Майкова, Морозова и др., чем объясняются некоторые упущения при их использовании.

Так, например, комментируя стихотворение «Амур и Гименей», Блок не учел его оценку Белинским, что выглядит особенно странным, если вспомнить, что поэт специально отчеркнул высказывание критика об этом стихотворении на собственном экземпляре павленковского издания (Спб., 1896. — Т. 3. — Стб. 444).⁸ По всей видимости, он просмотрел статью Белинского до того момента, как вплотную сел за составление комментария,⁹ а по ходу писания обращался к ней только тогда, когда встречал

отсылку к мнению критика в примечаниях предшественников; в комментариях к «Амуру и Гименею» ни один из комментаторов не учел высказывание Белинского, и Блок также не использует отчеркнутый ранее им же самим фрагмент.

Можно привести еще один пример излишней доверчивости Блока к комментариям авторитетных пушкинистов. В примечаниях Морозова он встретил указание на автоцитату в «Гавриилиаде» из комментируемой элегии «Любовь одна — веселье жизни хладной. . .», а в примечаниях Майкова к «Желанию» — параллель с «Отставкой» Карамзина. Эти сопоставления он вводит в свои примечания с отсылкой на Морозова и Майкова (С. 321, 329), между тем как оба комментатора используют наблюдения (без ссылок) В. Гаевского из статьи «Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения». ¹⁰ Блок неоднократно обращался к исследованию Гаевского и в том же примечании к элегии «Любовь одна. . .» (С. 319) цитирует, вслед за Майковым, соседнюю страницу этой статьи, ¹¹ но указанные сопоставления не фиксирует и приписывает их комментаторам.

Таким образом, работа Блока над комментарием сводилась к следующему: поэт взял за основу фактологическую канву Майкова, дополнил ее сведениями из комментария Морозова и Ефремова, проверил отсылки, датировку, сведения об адресатах по примечаниям Анненкова, Поливанова, Геннади и Ефремова (1880) и расширил текст комментария за счет распространения цитат, приведенных или упомянутых комментаторами-предшественниками.

Напомним, что подобная компиляция соответствовала первоначальным требованиям редактора, который представлял себе комментарий «в общем в стиле примечаний Майкова», ориентируя участников издания не только на текстологию, но и на фактологию академического «Собрания» Пушкина. ¹²

О том, что компилятивная часть комментария была выполнена на уровне пушкинистики того времени свидетельствует и редакторская правка. Большая часть ее вызвана упущениями Венгерова и не дискредитирует работу Блока. ¹³ Собственно фактологические дополнения незначительны. Так, Лернер ввел в примечание к «Амуру и Гименею» упомянутое выше высказывание Белинского и еще один предположительный французский источник

стихотворения,¹⁴ а в примечание к «Окну» — сомнительную параллель (по сходству мотива) со стихотворением Пушкина «Буря». Венгеров же дополнил блоковский комментарий сведениями из новонайденной тетради Матюшкина (публикация Грота),¹⁵ которая не попала в поле зрения Блока, т.к. не была (и не могла быть) учтена предшествующими комментаторами.

Остальная правка выявляет не уровень, а специфику блоковского комментария. От традиционного типа примечаний его отличает, прежде всего, объем заковыченных сведений. Не только трактовки и оценки, но и литературные параллели, источники, датировки стихотворений, а иногда и адресат введены в комментарий Блока посредством «чужого слова». Авторская точка зрения, как правило, отсутствует. Такое постоянное цитирование придает блоковской компиляции оттенок ученичества. Усилие редактора направлено в таких случаях на акцентировку точки зрения комментатора, что достигается снятием кавычек, вставкой оценочного слова или введением добавочного аргумента в пользу одной из процитированных гипотез.

В качестве примера акцентировки авторского слова с помощью раскавычивания цитаты можно привести венгеровскую переработку комментария к «Осеннему утру». Фразу Блока: «По словам Гаевского,¹⁶ <...> "элегия "Осеннее утро" написана под влиянием разлуки с Бакуниной, переехавшей с своим семейством из Царского Села в Петербург..» (С. 335), — Венгеров исправляет следующим образом: «"Осеннее утро" я в н о н а п и с а н о под влиянием разлуки с Бакуниной <...>, переехавшей с своим семейством..» и т.д.¹⁷ до конца цитаты из Гаевского, не выделяет ее кавычками.

В комментарии к стихотворению «Наслаждение» редактор заставляет поэта присоединиться к биографическому толкованию первой строфы, вставляя в нейтрально процитированную мысль Майкова наречие «справедливо».¹⁸ Точно так же он «проявляет» позицию автора в вопросе об адресате стихотворения «К ней». Сравним — у Блока: «<...> его примеру следуют позднейшие комментаторы, относя стихотворение к Е. П. Бакуниной» (С. 330); в редакции Венгерова: «<...> его примеру следуют позднейшие комментаторы, с п р а в е д л и в о относя стихотворение к Е. П. Бакуниной».¹⁹

И, наконец, в качестве примера изменения модальности суждения с помощью добавочного аргумента можно привести венгеровскую приписку к примечанию «К письму». После указания, что стихотворение «к 1816 году отнесено Ефремовым в издании 1880 года», Блок констатирует: «Все позднейшие комментаторы помещают его под этим годом без всяких объяснений» (С. 327), а редактор добавляет: «Так как оно по общему элегическому тону подходит к циклу стихотворений, вызванных любовью к Бакуниной, то может быть эта датировка и правильна».²⁰

На этот тип редакторской правки обратил внимание С. Гессен. С его точки зрения, правка эта «дает отчетливое представление о степени осторожности, с которой Блок-комментатор подходил к материалу».²¹ Думается, что возможна и иная ее интерпретация. В сочетании с отмеченным выше некритическим использованием источников ослабленность (редукция) авторского голоса и подчеркнутая ассерторичность суждений Блока скорее могут быть расценены как принципиальная отстраненность, незаинтересованность поэта фактологической стороной комментария, историко-литературными и биографическими разысканиями. Пользуясь его выражением, работа над традиционной частью комментария не была «исполнена пафоса научного исследования» (5, 361).

Анализ работы поэта над традиционной частью комментария корректирует вопрос о научной ориентации Блока-пушкиниста, поставленный в упомянутых в начале статьи исследованиях З. Г. Минц и Е. Ланды. Мы имеем в виду оценку блоковского комментария как «первого шага к новому истолкованию Пушкина» — в традициях критики Белинского²² и попытку увидеть в блоковской компиляции полемику с официальной «концепцией Пушкина-монархиста».²³

Первая оценка основана на утверждении, что статьи Белинского упоминаются в тексте комментария «почти постоянно». О серьезном отношении Блока к позиции критика и знакомстве с его произведениями, «прямо не касающимися вопроса», с точки зрения исследователя, свидетельствует фраза из комментария «К Наташе» — о «педантических сомнениях Шевырева» (С. 338). И по-

следний аргумент З. Г. Минц в пользу поворота Блока в сторону революционно-демократической критики — это отсутствие в тексте комментария «обычного пренебрежительного отношения к ней на фоне постоянной иронии в адрес академической школы».²⁴

Более пристальное изучение работы Блока с источниками ставит под сомнение все перечисленные аргументы. Так, можно констатировать, что на протяжении всей работы поэт обращался лишь трижды и к одной и той же статье Белинского, прямо посвященной лирике Пушкина.²⁵ При этом использование ее — дословное повторение тех самых цитат, которые приведены в «академическом» комментарии — ничем не отличается от работы с другими источниками «второго ряда». Что же касается фразы о Шевыреве, то при ближайшем рассмотрении она оказывается не прямой отсылкой к памфлету Белинского «Педант», а контаминацией двух фраз из комментария Л. Н. Майкова и С. А. Венгерова,²⁶ чье серьезное знание произведений критика сомнению не подлежит. Метод подобного цитатного «монтажа» Блок широко использовал в своих филологических работах, в частности, и в настоящих примечаниях.

И последний аргумент З. Г. Минц опровергается справедливим замечанием самой исследовательницы о неразграниченности в сознании поэта на этом этапе — демократических, либеральных и вульгаризаторских тенденций в пушкинистике.²⁷ Отсюда следует, что полемика Блока с академической пушкинистикой часто в качестве конечного адресата имела в виду Белинского. Так, к указанной статье критика поэт возводил особое эзегическое толкование облика Пушкина-лицеиста (С. 316–317), а истоки биографического метода, отождествлявшего художественное произведение с историческим документом, видел в формуле Белинского «поэзия жизни действительной» (см. полемическую реплику о бессмысленности искать для лирики «оснований в действительной жизни» — С. 354). Таким образом, не опровергая очевидный факт знакомства Блока со статьями Белинского еще в университете, следует подчеркнуть, что текст комментария к лицейской лирике не дает никаких оснований настаивать на повороте к истолкованию Пушкина в духе демократических традиций.

Внутренней телеологией страдает и утверждение Е. Ланды, построенное на сопоставлении блоковского и «академического» комментария. Образ Пушкина в комментариях Майкова далек от официоза; следует кроме того принять во внимание и иные цензурные условия выхода венгерского Пушкина, задуманного как первое неподцензурное издание поэта в России.²⁸

Помимо этого Е. Ланда, так же как и З. Г. Минц, не учитывает специфику работы Блока с источниками. По утверждению исследовательницы, «спор» Блока с «официальным пушкиноведением» проявился в факте введения в примечание к «Разлуке» доноса Каразина министру внутренних дел, который «Блок сам разыскал <...> в "Русской старине"» и заменил им биографическую справку о Кюхельбекере из комментария Майкова.²⁹ Обе посылки ошибочны: сноску на публикацию письма Каразина, как мы указали выше, Блок взял из комментария Морозова к этому стихотворению, которым пользовался наряду с «академическим», а пропуск справки о Кюхельбекере был сделан в соответствии с инструкцией редактора, поскольку Кюхельбекеру (как и другим друзьям Пушкина) в примечаниях отводился «отдельный этюд».³⁰

Столь же необоснован и другой пример, который Е. Ланда расценивает как полемику Блока с Майковым, а именно: замена отсылки к мемуарам М. И. Жихарева, приведенной в академическом издании, — обширной цитатой из них в примечаниях Блока (к эпиграмме «Кж. В. М. Волконской»).³¹ Но замена ссылки или пересказа развернутой цитатой — таков характер повсеместного использования поэтом источников «второго ряда». Таким образом, особенности работы Блока с источниками ставят под сомнение утверждение исследовательницы о якобы специальном подборе цитат в блоковском комментарии, характеризующем взаимоотношения поэта и монарха. Текст примечаний свидетельствует скорее о противоположном — а именно — об аполитичности блоковского подхода к Пушкину в это время.³²

Иначе говоря, для строгой научной реконструкции позиции Блока-пушкиниста представляется более удобным и правомерным обратиться не к толкованию отстраненно и нейтрально введенных в компилятивную часть цитат, а к оригинальной части примечаний.

* * *

Хотя оригинальные высказывания Блока о стихотворениях Пушкина оказались вне рассмотренных выше концепций, они попали в поле зрения исследователей. Поэтому, не повторяя сказанного и опираясь на отдельные их истолкования в работах З. Г. Минц, Е. Ланды и пушкинистов 1920-1930-х гг., попытаемся выявить специфику блоковского подхода к текстам Пушкина в контексте пушкиноведческой мысли того времени. В качестве материала для сравнения обратимся к комментариям других участников первого тома венгеровского Пушкина и, в первую очередь, к примечаниям В. Я. Брюсова, который, как известно, был инициатором включения раздела «эстетической критики» в комментарий к изданию.³³

Следует иметь в виду, что в сознании современников позиция символистов-комментаторов, независимо от оценки альянса ученых и поэтов, не дифференцировалась:³⁴ в примечаниях Блока и Брюсова они отмечали новаторский подход к творчеству Пушкина³⁵ и множество «новых наблюдений», добытых внимательным всматриванием поэтов-комментаторов «в каждую пушкинскую строчку».³⁶

Оценки рецензентов, в общем и целом, справедливы. Брюсова, так же как и Блока, интересует проблема мастерства Пушкина. В комментариях к стихотворениям «Мое завещание» и «Друзьям» он анализирует работу Пушкина над текстом (ср. с блоковским анализом пушкинской правки, особенно в примечаниях к «Осеннему утру», — С. 335), а в примечаниях к элегиям «Роза», «Мечтатель», «Наездники», «Пробуждение», «Месяц» — высказывает соображения об особенностях словоупотребления, фразеологии и ритмико-метрической организации пушкинского стиха. Отметим в скобках, что, в отличие от Брюсова, стиховедческий аспект почти не затрагивался в комментариях Блока, замечания которого касаются, в основном, лексико-фонетического пласта пушкинского стиха.

Не в меньшей мере, чем выявление формальных особенностей лицейской лирики, Брюсова-комментатора интересует духовный облик ее создателя. Путь от художественного произведения к образу автора был характерен и для критического метода Блока (см. упоминание о «пламенной и стремительной душе Пушкина» —

С. 318). Однако в примечаниях Брюсова, несмотря на отрывочность и фрагментарность характеристик, Пушкин-лицеист более индивидуализирован, благодаря проекции на него личности самого комментатора. Это — поэт-мистификатор, различно моделировавший себя в посланиях, в зависимости от «кругозора того лица, к которому обращался» (см. примечания «К Дельвигу», «Послание к Юдину», «Сон»). Это — и поэт-версификатор, с первых шагов тративший «громадный труд» на «создание своих легких стихов», подвергавший их «кропотливой обработке» и отделявавший их «с редким мастерством». ³⁷ Напомним, что блоковский образ Пушкина также противостоит наивно-романтическим концепциям «вдохновенья», но, многократно подчеркивая работу поэта над стихом, Блок настаивает на ее стихийности и «бессознательности» (С. 356). ³⁸

Наблюдаются и более существенные различия в подходе поэтов к комментированию пушкинских текстов. Так, например, Брюсов иногда подменял «эстетическую критику» стихотворения — его оценкой. Отрывок «Сон» он именует «произведением, лишенным творческого полета» и относит его к «самым слабым стихотворениям из всего лицейского периода», а элегию «Пробуждение» называет «самым изящным» из стихотворений 1816 г. на тему «сна». ³⁹ Подобные вкусовые оценки не были чужды в ту пору и «маститым» пушкинистам. Отождествление «эстетических замечаний» с «эстетической оценкой» характерно, например, для примечаний Венгерова, который так оценивает стихотворение «Романс»: «Известный налет наивной примитивности не лишает стихотворение истинной трогательности». ⁴⁰ Еще в большей мере «эстетство», с налетом пошловатой безвкусицы, было свойственно примечаниям Лернера; такими фразами как «стих молодого поэта очень изящен», «его шутливая муза напоминает легкокрылую бабочку», «как ни хороша пьеса, ее нельзя приравнять к самым высоким и красивым полетам юного орла-Пушкина» и т. п. — пестрят примечания этого авторитетного комментатора. ⁴¹

Кроме субъективных оценок комментариев Брюсова грешил и другими издержками традиционной пушкинистики. Опираясь на методологию своих ранних пушкиноведческих штудий, выдержанных в русле биографической школы П. И. Бартенева, ⁴² он прибегает к реконструкции по стихотворным текстам реальных фактов биографии

Пушкина, т. е. в духе научной мысли того времени использует поэтический текст в качестве биографического документа. К таким толкованиям относится, например, примечание Брюсова к стихотворению «Месяц», в котором, исходя из семантики текста (описание любовного свидания), комментатор «устанавливает» факт реального «уединенного» свидания Пушкина с Бакуниной «вечером или ночью в саду, в беседке», перед ее «отъездом из Царского Села». Характерна в этом смысле и трактовка «Послания к Юдину» как «правдивого описания действительности».⁴³

В отличие от Брюсова Блок стремился к максимальному объективизму в оценке пушкинского текста, что достигалось апелляцией к авторской точке зрения и подтверждением ее объективными формальными особенностями текста. В качестве примера можно привести примечание Блока к стихотворению «Желание». Полемизируя в нем с вкусовой оценкой «академического» комментария, он пишет: «С замечаниями Майкова о "сентиментальной искусственности" согласиться трудно: стихотворение написано удивительно просто. Но, может быть, сам Пушкин, как "взыскательный художник", действительно, не был доволен им: есть разногласие между последними отрывочными строками и первой строфой, где торжественные слова повторяются однозвучно: "медлительно... мой... миг... множит; тяжкое... тревожит"» (С. 329).

Биографические или психологические толкования стихотворения Блок, как правило, вводит в комментарий точно таким же образом, как процитированную выше оценку Майкова, т. е. в виде «чужого слова», с которым он вступает в полемику. Так, в примечаниях к «Посланию к кн. А. М. Горчакову», процитировав рассуждения Стоюнина, Поливанова и Незеленова о психологической подоплеке стихотворения, поэт иронически замечает: «Все эти рассуждения кажутся нам не соответствующими духу пушкинской музыки, они гораздо «многословнее и туманнее» самого послания» (С. 317).⁴⁴ Аналогичным способом Блок дезавуирует рассуждения Анненкова и Майкова о биографических истоках послания «Дельвигу»: «<...> почтенные критики не знают, с чем спорят: всякой лирике, а особенно осмнадцатилетней, свойственны печали и жалобы, и для них не нужно искать оснований в действительной жизни» (С. 353–354) А в комментарии к элегии «Я видел смерть...», сопоставив все точки зрения

на возможные иностранные образцы подражания, он завершает комментарий насмешливой ремаркой: «Остается задать вопрос, почему Пушкин сам не мог написать лирическое прощание с природой, а непременно должен был заимствовать его из Шекспира или Шиллера?» (С. 334).

Анализируя эти критические реплики, исследователи отмечали их направленность против крайностей биографического и компаративного методов академической науки, с ее наивно-моралистическим подходом к творчеству Пушкина, против элегического (или в духе резиньации) толкования образа поэта.⁴⁵ Думается, что полемику Блока с академической пушкинистикой следует понимать шире, поскольку в своих собственных размышлениях и наблюдениях поэт намеренно избегает обычных комментаторских приемов. Его претензии к науке можно сформулировать как требование особого подхода к лирике, которая ни в коем случае не являет прямого отражения увиденного, почувствованного поэтом или найденного им у других авторов. Возможно, именно отходом от традиционных приемов комментирования объясняется равнодушие Блока к разысканию новых историко-литературных параллелей, которые составляют значительный объем брюсовских примечаний. Почти не прибегает он и к описанию «душевных переживаний» Пушкина, нашедших отражение в том или ином стихотворении, на чем особенно подробно останавливаются другие комментаторы первого тома, в том числе и Брюсов (см., напр., его рассуждения в примечании к «Друзьям» о заключенном в стихотворении «грустном чувстве», которое «не достигает крайней напряженности»⁴⁶ и т.д.).

Иначе говоря, блоковский подход к стихотворениям Пушкина, хотя и в скрытой форме, но более последовательно, чем брюсовский, противостоит традиционным методам пушкинистики, с ее равнодушием к вопросам мастерства и формы и глухотой к поэтическому слову. Опозиция эта прослеживается и на стилистическом уровне: на фоне обширных цитат из исследовательской литературы, которые сам Блок определил как «многословные и туманные», его оригинальные суждения выделяются декларативным лаконизмом и точностью.⁴⁷ Они целиком относятся к области (разделу) «эстетических замечаний», касаются анализа пушкинской правки, фиксируют формальные особенности текста (композиции, словоупотре-

бления, эвфонии) и носят, как правило, характер «осмысления приема». Проступающие элементы дескриптивной поэтики наиболее четко реализуются в комментарии к элегии «Окно», который, как мы отмечали выше, является «образцом» блоковского типа комментария.

Перед нами уникальная для своего времени попытка решить вопрос о композиционной целостности произведения с помощью того метода, который в более поздней терминологии можно было бы определить как имманентный анализ текста. Свои наблюдения Блок вводит, отталкиваясь от контроверзы: цитирует мнение Анненкова («стихотворение составлено из двух различных стихотворений, сбитых вместе посмертным изданием» — С. 322) и приводит текстологические аргументы «авторитетных» оппонентов — Майкова и Ефремова — в пользу цельности текста (наличие новонайденных автографа и списка, аутентичных тексту посмертного издания). Далее, «в ч и т ы в а я с ь в т е к с т», поэт высказывает свою точку зрения («замечание Анненкова кажется нам не лишеным основания») и обосновывает ее, перечисляя «признаки соединения несколько произвольного»:

— на семантическом уровне: «Первые две строфы нисколько не влекут за собою двух следующих <...> Первые 16 строк представляют элегическое рассуждение <...> Следующие 16 строк представляют, напротив, описание событий в сентиментальном духе»;

— на синтаксическом: «Первые 16 строк, оканчивающиеся многоточием <...>»;

— на стилистическом: В «первых 16 строках» «эпитетов мало, а те, которые есть («поздняя зарница», «зыбкие облака», «пламенная река», «день багряный») не обессиливают стиха», в то время как последние «16 строк <...> испещрены эпитетами довольно однообразными («пустынный», «туманный», «задумчивый», «тайный», «темный» дважды в одной строфе)»;

— и, наконец, на фонетическом: «Сам Пушкин исключил из третьей строфы все признаки конкретности и опустил на нее вуаль одной отвлеченной чувствительности, заменив звонкие согласные — глухими и исправив: "вчера вечернею порою" — на "недавно, темною порою", и "склонившись на руку сидела" — на "одна задумчиво сидела". Этим он достиг объединения всей третьей стро-

фы, где постоянно чередуются согласные "н" и "м", но еще не согласовал ее с предыдущими».

Композиционно-стилистический анализ элегии завершается обычной для комментария Блока реконструкцией пушкинской оценки стихотворения: «Очень вероятно, что сам Пушкин почувствовал в «Окне» чувствительность, чуждую его душе, и потому сделал помету "не н(адо)", а потом, присоединив второй отрывок к первому, все-таки остался недоволен стихотворением и не стал его печатать» (С. 323).

О новизне и необычности блоковской модели комментария свидетельствует последний тип редакторской правки, который проводит границу между традиционной и оригинальной частями примечаний. На наборной рукописи комментария «Окно» вычеркнута простым карандашом вторая его половина, т.е. все приведенные выше суждения (со слов «Вчитываясь в текст...»). Так же отредактирован автограф блоковского примечания к стихотворению «Лиле», где зачеркнуты наблюдения поэта над звуковой организацией текста (со слов: «Интересно отметить и в этом стихотворении преобладание плавных согласных...» — С. 344); на полях тем же простым карандашом вписана оценка стихотворения, которая никак не могла принадлежать Блоку: «Трудно понять, почему Пушкин включил в сборник эти слабые стихи».⁴⁸

К этому же типу адаптационной правки, приводящей текст блоковских примечаний к традиционному виду, относится и некоторая переработка, учтенная при наборе. Так, в примечаниях к «Амуру и Гименею» и «Е. С. Огаревой» (опубликованы за двойной подписью и без подписи) — значительно расширена историко-литературная часть и изъяты все наблюдения Блока над лексико-фонетической организацией стиха (ср.: С. 314, 358 и Пушкин. — С. 316, 454). Сюда же относятся некоторые мелкие, но характерные вставки Венгерова в примечания, опубликованные за подписью Блока,⁴⁹ а также редакторская правка последней фразы в комментарии к элегии «Я думал, что любовь...»; у Блока: «Небрежность некоторых стихов, обычные эпитеты и римские имена Вакха, Амура и Дельфиры, — все это указывает на то, что элегия для самого Пушкина не была открытием» (С. 343). Расшифровывая мысль Блока, Венгеров подменяет стилистическую трактовку текста — психологической: «Небрежность

некоторых стихов, обычные эпитеты и римские имена Вакха, Амура и Дельфиры, — все это указывает на то, что элегия для самого Пушкина не была серьезным отголоском душевных переживаний». ⁵⁰

Итак, анализ работы Блока с источниками, сопоставление его подхода к пушкинским текстам с комментаторскими приемами других участников издания, а также характер редакторской правки вскрывают специфику примечаний поэта к лицейской лирике.

Выявленная таким образом «доминанта» блоковских примечаний не прояснена в тексте с полной очевидностью, чему способствовали: жанр исследования, изменение по ходу работы принципа отбора комментируемых текстов, ⁵¹ а также внутренняя установка Блока-филолога, в принципе не стремящегося к методологической четкости. Новаторские приемы камуфлируются композиционной целостностью примечаний к каждому стихотворению, их эссеистической формой: оригинальные замечания и наблюдения Блока крепко впаяны в компилятивный («чужой») текст, слиты с традиционной частью комментария.

Не проясняет специфику примечаний и более широкий контекст — соотнесение с другими комментаторскими и научно-критическими работами Блока. В последних исключительное внимание уделено содержательно-эмоциональному плану произведения. В частности, это касается эволюции «блоковского Пушкина»: в наиболее общем виде ее можно представить как последовательное (хоть и не прямолинейное) движение от «мистического» (общесимволистского) толкования его творчества — к социологическому. Социологическое осмысление Пушкина проявляется, в частности, в позднейшем блоковском комментарии к стихотворениям поэта, наброски которого сохранились в дневнике 1921 г.; главный смысл этих примечаний, как указывалось в исследовательской литературе, в «прояснении общественно-философской позиции» Пушкина. ⁵² Иначе говоря, подготовленные для венгерского издания примечания занимают особое место среди последующих и предыдущих филологических начинаний Блока.

Неожиданный «формальный» подход Блока к комментируемым текстам имел, однако, свои основания.

Начало 1907 г. — один из редких периодов в жизни и творчестве поэта, проходящих не «под знаком» Пушкина. Об этом свидетельствует, в частности, стихотворный цикл «Снежная маска», создававшийся в дни работы Блока над комментарием. В художественной ткани этого цикла сказалось мощное воздействие тех литературных традиций, которые сам поэт осмыслял как «дионисийские», стихийные, противопоставленные «аполлиническому», гармонизирующему, «дневному» началу лирики Пушкина. Возникшая ситуация «отчуждения» позволила Блоку подойти к творчеству Пушкина как бы «извне», объективно фиксируя особенности его стиля и стиха.⁵³

Следует иметь в виду и то обстоятельство, что Блоку достался комментарий к *ранней*, лицейской, лирике. Именно по отношению к далекой от совершенства поэзии начинающих авторов он применял критический анализ литературной формы, отмечая поэтические штампы, банальные эпитеты, стилистическую какофонию, неправильную цезуру, избыточность рифм и т. д. (см. замечания Блока о поэзии С. Соловьева, В. Стражева, А. Ягодина, И. Тхоржевского и др.). Эти приемы критика и рецензента (не без элементов авторефлексии) поэт привносит в сугубо научный жанр комментария, реализуя тем самым заданную в структуре примечаний идею синтеза историко-академического и непосредственно-эстетического переживания текста.

И, наконец, интерес к мастерству поэта, хотя и слабо проявившийся в критических и историко-литературных работах Блока, имел глубинные мировоззренческие истоки и коренился в представлении о двойственной природе творческого акта. Для раннего Блока было свойственно младосимволистское уподобление поэта — магу, теургу, волхву, а творчества — откровению, магии эманации Души Мира. Это восходящее к романтической концепции вдохновения (наития извне) представление к середине 1900-х гг. осложнилось (не без влияния поэтики Брюсова и филологической мысли того времени) восприятием творчества как *волевого* (но в отличие от Брюсова не рационального, а интуитивного) *оформления материала*, «тяжелой радости преодоления материала» (5, 265).

Рецензируя книгу Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Трагический зверинец» («Литературные итоги 1907 года»), поэт

описывает творческий акт в потебнианской терминологии, как процесс «овладения словами», которые писательница «избрала себе в бездне языка» (5, 226). В онтологическом аспекте такое понимание творчества предстает в виде гармонизации мира, где субститутутом формообразующего начала выступает не слово, а искусство в целом, а под материалом подразумевается не «бездна языка», а «хаос бытия».⁵⁴ «Этот хаос, исказивший гармонию, — писал Блок в статье «Творчество Федора Сологуба» (1907), — требует немедленного оформления, как жгучий жидкий металл, грозящий перелиться через край. Опытный мастер сейчас же направляет свои усилия на устройство этого хаоса» (5, 161). Наиболее глобальное и синтетическое описание дихотомии формы и содержания встречается в статье «О назначении поэта», где творчество предстает как преобразование «первобытного, стихийного, безначального хаоса» в «космос» (гармонизированный хаос). Дело поэта в таком преображении — поднять из «бездонных глубин духа» «чужеродный внешнему миру звук» и заключить его «в прочную и осязательную форму слова». «Звуки и слова, — пишет далее Блок, — должны образовать единую гармонию. Это область мастерства» (6, 161, 163). Отметим, что вопрос о «мастерстве», неразрывно следующий в теоретических размышлениях Блока за аналогичными формулировками сущности искусства, вошел в сознание поэта, вероятно, в иной последовательности: наблюдения над пушкинской правкой (над мастерством поэта), отразившиеся в примечаниях и подкрепленные собственным опытом,⁵⁵ — повлекли за собой осознание творческого процесса как нераздельного единства труда и вдохновения.

Не случайно тема мастерства появляется в статьях и записях Блока, начиная именно с января 1907 г., и о поэтах, которые в его представлении были в той или иной мере «рукоположены Пушкиным» — о Брюсове⁵⁶ и Ф. Сологубе.⁵⁷ Интересно, что восприятие в этих категориях собственного творчества появляется в момент работы над «Возмездием», которое Блок постоянно соотносил с пушкинскими произведениями.⁵⁸ «Мучительный вихрь мыслей, сомнений во всем и в себе, в своих силах, наплывающие образы из невоплощающейся поэмы, — написал он в дневнике 1909 г. — Если бы уметь помолиться о ф о р м е» (7, 77).

Из приведенных суждений с очевидностью следует, что понятие формы для Блока ни в коем случае не отождествлялось с набором технических средств и приемов. Это — основной пункт расхождения поэта с системой представлений раннеформалистской мысли: с суждениями Брюсова, декларационными выступлениями акмеистов и футуристов. Форма в сознании Блока относилась к числу изначально одухотворенных универсалий. О «содержательности» формы в настоящих комментариях к Пушкину свидетельствует и наивная семантизация звуков, и осмысление приема как проявления авторской психики. В статье «Генрих Ибсен» (1908) Блок формулирует это следующим образом: «Стиль всякого писателя так тесно связан с содержанием его души, что опытный глаз может увидеть душу по стилю, путем изучения форм проникнуть до глубины содержания» (5, 315). Несколько позже Блок стал включать в понятие формы и некое иррациональное, метафизическое, активное и объективно существующее начало — «творящий дух». В дневнике 1920 г. он записывает: «Дух может сказаться в формах более, чем в содержании» (7, 364; ср. блоковский анализ «галлиамба» Катулла в «Катилине»; в самом «движении стиха» он ощущает воздействие творящего духа эпохи — 6, 80–82).

Понимание формы как выражения «духа» подразумевает, а не отрицает возможность выявления сущности искусства путем ее изучения. Подобная глобальная попытка постижения тайн искусства посредством изучения формы произведения через несколько лет была предпринята Белым. В работах же самого Блока, как мы уже отмечали, метод осмысления художественного произведения через его форму проявился слабо и пунктирно. Отчасти это связано с тем, что Блоку в принципе были чужды как одностороннее аналитическое изучение явлений жизни и искусства, так и рационалистический («научный») подход к собственному творческому процессу. О последнем Блок прямо говорил в беседе с С. И. Бернштейном (1920), подчеркивая, что при работе над стихом «стареется не задумываться» над вопросами техники, поскольку «такие размышления дурно отражаются на продуктивности творчества» (см. здесь же высказанную мысль о том, что Андрей Белый, став «теоретиком», «перестал быть поэтом»).⁵⁹

Исследователи творчества Блока акцентировали внимание на полемических высказываниях поэта в адрес нормативно-формалистических деклараций Гумилева («Без

божества, без вдохновенья»). Однако в такой же степени Блоку был чужд односторонний подход к поэзии (и к литературе) с точки зрения содержания (прогрессивного или реакционного), выхолащивающий и затемняющий смысл искусства. Выступая против рутинных приемов науки и критики, он неожиданно солидаризировался с некоторыми общими формалистическими установками. Так, например, в заметке «О чтении стихов русскими актерами» (1919) поэт приветствует возникший в «широких кругах (даже, например, профессорских)» интерес к стиху как таковому, понимание его «самостоятельного значения, не зависимо от содержания» (6, 474),⁶⁰ а в статье «Гейне в России» (того же года) он высказывает мысль о том, что «искусство гораздо ближе к мастерской ремесленника, чем к кабинету ученого». Симптоматично, что именно в этой статье поэт возвращается к идее своей первой комментаторской работы, предлагая снабдить «народное издание Гейне» «эстетическими» примечаниями. «Сам факт существования таких примечаний, — отмечает он далее, — вводил бы именно в атмосферу артистическую, чем мы в России не избалованы: он показал бы некоторым читателям, что кроме культурно-исторических, биографических, политических и прочих подходов к поэту существуют подходы эстетические и что во многих случаях важным является не только то, любил или не любил поэт, например, Наполеона, а также и то, каким он был мастером — плохим или хорошим» (6, 128).

Введение в атмосферу артистическую, в лабораторию поэта — именно такая задача решалась в оригинальной части блоковского комментария к Пушкину. Проступившие здесь элементы формального анализа текста нашли логическое развитие и приняли характер обоснованной системы в книге Белого «Символизм». Насколько последовательнее был в своей методологии Белый говорят и сформулированные им приемы комментирования лирического произведения: «Комментируя стихотворение, — писал он, — мы как бы разлагаем его на составные части, пристально вглядываемся в средства образительности, в выбор эпитетов, сравнений, метафор для характеристики содержания; мы ощупываем слова, исследуем их взаимную ритмическую, звуковую связь; соединяя вновь в одно целое разобранный материал, мы часто

не узнаем вовсе знакомого стихотворения; оно, как феникс, вылетает из самого себя в более прекрасном виде, или обратно бледнеет. . . ».⁶¹

Тот факт, что блоковский комментарий предвосхитил теоретические работы Белого, отметили пушкинисты двадцатых годов.⁶² И это не случайно: на фоне актуального в те годы «морфологического» метода особенности блоковского подхода к лирике Пушкина высветились особенно рельефно.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В первой статье под тем же названием (см.: А. Блок и основные тенденции развития литературы начала XX века: Блоковский сб. VII / Учен. зап. Тарт. ун-та. — Тарту, 1986. — Вып. 735) рассмотрена предыстория издания, по материалам венгерского фонда (РО ИРЛИ. — Ф. 377) реконструированы его основные принципы и восстановлен первоначальный (подготовительный) этап блоковской работы над комментарием. Далее ссылки на эту статью даются сокращенно: БС, с указанием страницы.
- 2 См.: Литературный архив. — Л., 1938. — Вып. I.
- 3 См.: Минц З. Г. Блок и Пушкин // Труды по русской и славянской филологии XXI: Литературоведение / Учен. зап. Тарт. ун-та. — Тарту, 1973. — Вып. 306 (далее ссылки на эту статью даются сокращенно: Минц, с указанием страницы); Ланда Е. Примечания к стихотворениям Пушкина // Ланда Е. Мелодия книги: Александр Блок — редактор. — М., 1982 (далее ссылки на статью даются сокращенно: Ланда, с указанием страницы).
- 4 ИРЛИ. — Шифр: 94 I/271.
- 5 Ср.: Блок А. Собр. соч. — Л., 1934. — Т. 11. — С. 354, 356, 358—359 (далее ссылки на этот том даются в тексте с указанием только страницы).
- 6 Литературный архив. — С. 356.
- 7 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. — М.; Л., 1963. — Т. 8. — С. 179 (далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием в скобках тома и страницы).
- 8 ИРЛИ. — Шифр: 94 I/40 III.
- 9 Отчеркнутые здесь цитаты относятся к стихотворениям первоначального (январского) списка, в дальнейшем отредактированного Блоком и Венгеровым.
- 10 Современник. — 1863. — N 7. — С. 175; N 8. — С. 382.
- 11 Там же. — N 7. — С. 174.

- 12 Подробнее об этом: БС. — С. 69—70.
- 13 Уже на стадии корректуры Венгеров проделал большую работу по унификации текстов разных комментаторов, которая была вызвана изначальной зыбкостью структуры примечаний; у Блока он вставил шифры при перечислении рукописей, изъял из некоторых примечаний ранние редакции, которые полагал отнести в специальный раздел «История текста», вставил переотсылки на другие примечания и т.д. Другая часть правки связана с текстологическими новациями. Напомним, что Блок не мог учесть результатов текстологической работы Венгерова, шедшей параллельно с комментированием.
- 14 Этот комментарий был опубликован Венгеровым под двумя именами: «Б<лок> Л<ернер>».
- 15 Журнал Министерства народного просвещения. — 1905. — N 10; из этой тетради Венгеров пополнил список рукописных источников и ввел еще одну гипотезу об адресате послания «К Наташе».
- 16 Здесь и ниже разрядка в цитатах моя. — К. К.
- 17 Библиотека великих писателей: Пушкин. — Спб., 1907. — Т. 1. — С. 354 (далее ссылки на это издание даются сокращенно: Пушкин, с указанием страницы).
- 18 При публикации этого примечания (С. 324) правка редактора ошибочно введена в блоковский текст.
- 19 Пушкин. — С. 346.
- 20 Там же. — С. 342.
- 21 Г <ессен> С. Комментарий А. Блока к стихотворениям Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. — М.; Л., 1936. — Вып. I. — С. 385. В это время вышел 11-й том указанного собрания сочинений Блока, где впервые по авторграфам был опубликован аутентичный текст примечаний, который исследователь сравнил с текстом венгеровского издания.
- 22 Минц. — С. 200.
- 23 Ланда. — С. 28.
- 24 Минц. — С. 199—200.
- 25 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая // Белинский В. Г. Сочинения: В 4 т. — СПб., 1896. — Т. 3. — Стб. 339—444.
- 26 См. комментарий Венгерова к стихотворению «Красавице, которая нюхала табак» (Пушкин. — С. 124), вошедший в первый выпуск первого тома (об использовании Блоком этого источника наряду с другими изданиями Пушкина см.: БС. — С. 73—74), и примечание Майкова к стихотворению «К Наташе» (Пушкин А. С. Сочинения. — С. 317). Говоря о «педантизме» (Венгеров) и «сомнениях» (Майков) Шевырева,

- оба комментатора приводят ту самую цитату из Шевырева, которую Блок предваряет фразой о его «педантических сомнениях».
- 27 Минц — С. 200.
- 28 См. об этом в рецензии А. Измайлова на первый выпуск венгерского Пушкина (Биржевые ведомости. — 1907. — 24 янв. — N 9711).
- 29 Ланда — С. 30.
- 30 Об этом Венгеров, в частности, писал в очерке «От редакции» (Пушкин. — С. III; статья о Кюхельбекере (Н. А. Котляревского), предназначавшаяся для первого тома, была помещена лишь в шестом.
- 31 Ланда. — С. 29–30.
- 32 Подробнее об этом см.: Минц. — С. 200.
- 33 БС. — С. 69.
- 34 Положительную оценку такого объединения как первой попытки синтетического «научно-художественного» подхода к Пушкину см. в статье В. Водовозова (Товарищ. — 1907. — 9 янв. — N 419); априорно отрицательную — в анонимной рецензии на первый том (Ежемесячное приложение к «Ниве». — 1907. — N 12. — С. 626).
- 35 См. утверждение С. Ауслендера, что, благодаря участию в издании символистов, с его страниц встает «новый Пушкин» (Речь. — 1909. — 27 июля. — N 203).
- 36 Русь. — 1907. — 26 окт. — N 286.
- 37 Пушкин. — С. 280, 332, 440.
- 38 О проходящей здесь границе между «предформалистическими» тенденциями и блоковским осознанием творческого акта см. ниже.
- 39 Пушкин. — С. 332, 342.
- 40 Там же. — С. 156. Об этом же свидетельствует синонимия в названии последнего раздела комментария в письме Венгерова Брюсову от 17 мая 1906 г., где он именуется то «эстетическими замечаниями», то «эстетическими оценками» (РО ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 52. — Л. 3, об.).
- 41 Пушкин. — С. 74, 204, 270. Подбор аналогичных «эстетико-оценочных суждений» из комментария Лернера приводит Ю. Н. Тынянов в статье «Мнимый Пушкин»; этим «наукообразным спекуляциям» он противопоставляет приемы строгого стилистического анализа пушкинских текстов (Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. — С. 81–82).
- 42 О Брюсове-пушкинисте см.: Литвин Э. С. В. Я. Брюсов о Пушкине // Брюсовские чтения 1963 года. — Ереван, 1964; здесь же на С. 210 дается суммарная оценка настоящих при-

- мечаний, которые, как справедливо отмечает исследователь, «по своему методу <...> еще близки ранним работам Брюсова».
- 43 П у ш к и н . — С. 348, 280.
- 44 Цитата уточнена по автографу (РО ИРЛИ. — Ф. 377).
- 45 М и н ц . — С. 197, 198; Л а н д а . — С. 28.
- 46 П у ш к и н . — С. 362.
- 47 Ср. с характеристикой А. Я. Цинговатова: «Суждения самого Блока всегда скупы, осторожны, строги, чутки, точны, умышленно засушены» (Пушкин: Сб. первый. — М., 1924. — С. 315).
- 48 РО ИРЛИ. — Ф. 377. Судя по почерку, можно предположить, что карандашная правка в наборной рукописи сделана Лернером, который с самого начала противился введению подобной «эстетической критики» в комментарий (см. об этом: БС. — С. 69–70).
- 49 Например, выпадающая из строгого стиля примечаний поэта характеристика доноса Каразина («столь же гнусный, как и глупый по своей полной необоснованности») или маловразумительная трактовка аллегорического смысла стихотворения «Именины»: «Дитя крылато — очевидно Купидон, и который рано или поздно напомнит о себе "Дружбе, грации и молодости"» (П у ш к и н — С. 430–432, 406).
- 50 Там же. — С. 368.
- 51 О влиянии изменения принципа отбора текстов на структуру блоковских примечаний см.: БС. — С. 75.
- 52 М и н ц . — С. 286.
- 53 Сходная психологическая ситуация сложилась, например, во время работы Блока над рецензией на сборник «Прозрачность» (1904) В. И. Иванова, в период, когда поэт находился еще вне «магического круга» его поэзии; формальные особенности стихотворной техники Иванова выдвинуты в ней на первый план.
- 54 Ср. с заметками в записной книжке и высказываниями в письмах Блока 1909 г.: «Искусство есть только космос — творческий дух, оформливающий хаос (душевный и телесный мир)» (8, 292); «<...> форма искусства есть образующий дух творческий порядок <...> Хорошим художником я признаю лишь того, кто из данного хаоса <...> творит космос» (9, 160).
- 55 Сохранившиеся черновики стихотворений Блока дают представление об особенно напряженной и мучительной работе Блока над стихом, начиная с цикла «Распутья».
- 56 Творчество Брюсова Блок в это время расценивал, как огромную и трудоемкую работу по выработке новой формы сим-

- волистной поэзии на рубеже веков («Три вопроса», 1907 — 5, 233—234).
- 57 Мысль о родстве Сологуба с Пушкиным встречается в статье Блока «Письма о поэзии»: «Сологубу, как и Пушкину, свойственно порою шутить и забавляться формами. . .» (5, 285).
- 58 Ср. интересное замечание З. Г. Минц о появлении при этих сопоставлениях редких для Блока «формальных подсчетов» (Минц. — С. 262).
- 59 Александр Блок в воспоминаниях современников. — М., 1980. — Т. 2. — С. 354—355.
- 60 В речи к актерам (1919) Блок приветствует сдвиги в эстетическом сознании общества, когда «даже среди ученых, не только среди поэтов, начинают придавать самостоятельное значение стиху, производить наблюдения над его жизнью» (6, 355). Фраза содержит намек на знакомство и симпатии Блока к новым методам науки, которые он вынес как из бесед с представителями ОПОЯЗа, так и от посещения его заседаний.
- 61 Белый Андрей. Символизм. — М., 1910. — С. 241.
- 62 Гроссман Л. Собр. соч.: В 5 т. — М., 1928. — Т. I. — С. 293; Цинговатов А. Я. Указ. соч. — С. 314.

«ЕЛЕАЗАР»,
БИБЛЕЙСКИЙ РАССКАЗ Л. Н. АНДРЕЕВА

ЛЮДМИЛА ИЕЗУИТОВА

Творчество Андреева насыщено философскими настроениями, окрашено в тона метафизической тревоги. Его своеобразие, как правило, определяется отношением к народной мудрости, в первую очередь, к «Библии», и к формам народного искусства — к «лубку»: изобразительному, книжному, театральному. Любое произведение писателя являло собой синтез жгуче современного и вечного. Созданная им жанровая структура вбирала в себя «память» архаических жанров и в то же время оказывалась качественно новой. Этюды по социальной психологии и композиции на темы философских переживаний художник отливал в формы сказок, легенд, мистерий, притч, преобразуя их изнутри, пересоздавая заново. Более всего Андреев любил обращаться к жанрам, сюжетам, образам народной культуры и Библии, посредством их «перелицовки» раскрывать сознание своей эпохи.

Приступая к анализу «Елеазара», следует отчетливо представить, что рассказ входит в обширный круг произведений Андреева, охваченных одной темой — «Андреев и Библия». Одни из произведений на эту тему написаны на библейские сюжеты («Бен-Товит» — 1903, «Елеазар» — 1906, «Иуда Искариот и другие» — 1907, «Анатэма» — 1908, «Земля» — 1912, «Воскрешение из мертвых» и «Три ночи» — 1914, «Самсон в оковах» — 1915, «Свидетель истины» — 1916, «Дневник Сатаны» — 1919, а также неосуществленные замыслы «Навуходоносора» и «Агасфера»), другие включают в свой состав отдельные библейские мотивы и образы («Жизнь Василия Фивейского» — 1903, «Мои записки» — 1908, «Сашка Жегулев» — 1911, «Иго войны» — 1916), в третьих можно увидеть библейский ответ, своеобразную библейскую проекцию («Красный смех» — 1904, «Савва» — 1906, «Тьма» — 1907, «Рассказ о

семи повешенных» — 1907, «Сын человеческий» — 1909, «День гнева» — 1910, «Правила добра» — 1911, «Каинова печать (Не убий!)» — 1914, «Черт на свадьбе» — 1916). Количество «библейских» рассказов, повестей, пьес может быть значительно расширено вследствие выработанного писателем так называемого «библейского стиля», который он использовал не только в произведениях с библейскими мотивами; в них также возникало некоторое подобие «библейского» колорита. Под «библейским стилем» я имею в виду не только особый, размеренный ритмический речевой лад, насыщенный анафорическими и эпифорическими повторами, обилием развернутых сравнений, присоединительно-глагольными периодами, начинающимися с союза «и» и т.п., но, главным образом, особого рода двуплановость повествования, где за «открытым» значением слова, образа, действия скрывается второй, потаенный смысл. Если о Библии надлежит говорить как о «Слове Божиим», как об откровении высшего Божьего Разума и надличной морали, лежащих на дне библейских сказаний, то художественное творчество Андреева может быть рассмотрено как средоточие сокровенного, подлинного и «абсолютного» в человеческом мире, того, что скрыто за суетой повседневного и сиюминутного.

В центре внимания Андреева постоянно находились отношения между вечным и временным, абсолютным и относительным, небесным и земным, а также и резкие антиномии собственно внутричеловеческого, его разного рода типы и противоположности.

Основной корпус «библейских» текстов Андреева составляют его произведения на ветхозаветные сюжеты Книги Судей израилевых, Книг пророков Даниила, Иезекииля, Иова. Нередко Андреев «скрещивает» ветхо- и новозаветные легенды и притчи: в «Жизни Василия Фивейского», например, соседствуют мотивы ветхозаветной Книги Иова и евангельская легенда о воскресении Лазаря. Жемчужиной в кругу «библейских» книг Андреева является маленькая трилогия с преобладанием в ней мотивов евангельских легенд и образов: «Бен-Товит», «Елеазар», «Иуда Искариот и другие».

«Бен-Товит» прозрачен по содержанию. Зато две другие вещи — «Елеазар» и «Иуда Искариот» полны тревожащего тайного смысла, написаны в форме философской притчи или параболы и как таковые содержат неразрешимые, «проклятые» вопросы человеческого духа. Для их

создания Андреев прибег к стилю «Притчей Соломоновых», где сама притча определяется как средство «познать мудрость и наставление, понять изречение разума», как «замысловатая речь, слова мудрецов и загадки их» (1, 2—6). Притом Соломон советует своему слушателю и читателю «всем сердцем твоим» надеяться на Господа и не полагаться «на разум твой» (3, 5). Иными словами, преподнося человеку замысловатую речь и загадки мудрецов, Соломон заранее знает, что разгадки их принадлежат одному лишь Богу. Андреев, идя путем создания философских «загадок», предлагает отыскать их отгадки самим читателям и слушателям; он делает установку на человеческое духовное усилие и показывает, что разгадок может быть множество, а конечная правда — одна, общечеловеческая.

«Елеазар» — вольное продолжение евангельской притчи о Лазаре и евангельской легенды о Лазаре и не менее вольное использование нескольких притч из «Книги Екклесиаста». «Евангелие от Луки» включает в себя притчу о людях праведных и неправедных; она положила начало народным сказаниям и духовным стихам об убогом Лазаре — этом образе бедности, который получил от Бога награду в загробной жизни. Евангельская притча оканчивается отказом отца Авраама совершить чудо воскрешения убогого Лазаря: «Если Моисея и пророков не слушают, — говорит отче Авраам, — то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят» (16, 31). Рассказ Андреева переиначивает финал об убогом Лазаре: мир иудейский и мир языческо-римский сбегаются посмотреть на Лазаря, воскресшего по Слову Господа, желая убедиться в совершенном чуде. Рассказ Андреева как бы продолжает и евангельскую легенду о четырехдневном Лазаре, брате Марфы и Марии, воскрешенном Иисусом. Андреев и здесь за точку отсчета берет окончание легенды, рассказанной евангелистом Иоанном, намеренно смешивая ее с легендой о воскресении самого Иисуса Христа. На это указывает знаменательный факт: четырехдневного Лазаря легенды Андреев заменил Лазарем трехдневным, ибо, как известно, три дня во гробе до своего воскресения был не Лазарь, а сам Иисус. Елеазара наряжают в одежды «жениха»; имя «жених» также является одним из постоянных атрибутов Иисуса Христа. Однако и притча об убогом Лазаре, бросающая укор греховному народу, и легенда о четырехдневном Лазаре, как и легенда о воскресении Иисуса Христа, не ставят под сомнение воз-

возможность воскресения. Правда, в случаях с Лазарем речь явно идет о телесном воскресении; в случае же с Иисусом — о полном воскресении, в первую очередь, о воскресении живого духа. В рассказе-параболе Андреева при наличии воскресения тела Елеазара его духовное воскресение более чем проблематично: человек в брачных одеждах жениха ничьим «женихом» стать не может, ибо душа его от знания тайны потустороннего мира угасла для мира земного. Он сеет вокруг себя холодное безразличие и равнодушие к жизни и живому. В параболе Андреева — два центральных образа, вокруг которых организуется все остальное: мрачная, тяжелая, омертвелая фигура Елеазара и яркое, слепящее, раскаленное, но не оживляющее солнце.

Фабульный ряд рассказа представляет собой пересоздание композиции «Книги Екклесиаста». Как мы помним, проповедник Екклесиаст испытывает свое сердце веселием, добром, большими делами, мудростью (как и глупостью, безумием), любовью к женщине, властью, чтобы убедиться в том, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем, что нет ничего нового под солнцем, что нет от людей пользы под солнцем, что доля человека — наслаждаться суетной жизнью под солнцем, бояться Бога и соблюдать его заповеди, «потому что в этом все для человека» (12, 13). Проповедующий диктат Божией правды Екклесиаст столкнул в своих проповедях-притчах абсолютное и относительное, бесконечное и конечное, показал маленькую правду конечного и безграничную бесконечного. Он стал уничивать человека, указывая ему на малость его перед фактом существования бесконечного.

На материале притч «Книги Екклесиаста», с добавлением к ним притч собственного сочинения о скульпторе Аврелии и императоре Августе, Андреев создал апофеоз жизни человеческой, ее красоты, подвига стоического существования. Ужасу бесконечного он противопоставил красоту живого конечного бытия: радость гармонии искусства, способного передать в мраморе и бронзе блеск лунного сияния, обаяние животворного солнечного света. Роль мудрого спокойствия, принадлежавшая в Библии Екклесиасту, заменило в рассказе мертвенное безразличие равнодушного Елеазара. Для Екклесиаста все земное было суетой сует; под тяжелым взглядом Елеазара утрачивает живую душу искусство Аврелия, перестает радовать жизни веселый пьяница, блекнет красота обнаженной

женщины, угасает живой огонь любви юноши и девушки, пропадает жажда познания жизни у мудреца. Приговор Екклесиаста как бы вступает в свои права и перед лицом бесконечного обескровливается трепетная жизнь. Мудрому проповеднику Екклесиасту и его безгласному двойнику Елеазару Андреев противопоставил деятельного, полного ответственности, непобедимого государственного мужа Августа: тот любил обреченных гибели «конечных» людей; они были для него «светлыми тенями в мраке Бесконечного». Он вернулся к жизни сам, чтобы вернуть жизнь своему народу, «чтобы в страданиях и радости <...> найти защиту против мрака пустоты и ужаса Бесконечного».¹

В «Елеазаре», таким образом, запрятано несколько библейских сюжетов: евангельская притча об убогом Лазаре и легенда о Лазаре четырехдневном, которые, слившись в одну фабулу, развертывают философскую притчу о воскресении-невоскресении Елеазара; пять притч проповедника Екклесиаста с прибавлением двух авторских притч о деянии художника Аврелия и государственной ответственности цезаря Августа участвуют в интенсивном развитии философской апологии человека-бога, свободно и смело творящего жизнь, несмотря на скорбное знание ее быстротечности и конечности земного бытования.

* * *

Определяя тему рассказа, его критики и исследователи предлагали свои варианты. Горький обозначил тему в самом общем виде: «Елеазар» — это «лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной литературе».² Софья Витте сформулировала тему так: «сокрушительная сила страха и смерти», «ужас сознания и неотвратимости смерти» у всех, кто повстречался с воскресшими из мертвых.³ Близко к ней определяет тему М. А. Волошин. Для него она — «проклятое знание смерти», а Елеазар — «символ безнадежности загробного познания».⁴ Сложнее и полнее воспринял рассказ Е. А. Ляцкий. Для него тема рассказа — это борьба смерти и ее тайны с жизнью и ее радостями, а смысл рассказа в победе Августа («горячее сердце») над Елеазаром («пустой разум»)⁵ Близка в толковании рассказа к Ляцкому современная исследовательница И. И. Московкина. Центральной проблемой рассказа она называет «столкновение человека с истиной» (в данном случае с тайной смерти).⁶ В «Елеазаре», как считает Московкина, встреча человека с тайной смерти позволи-

ла ему проникнуть в смысл жизни. Не беря в расчет тех предшественников, которые либо игнорировали идею рассказа, либо искажали ее, Московкина следует за теми, кто верно понял ее. Вспомним, к примеру, как формулировала идею творчества Андреева вообще и «Елеазара» в частности Е. А. Колтоновская: она указала на наличие «бездны двух полюсов, между которыми <...> витает мысль писателя», на «жуткий баланс между жизнью и смертью», на «отрицание жизни», которое, однако же, всегда является «отрицанием во имя утверждения».⁷ Московкина, идя за трактовками такого рода, кратко и точно выразила идею рассказа, утверждая, что «писатель создал не безысходно-пессимистический реквием о бессмысленности жизни и ужасе смерти, а философско-героическое повествование о силе человеческого духа, помогающего человеку выстоять перед лицом Вечности».⁸ В анализе рассказа Московкиной, как нам кажется, не хватило двух вещей. Во-первых, исследовательница не выделила важность заявленной и продемонстрированной Андреевым трагической несовместимости бессмертного (бесконечного, вечного) и смертного (конечного, временного). Эта коллизия станет в творчестве Андреева устойчивой, будет развернута в драме «Анатэма», в рассказе «Полет», в романе «Дневник Сатаны». «Космическую» точку зрения Андреев будет «побивать» точкой зрения «земной», показывая, как носители «Безграничного» (Елеазар, Анатэма, Пушкарев, Сатана) колеблют земные ценности — любовь, искусство, веселие, философию, низводя их до уровня «суеты сует». Именно этой «космической» точке зрения Елеазара бросает вызов Август, утверждая точку зрения земную, человеческую, горячую, полную «радости-страдания». Во-вторых, И. И. Московкина вовсе не коснулась плана историко-революционных значений и потому не показала его связи с планом философским, что с первых шагов уже пытались сделать современники Андреева. В результате было сужено понимание рассказа.

Первый, кто попытался указать на присутствие конкретно-исторического, психологического плана и на его связь с планом философских отвлеченностей, был П. Дмитриев. Он удачно заметил, что «смерть Елеазара и последовавшее после смерти воскрешение можно рассматривать как символическое выражение возможного потрясения, могущего вызвать в глубине человеческой души переживания, чуждые всей его прежней жизни».⁹ Почти

как о психологии современного борца с социальным злом, потерпевшего роковую неудачу, говорит Дмитриев о Елеазаре: «<...> его борьба закончилась только тем, что, лишив его прошлого, сделала его существование еще более бледным и тусклым...» Символический образ Елеазара мрачен и суров; в нем чувствуется «беспредметная тоска опустевшей человеческой души».¹⁰ Видя в рассказе обозначенную современную общественную коллизию, Дмитриев понимает, что Андрееву было необходимо достичь в ее изображении высокой степени абстракции; критику импонируют андреевские абстракции, так как они очевидно позволяют слить воедино исторически определенное и всеобщее, универсальное.

Тремя годами спустя после Дмитриева более определенно, чем он, наличие конкретно-исторического плана отметила С. Витте, написав, что Елеазара она считает образом своего времени, героем, «воскресшим от смерти, но мертвым для жизни». Она же указала и на то, что антагонистом Елеазара выступает Август с его «мощным желанием дать счастье людям».¹¹ В обоих ее наблюдениях есть намек на современную общественную ситуацию. Близка к ее пониманию трактовка В. И. Беззубова: «Мысль Андреева ясна: только такое великое дело, как защита народного блага, способно дать полную силу, твердость и мужество противостоять смерти. Подлинную волю к жизни дает любовь к людям. Август «вернулся к жизни», потому что думал не только о себе, потому что чувствовал свою ответственность и долг перед народом...»¹²

В то же время, что и Витте, о глубокой и несомненной связи рассказа с современностью заявил в частном письме от 28 июля 1910 года Егор Созонов, убийца министра внутренних дел В. К. Плеве: «<...> кто побывал в положении андреевского Елеазара, — тому уж не растопить душевного льда, вынесенного из могилы <...> когда я думаю о дне страшного суда, то мне иногда представляется такая возможность: прозвучит труба архангела, мертвые восстанут из гробов, но не для новой, обновленной жизни, а для ужасного сознания, что они мертвы безнадежно и непоправимо».¹³

В 1911-м, последнем году общественного послереволюционного затишья, о том же писали два известных критика творчества Андреева В. Л. Львов-Рогачевский и В. Ф. Боцяновский. Львов-Рогачевский сравнивал настро-

ение русского общества после поражения первой русской революции с настроением восьмидесятников после расправы над первомагтовцами: «Это были дни мертвой точки, мертвой петли, мертвых слов и «мертвенно-бледного состояния». Не воскресение, а «мертвец в брачных одеждах» — Елеазар становится символом этой страшной полосы, когда самыми живыми, сильными и яркими произведениями явились «Семь повешенных» Леонида Андреева, «Не могу молчать!» Л. Н. Толстого и «Бытовое явление» В. Г. Короленко». ¹⁴ Львову-Рогачевскому вторил Боцяновский: «В сущности, мы все, все наше поколение, если не Елеазары, то Августы. Все мы прошли если не через смерть, то через летаргический сон. Многие из воскресших превратились в живых мертвецов, Елеазаров, мертвящих жизнь, многие бодро отряхнули с себя пыль гробового праха и бодро смотрят вперед». ¹⁵

Традиция сравнивать российских проповедников от освободительного движения и революционных борцов, столкнувшихся с тьмой российской действительности и потерпевших поражение, с библейским Лазарем, восходит к Герцену. Вспоминая о русских интеллигентах 1840-х годов, в 1850-х пришедших к грустному концу, он писал о них в «Былом и думах»: «И вот перед моими глазами встают наши Лазари, — но не с облаком смерти, а моложе, полные сил». ¹⁶

Андреев, безусловно, был не просто знаком с традицией, но сознательно в нее включился. Для него, по видимому, ближе всех был более всех писавший о русских «лазарях» Достоевский. Еще в письмах 1854 года, сразу по выходе из каторги, он называл себя отрезанным ломтем: «<...> и хотел бы прирасти, да не могу»; жаловался на прискорбные перемены с душой, верованиями, умом и сердцем за прошедшие годы каторги: «А те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу», а выход из каторги поначалу представлялся ему «как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь». ¹⁷ Спустя более чем десятилетие это сравнение политического преступника на каторге с человеком, заживо схороненным в гробу, и рассказ о его мечте воскреснуть из мертвых был повторен в «Записках из Мертвого дома» (IV, 67, 232). Наконец, в «Преступлении и наказании» сюжет романа спроецирован на легенду о воскрешении

Лазаря, а чтение самой легенды убийцей-революционером совместно с блудницей-святой стало эпицентром романа.

Ситуация духовного воскресения иначе, гораздо песимистичнее, чем в прежние годы, зазвучала в устах знаменитых шлиссельбуржцев и в литературе о них. О Е. С. Созонове уже говорилось выше. Известный общественный деятель, поэт и житель одного из «Мертвых домов» П. Ф. Якубович писал о шлиссельбургских «Лазарях» в категориях их мысли. Крепость он постоянно называет гробом или могилой: «Я говорю об ужасном шлиссельбургском гробе, где в течение 21-го года похоронены были десятки лучших людей России, недобитых жертв нашего абсолютизма...».¹⁸ «Шлиссельбург <...> прославился <...> как могила героев "Народной воли"...».¹⁹ Якубович именует бывших узников не иначе, как «живыми мертвецами шлиссельбургскими», а крепость — «ужасной шлиссельбургской могилой»,²⁰ поясняет, что «могила» и «мертвецы» намеренно изготавливались властью: «Все усилия самодержавного правительства клонились к тому, чтобы не только общество, но и сами шлиссельбуржцы глядели на себя, как заживо погребенных. И такими они действительно были. На дверях, которые вели в шлиссельбургские казематы, было как бы начертано: "Оставь надежду навсегда!"» Якубович прибавляет, что освободить могла их «только смерть».²¹ У Елеазара, мы помним, были выжжены глаза, чтобы их взгляд не напоминал о «шлиссельбургском гробе». Якубович воссоздает прототипическую жизненную ситуацию: «В настоящее время выпущенные из Шлиссельбурга уже развезены по разным городам и отданы на поруки родственникам. Установлен строгий надзор за каждым их шагом, за всеми сношениями с посторонними лицами; права выезда из назначенного места они лишены»,²² чтобы они молчали, а их не слышали...»

Много материала для понимания конкретно-исторического плана рассказа предоставляют материалы из наследия В. Н. Фигнер. В письме к П. Ф. Якубовичу Фигнер рассказывает о себе, явно проецируя обстоятельства собственной жизни на легенду о Лазаре с той разницей, что у нее не было надежды на возможность воскресения: «И вдруг! — писала она о неожиданно дарованной ей свободе. — Опять удар в замкнутую дверь <...> стук жизни, призывающий "Восстань и гряди!" Ах, Петр Филиппович,

когда человек уже решил, что все кончено, и примирился с этим, отказался жить, то быть вновь разбуженным криком «живи!» — это целая трагедия, мука, от которой даже и сейчас я не могу еще освободиться. . . ». ²³ О гражданской смерти в каторге Фигнер говорила в стихотворении, посвященном Л. А. Волкенштейн:

«Жизнь кончалась, и ночь надо мной

Свой туманный покров расстилала. . . » ²⁴

В письме Фигнер к архангельским ссыльным слышны те же мотивы безнадежной утраты всего близкого (т. е., по существу, «смерти»), непроницаемости стен, за которыми каторжники лежат, «как мертвый камень». ²⁵ В стихах Фигнер, человека могучего, твердого, несдающегося, насквозь проходят жалобы на «саван каторги», говорится о тщетности надежд на воскресение: «< . . . > нет силы воли < . . . > энергии нет < . . . > ». ²⁶

О том же писали все или почти все шлиссельбуржцы. К примеру, М. Ф. Фроленко в своих записках вспоминал: «А время потихоньку шло да шло; яд могилы потихоньку все глубже и глубже забирался в наше тело < . . . > ». ²⁷ Свои «записки» оставил почти каждый из шлиссельбуржцев; со многими из них Андреев был знаком лично, с некоторыми находился в дружбе, за судьбой их всех он следил неукоснительно и напряженно, и каждый устно или письменно вспоминал о крепости-гробе-могиле, узнике-смертнике, о желанности свободы-воскресения и о невозможности вполне воскреснуть из-за внутреннего разрушения и фактической внешней несвободы.

В случае с Фигнер, Якубовичем, Фроленко трудно с уверенностью сказать, что было первично и что вторично — их воспоминания или его рассказ. По-видимому, Андреев находился в атмосфере устных и письменных свидетельств, которые художественно оформились в «Елеазаре», послужили импульсами к его созданию. Иначе обстояло дело с Г. А. Лопатиным: хорошо зная творчество Андреева и его самого лично, Лопатин умышленно выражал свои мысли в образах андреевского рассказа. Летом 1908 года, повстречав В. Л. Бурцева, он жадно его расспрашивал «о том, что было за последние 20 лет, как он выражался, "после его смерти"». ²⁸ А 8-е ноября 1905 года — тот день, когда Лопатин вышел из заточения, он назвал днем «Воскрешения Лазаря». Именно такую подпись — «От Воскрешшего Лазаря» — Герман Александров-

вич сделал на своей фотографии, преподнесенной в 1913 г. Ф. Фидлеру.²⁹ В духе андреевских книг и, в частности, «Елеазара», обдумывал свою судьбу Егор Созонов.

В сущности, вопрос о том, что в высказываниях шлисельбуржцев и в литературе о них предшествовало рассказу Андреева, а что зависело от его рассказа, в конце концов не важен; интереснее другое: Андреев написал рассказ на языке революционного подполья, для подполья и в первую очередь подпольем был понят.

Библия и записки живых революционеров, философское и конкретно-историческое, даль веков и жгучая современность в «Елеазаре» переходят друг в друга, просвечивают друг через друга. За планами действительности возникают планы мировых построений, остро актуальные вопросы переносятся в область философии; существующая между ними дистанция делает контуры современного более объемными и рельефными, насущные проблемы приобретают бытийную значимость.

Необходимо понять механику, посредством которой Андреев осуществляет этот сложный синтез. Его рассказ состоит из шести небольших глав. Образ Елеазара связан в них лейтмотивом символического числа три. Гл. I: Елеазар «три дня и три ночи находился <...> под загадочной властью смерти <...>»; «<...> с лицом трупа, над которым три дня властвовала во мраке смерть <...>» (3, 87—88). Гл. II: «<...> три дня был мертв Елеазар <...>»; «Три дня он был мертв: трижды восходило солнце и заходило солнце, а он был мертв <...>» (3, 89, 91). Гл. III: «Так <...> силен был холод трехдневной могилы <...>» (3, 92). Гл. IV: «Гостеприимство обязательно даже для тех, кто три дня был мертв. Ведь три дня <...> ты пробыл в могиле» (3, 95). Гл. VI: «Так, видимо, закончилась вторая жизнь Елеазара, три дня пробывшего под загадочной властью смерти и чудесно воскресшего» (3, 104). Елеазар, в отличие от евангельского четырехдневного Лазаря — трехдневный. Это его постоянно подчеркиваемый атрибут; он повторен в пяти главах из шести. Единственная глава, в которой не упомянуты три дня смерти, — V-я. Взамен трех дней могилы в ней фигурируют семь дней хождения по Риму чудесно воскресшего. Наличие и сочетание этих двух сакральных чисел явно умышленное.

Согласно сакральной математике, число три — «полное, совершенное число» (Августин): «<...> число божественной троицы и число души, устроенной по ее образцу; символ всего духовного <...> воскресение Христа в третий день», — иными словами, число три — «число божества», число абсолютного, безграничного, бесконечного. Семь же — «число человеческое», обозначающее «гармоническое отношение человека к миру <...> чувственное выражение всеобщего порядка <...>». ³⁰ Таким образом, число Елеазара — три; оно обозначает его принадлежность к миру бесконечного, в первую очередь, и в этом значении противостоит числу семь, символически обозначающему мир, противоположный тому, из которого явился Елеазар, — мир конечный, земной, человеческий. Как видно, на уровне числовой символики Андреев устанавливает противоположность двух миров — Елеазара, побывавшего в мире ином и его представляющего, и земли, мира мудрецов и пьяниц, влюбленных и художников, государственных мужей и выдающихся красавиц. В рассказе последовательно выдержана эта оппозиция, каждый новый элемент числа три нагнетает силу отрицательных значений «бесконечного» бытия в его отношении к «конечному» существованию. Непосредственно в связи с ней возникает круг значений двух слов — смерть и жених.

Слово смерть лишено в рассказе смысловой диалектики, присущей ему в Священном писании; там оно — воскресение через смерть и смерть как путь воскресения и жизни. В «Елеазаре» смерть означает только смерть, а физическое воскрешение Елеазара чисто формальное. Портрет воскресшего нес на себе черты «тяжелой болезни и пережитых потрясений» с явными следами разрушительной работы смерти — землистая синева под глазами, землисто-синие пальцы рук и т. п. Если взглядеться в портрет повнимательнее, нетрудно заметить, что изображен здесь не евангельский, а новый Лазарь, более похожий на выходца из царской крепости. К тому же Елеазар стал тучен. С этой приметой читатель встретится и в андреевской повести «Мои записки»: пожизненно заключенный в тюрьму герой после душевной болезни пополнил и стал тучен. Т.е. и эта примета может быть истолкована как принадлежащая не существу, побывавшему в мире божественной гармонии, а человеку политического подполья, вышедшему из могильной каторги.

«Смерть», как становится известно, изменила нрав Елеазара: он был весел и беззаботен, стал же серьезен и молчалив. Постоянное замечание о Елеазаре, что он живет с лицом трупа, кажется похожим на выражение «живой труп»: так можно сказать о человеке, который хотя и жив, но в силу трагических обстоятельств стал страшнее трупа. А слова Смерть, Бесконечное, Там, Могила, Гроб и т. п. становятся знаками тюрьмы и каторги, где узнику предоставляется время передумать и пережить ужас Бесконечного.

Если прочитать рассказ, пользуясь исключительно данным ключом, он может быть воспринят без внутренних к тому препятствий, настолько важен, явствен и существен в общем контексте. Скажем, во второй главе о Елеазаре говорится, что он, воскреснув, обычно молчал холодно и строго, что его молчание гасило вокруг себя все веселые звуки («точно струна оборвалась, точно сама песня умерла»), что с его появлением повсюду возникала оглушающая тишина, что взор его порой был холоден и равнодушен к живому, и поэтому под его давлением в людях погасала воля к жизни. Приблизительно теми же словами писали о бывших политических преступниках-каторжанам, оказавшихся на воле, покоренные подвигом их самоотверженной стойкости современники.

Таким образом, слово «смерть» означает в рассказе понятие и действие, противоположное «воскресению»; это состояние энтропии, духовного распада, личностного разложения, равного по значению умиранию, хотя фактически (формально) Елеазар жив, и даже, как думают, «воскрес».

Слово «жених» — один из устойчивых мировых символов. Оно столь же употребительно в Евангелии, сколь широко — с внутренней отсылкой к нему — бытует в лексиконе революционеров. Евангельский «жених» обручен христианской церкви — «невесте». «Невеста» «жениха» — освободителя, народного Мессии — революция, родина, жизнь. Эти символы образуют два ряда аналогий и тождеств. Слово-символ «жених» — один из постоянных, но ложных атрибутов Елеазара. Как и числовая символика, он лейтмотивен. Движение лейтмотива создает подобие развития самостоятельного сюжета. Впервые мотив «жениха» звучит в первой главе как синоним воскресения: «И одели его пышно в яркие цвета надежды и смеха, и <...> он, подобный жениху в брачном одеянии, —

снова сидел среди них <...>» (3, 87). Однако радость и упования сразу же — в первой и второй главах — сменяются тонами безнадежности: в брачных одеждах пребывает человек «с лицом трупа <...> тяжелый, молчаливый, уже до ужаса другой и особенный <...>» (3, 88). Образ воскресшего Елеазара построен на контрасте мертвого человека и живых «жениховских» его одежд: «<...> синее лицо мертвеца, одежды жениха, пышные и яркие, и холодный взгляд, в глубине которого неподвижно застыло ужасное» (3, 90). В главе третьей библейски спокойная фраза: «И обветшали брачные одежды его» — как бы снимает контрастное несоответствие между самим Елеазаром и его одеянием. В трех следующих главах последовательно говорится о том, как в Риме на Елеазара вновь надели пышные брачные одежды — символы его воскресенского мессианизма, благодаря чему вновь возникает резкое противоречие между одеждой и глазами, «темными и страшными стеклами, сквозь которые смотрело на людей самое непостижимое» (3, 100). Август должен был увидеть и увидел этот вопиющий диссонанс и задал Елеазару роковой вопрос: «Но разве ты жених?» (3, 96). Перед тем, как отдать приказ о выжигании у Елеазара глаз, Август вновь «внимательно рассмотрел лицо Елеазара и его странную праздничную одежду» (3, 101). Настойчивое столкновение мертвого человека с одеждой живого, возвещающего собой о вечной жизни, раздражает несоответствием друг другу, заставляет убедиться в неосуществимости пришествия Мессии и жизни вечной, воскрешения человека, чья душа умерла навек.

От конкретного Андреев протягивает нити к Вечному: тень от фигуры Елеазара опускалась на человеческие души и «новый вид давала старому знакомому миру» — возникало ощущение великой тьмы или великой пустоты мироздания, они царили безбрежно и делали все вокруг пустым (3, 93). У «тьмы», с которой связан Елеазар, появляется ряд метафизических значений, «пустота» приобретает вселенский масштаб: исчезает чувство пространства и времени, сближаются начала и концы, рождение и смерть. Вокруг судьбы Елеазара начинают полыхать отсветы апокалиптических значений, не переставая принадлежать земле, не утрачивая своих земных измерений.

Основное содержание рассказа связано с передачей психонастроений социального пессимизма и стоицизма. Метафизическая тревога, как всегда, лишена потусторон-

ней мистики. Писатель убежденно стоит на той точке зрения, что «царство человека должно быть на земле». ³¹ Фигуры небо- и адо-жителей, пожалуй, кроме Анатэмы и Сатаны, условны. Зато просто люди и божественно прекрасны в своих мечтах и порывах к свету, добру, любви, и сатанински опасны в своих биосоциальных разрушительных инстинктах. Еще по поводу повести «Жизнь Василия Фивейского» З. Гиппиус писала, что Андреев взялся за «чужую для себя тему Бога», что рассказ о Божьем чуде (и в «Жизни Василия Фивейского» и в «Елеазаре» речь идет о воскрешении) под его пером становится гимном гордому земному божеству — человеку. ³²

Тема воскрешения возникала в литературе и до Андреева. Непосредственными предшественниками и антагонистами Андреева были Толстой и Достоевский, два гения, которых Горький считал писателями одного с ним ряда. На вопрос о возможности воскресения они давали утвердительные, но сложные ответы. Толстой, автор «Воскресения» (1899), положительно решил проблему нравственного воскресения падшей женщины Катерины Масловой и греховного человека Нехлюдова. При этом она идет к воскресению души через очистительное общение с «женихами» революции; он — через переживание Евангелия. (Коллизия «Маслова — революционеры» повторена Андреевым в рассказе «Тьма»: в проститутке Любви просыпается страстное желание воскреснуть к новой, революционной, «чистой» жизни.) По сути, Толстой не коснулся в романе обсуждения возможности воскресения в евангельском смысле. В «Исповеди» и в «Соединении и переводе четырех евангелий», написанных почти за двадцать лет до «Воскресения», говоря о Евангелии от Иоанна, Толстой выделил слова о воскресении, истолковывая их, однако, исключительно как возможность воскресения духовного и категорически отрицая чудо воскресения телесного. ³³

По сути, то же самое утверждает и Достоевский. Его Раскольников (1866), переживший легенду о четырехдневном Лазаре как рассказ о собственной судьбе, воскресает, однако, лишь духовно, отбросив самонадеянную мечту гордеца о праве посягновения на чужую жизнь. Для него право одних за счет других — путь, ведущий к духовной гибели. О том же писал Достоевский в «Записной книжке» 1863-1864 годов. Воскресение Достоевский истолковывает

здесь как веру истинную: «Коли веришь в Христа, то веришь, что и жить будешь вовеки. Есть ли в таком случае будущая жизнь для всякого Я? Говорят, человек разрушается и умирает весь». Этому утверждению Достоевский противопоставляет убеждение, что лишь «Бог есть жизнь бесконечная», а Я каждого человека воскреснет «в общем Синтезе» (XX, 174-175).

В отличие от Толстого и Достоевского, с точки зрения Андреева, самая постановка вопроса о жизни по ту сторону земного предела схоластична. Для его Человека жизнь и смерть — категории вполне и исключительно земные: лишь на земле может человек вочеловечиться, отчасти или вполне, и нет для него другого способа воплотиться. Елеазар «оттуда», где нет земных радостей и страданий, где нет общей, «соборной» жизни — мертвец во власти «Бесконечного» и ничего более. Вопрос о Боге-бессмертии на протяжении почти всего творчества писатель решал атеистически, хотя некоторые его герои алкали Бога, но не находили его («Жизнь Василия Фивейского»), хотя другие — искали способов разрушить веру («Савва»); однако позднее, в повести «Иго войны», возникает мысль о Боге живой жизни, ставшая для героя Андреева и для самого писателя положительной.

Среди предшественников Андреева по двум близким линиям идей рассказа должны быть названы В. Гюго и Н. Минский. В разное время В. Гюго обращался к сюжету евангельской легенды о воскресении Лазаря. Н. Минский касался центральной темы рассказа — сопоставления двух правд: Земли и Неба.

В творчестве Гюго встречаемся с двумя различными случаями трактовки Евангелия. В стихотворении «Воскрешение Лазаря» из «Легенды веков» акт воскрешения Лазаря Иисусом объяснен традиционно утилитарно, как это делали противники церкви: чтобы в Иисуса поверили люди.

«< . . . > и молвил Иисус стоявшим: развяжите
Его — и пусть идет! Воскрес ваш друг: смотрите!
Уверовали тут же многие в Христа».³⁴

Совершенно иначе к сюжету о Лазаре Гюго подошел в стихотворении «Он не был виноват. . . » из книги «Все струны лиры». В нем нарисован образ несчастного бедняка, которого схватили по ложному доносу соседа, посадили в тюрьму, а дом его порушился. Революция возвращает

ему жизнь; однако мертвой души уже не воскресить, сам он способен только на месть. Жизнь для таких, как он, становится адом.

«Но вот внезапно зов доносится с востока,
 То марсельезы клич несется гордо ввысь.
 И услышал мертвец: «Восстань! Живи! Вернись!»
 Открыла родина отверженному двери. . .
 Жены на свете нет — не вынесла потери.
 Где сын? Неведомо, что случилось с ним. Где дочь,
 Кудрявый ангельчик? Похожую точь-в-точь
 Он видит женщину под вечер на панели,
 В румянах, пьяную, плетущуюся еле.
 Ужель она? < . . . >
 Настал его черед. . . Давайте пули, порох!
 Прочь жалость! утолит он ненависть свою!
 Священник? Режь его! Судья? Убей судью!
 Он будет грабить, жечь, насиловать открыто.
 Ударь невинного — и обретешь бандита».³⁵

Как видим, круг поэтических понятий Гюго таков: жизнь в условиях социального бесправия — смерть; свобода — воскресение; ненависть, разрушение — невозможность воскреснуть даже в условиях революции. Мотив фактического не-воскресения как следствие действия социального зла.

Непосредственным предшественником Андреева — автора «Елеазара» был в известной степени Н. Минский — автор поэмы «Гефсиманская ночь». В обоих произведениях со- и противопоставлены две вечные правды — земная и запредельная. В поэме Минского правда Земли — дьявольская. Ее носителем выступает Злой дух. Подобно Великому Инквизитору он оказывается апологетом грехонаслаждения и укоряет Иисуса в непонимании сущности земной природы. Удел земли, по логике Злого духа, земные же любовь, утечи, покой и тишина «семьи приветливой», упоение властью, наукой, славой. . . Правда Неба — это апология страдания-жертвы. О ней говорит в поэме Ангел. Удел Неба — тоска о совершенстве и невозможность его достичь:

«Кто крест однажды хочет несть,
 Тот распинаем будет вечно,
 И если счастье в жертве есть,
 Он будет счастлив бесконечно.

Награды нет для добрых дел.
 Любовь и скорбь — одно и то же.
 Но этой скорбью кто скорбел,
 Тому всех благ она дороже.

Какое дело до себя
 И до других, и до вселенной
 Тому, кто шествовал любя,
 Куда звал голос сокровенный?

Но кто, боясь за ним идти,
 Себя сомнением тревожит,
 Пусть бросит крест среди пути,
 Пусть ищет счастья, если может. . . »³⁶

При том, что устами Злого духа правда Неба названа правдой призраков, результатом «гордыни дикой», «гордыни ослепленьем», поэту она в то время кажется ближе правды Земли. «Елеазар», если так можно сказать, перевертывает поэму Минского «наизворот»: в нем оказано явное предпочтение правде Земли, правде любви, подвига, творчества и других земных ценностей. В «Елеазаре» скрыто, а во всем творчестве явно, неистово Андреев отстаивал право человека на полноценную земную жизнь. И был противником жертвы.

Самая близкая аналогия по сходству отыскивается между «Елеазаром» и одним из офортов «Бедствий войны» Ф. Гойи: 69-й офорт назван художником «Nada»: «Ничто». В автокомментарии читаем: «Мой призрак хочет сказать, что он совершил великое путешествие в иной мир, но ничего не нашел там».³⁷ Эти слова с удивительной точностью характеризуют самоощущение Елеазара, если бы тот вдруг о нем заговорил: он хранит тайну Ничто, которую он принял, которой покорился, но она не перестает вызывать у него удивление своей величавой пустотой, своим оглушающим «Ничто».

В русской и мировой литературе имели место и другие обращения к евангельскому Лазарю. Наиболее известны два цикла стихов Г. Гейне: первый — из 23-х стихотворений — «Лазарь» (во второй книге «Романсеро»: «Ламентации») и второй — из 42-х поздних стихов 1853–1854 годов — «К Лазарю». Это вольные вариации на темы «убогого» и «четырёхдневного» Лазаря: жизни и смерти, воскресения и земной печали. Их соединяли настроения

погибших надежд, житейских тревог, смертельной усталости, душевного охлаждения — поэт рассказывал о своем горьком одиночестве среди людей. Для разговора об Андрееве можно отметить, что в 1900 году в Петербурге вышло полное собрание сочинений Гейне, где были собраны воедино все стихотворения обоих циклов в переводах русских поэтов: А. Я. Мейснера, Л. А. Мея, Ф. Б. Миллера, Д. Д. Минаева, М. Л. Михайлова, А. Н. Плещеева, О. Н. Чуминой и др. По-видимому, это событие не могло пройти мимо внимания Андреева, а некоторые из стихотворений Гейне, видимо, отозвались в его творчестве; можно предположить, что это были: «Оглядка назад», «Восстание из мертвых», «Enfant perdu», «Ах, как медлительно ползет Ужасная улитка время. . . » и др.

Годом раньше в 12-ю книжку «Мира Божьего» вошла статья Евгения Дегена о французском парнасце Леоне Дьерксе с переводом его маленькой поэмы «Лазарь». В ней развивалась та же, что и у Гейне, тема трагического одиночества поэта. Как писал Деген, «ужасная судьба <...> выходца с того света представляется автору <...> аналогичной судьбе поэта, несчастного избранника, отмеченного среди всех живущих печатью гения и проклятия. Этот субъективный смысл измышленной поэтом легенды придает ей особенную художественную силу».³⁸

В рецензии на «Елеазара» Волошин нашел, что между Лазарем Дьеркса и Елеазаром в их обрисовке немало общего; он думал, что на Андреева произвела некоторое впечатление переводная поэма Дьеркса. Правда, чтобы это доказать, ему пришлось осуществить собственный перевод «Лазаря», и тогда образ заглавного героя стал ближе к Елеазару, нежели в переводе Дегена. Быть может, он стал известен Андрееву только теперь, в переводе Волошина, где собственно и появился «силуэт Елеазара на фоне заката: черное туловище и распростертые руки, которые давали чудовищное подобие креста. . . »³⁹

Следующий перевод «Лазаря» Дьеркса выполнил В. Брюсов;⁴⁰ над ним Брюсов работал, зная о статье и переводе Дегена, о рецензии и переводе Волошина. Поэт не захотел вмешаться в спор по поводу Елеазара, сделать Лазаря Дьеркса на него похожим. Классически строго Брюсов нарисовал образ поэта-парнасца, чуждого «пустым ропотам бытия», игнорирующего «заботы жизни бременной». Стихи Гейне и Дьеркса, таким образом, подчеркивают не

только самостоятельность Андреева, но, главное, возможность многообразных путей реализации вечных мифологических сюжетов и образов на почве литературы нового времени.

Для полноты и рельефности картины можно упомянуть об обращении к евангельскому образу воскресшего М. А. Кузмина, в 1929 г. включившего оригинальную поэму «Лазарь» в книгу «Форель разбивает лед». Кузмин переносит действие легенды о четырехдневном Лазаре на почву частной жизни жителей Соединенных Американских Штатов, насыщая ее таинственными загадками и трагическим звучанием. «Лазарь» Кузмина вовсе не связан преемственной традицией с «Елеазаром» Андреева. Тема его поэмы — это тема любовной истории, осмысленной через призму аналогий с евангельским сюжетом. По-видимому, поэма Кузмина восходит к «Мессиаде» Ф. Клопштока, где один из вставных сюжетов содержал историю любви подруги Марии Сидли и чистого юноши Семида, обстоятельства жизни которых перекликаются с перипетиями судьбы Микки (Марии), ее брата Вилли (Лазаря и Семида одновременно), возлюбленной Джойс Эдит (Сидли). В обеих поэмах любовь — путь воскрешения человека и источник его бессмертия.

Можно подвести краткий итог. «Елеазар» — рассказ, одновременно и слитно содержащий три плана изображения: условно-обобщающий (библейский), стоящий за ним бытийный и конкретно-исторический, обозначенный в узнаваемых симптомах и намеках. Написанный в жанре параболы, он лишен назидания или поучения, построен в форме философской притчи, художественная задача которой — задать читателю «проклятый» вопрос о ценности жизни перед лицом смерти. «Елеазар» кощунственно оспаривает евангельскую идею воскрешения через смерть как путь к новой жизни (Царству Божию).

Сюжет рассказа движется к доказательству самоценности земного существования, приводит к его оправданию. Андреев сталкивает две правды — видимую, зримую, «милую» — Земли и отвлеченную, холодную, умопостигаемую — Неба. Рассказ Андреева — Книга проповедника Екклесиаста «наизворот»: в Библии утверждалась высшая правда Неба, она возвышалась над малыми суетными правдами Земли. Андреев отстаивает непреходящую цен-

ность правды Земли и ставит под сомнение приоритет тайной правды Неба. Она, правда Неба, отбирает Лазаря-Христа у земной жизни. Лазарь-Христос молчит о ней: она ужаснула его отрицанием ценности правды Земли. Аврелий догадался о ней, и для него ужас бесконечного инобытия принял форму «чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого наружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти от самих себя», а земная быстротечная жизнь отлилась в символический образ «дивно изваянной бабочки, с прозрачными крылышками, точно трепетавшими от бессильного желания лететь» (3, 97). Август понял тяжесть вечного для земного человека и решился ослепить Елеазара, чтобы скрыть до времени от людей знание о вечном.

Образ Елеазара синтетичен: чудесно воскресший от смерти, познавший тайну запредельного инобытия, он в то же время может быть понят как чудесный выходец из Мертвого дома. Тайное знание его ужасов делает невозможным духовное воскресение. Узнавший смерть трагически невозможным для живой жизни. В апологии земного, каковой является рассказ Андреева, люди остаются земными существами, их радости, беды, печали полны трепета жизни мгновений, часов, дней и лет. Знание правды инобытия, где не ведется счет времени, сближены концы и начала, разрушает правду Земли, лишая ее аромата, прелести, смысла. Правда Мертвого дома, как и правда инобытия — чужда жизни; она — болезненный цветок, выросший на больной почве, где отношения между людьми построены на погоне за чужой жизнью, на пренебрежении жизнью собственной, приносимой в жертву неведомому, безграничному Ничто.

За несколько лет до написания «Елеазара» в фельетонессе «Впечатления» Андреев так охарактеризовал противостояние жизни и смерти: «И как ни сильна жадная смерть, не может она победить жизни, прекрасной, могучей жизни, неудержимо стремящейся к свету».⁴¹ В других курьерских «впечатлениях» (9 апреля 1900 г.: на праздник Воскресения Христова) человека, могущего верить, надеяться, любить, умеющего жить талантливо, творчески, Андреев назвал воскресшим, воскликнув: «Ах, как прекрасна жизнь для воскресших!» Этому пониманию ценности жизни он остался верен в творчестве последующих лет, что с трагической силой прозвучало в рассказе-параболе «Елеазар», где устами скульптора Аврелия был произнесен

девиз самого Андреева: «Ничего лучше не может придумать человек, как живя — радоваться жизни и красоте живого» (3, 94).

«Елеазар» — один из характерных образцов работы Андреева над созданием параболы XX столетия. Рассказ принадлежит к кругу произведений Андреева о противоречиях конечного и бесконечного, свободы и необходимости, целей и смысла человеческого существования и того, как они переживаются в трагический момент истории лазарями «мертвых домов», солнечными творцами искусства аврелиями (вспомним известный псевдоним Брюсова: Аврелий), выдающимися правителями августами и обыкновенными смертными: весельчаками-эпикурейцами, молодыми влюбленными, мудрыми зрелыми мужами.

Ветхозаветные поучения Екклесиаста о тщете человеческой жизни перед Абсолютным Богом Андреев «перелицовывает» в ряд рассказов о самоценности земной жизни человека; легенду о чудесном воскресении Лазаря (и Иисуса) развертывает в трагическую притчу о тщете духовного воскресения устроителей всеобщего счастья («женихов»), если они готовы пожертвовать для осуществления революционной идеи («невесты») жизнью, собственной и других людей. От библейской притчи Андреев отсекает ее завершающее назидание («Слово Божие»), зато актуализирует стихию замысловатости, загадочности, которую царь Соломон, пророк Екклесиаст, да и сам Иисус учили постигать посредством уподоблений, аналогий, иносказаний и намеков. Эстетическая задача притчи-загадки Андреева состоит в апологии хрупкой человеческой жизни и в утверждении ее непреходящей ценности, остро чувствуемой, нисколько не меркнувшей в виду ее трагически неизбежной краткости, как и в виду ее трагического несовершенства. Трагическая диалектика живого и мертвого в параболе Андреева складывается в гимн вечнобунтующему живому человеку — художнику, мудрецу, влюбленному, весельчаку, государственному мужу, — он пронизан мыслью о тайне смерти, которая приковывает внимание к путям жизни и заставляет остро переживать ее бессмертную красоту.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Андреев Л. Н. Поли. собр. соч.: В 8 т. СПб.: Изд. т-ва А. Ф. Маркс, 1913. — Т. 3. — С. 103, 104. Далее текст Андреева цитируется по данному изданию.
- 2 Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка // Литературное наследство. — М., 1965. — Т. 72. — С. 286. Далее: ЛН.
- 3 Витте С. Л. Андреев. Критический очерк. — Одесса, 1910. — С. 14.
- 4 Волошин М. А. Лики творчества. — Л., 1988. С. 451. (Серия «Литературные памятники»).
- 5 Ляцкий Е. Между бездной и тайной («Елеазар», «Иуда Искариот и другие» Леонида Андреева) // Современный мир. — 1907. — N 7/8. — Отд. II. — С. 62 и след.
- 6 Московкина И. И. Поэтика легенд и притч Л. Андреева // Поэтика жанров русской и советской литературы: Межвуз. сб. науч. тр. — Вологда, 1988. — С. 95.
- 7 Колтоновская Е. А. Ссылным и заключенным. СПб., 1907 // Образование. — 1907. — N 10. — Отд. III. — С. 80–81.
- 8 Московкина И. И. Указ. соч. — С. 96.
- 9 Дмитриев П. Журнальное обозрение // Образование. — 1907. — N 3. — Отд. III. — С. 85.
- 10 Там же. — С. 86–87.
- 11 Витте С. Указ. соч. — С. 13, 16.
- 12 Беззубов В. И. Леонид Андреев и традиции русского реализма. — Таллинн, 1984. — С. 297.
- 13 Письма Егора Созонова к родным. — М., 1925. — С. 345.
- 14 Львов-Рогачевский В. Л. Поворотное время // Современный мир. — 1911. — N 4. — С. 238.
- 15 Боцяновский В. Ф. Богоборцы Леонида Андреева // Богоискатели. — Пб.; М., 1911. — С. 240.
- 16 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1956. — Т. 9. — С. 115. Говоря о «Лазарях», Герцен имел в виду Н. В. Станкевича, Т. Н. Грановского, А. Д. Галахова, В. П. Боткина.
- 17 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1985. — Т. 28. — С. 166, 181. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием в скобках тома римской цифрой и страниц арабской.

- 18 Якубович П. Ф. Шлиссельбургские мученики. — СПб., 1906. — С. 2.
- 19 Мельшин Л. <Якубович П. Ф.>. Раскрытый тайник // Галерея шлиссельбургских узников. — СПб., 1907. — Ч. I. — С. XXIX—XXX.
- 20 Якубович П. Ф. Шлиссельбургские мученики. — С. 25, 30.
- 21 Там же. — С. 26—27.
- 22 Там же. — С. 3.
- 23 Фигнер В. Н. Стихотворения. — СПб., 1906. — С. 4.
- 24 Там же. — С. 16.
- 25 Там же. — С. 40.
- 26 Там же. — С. 24.
- 27 Фроленко М. Ф. Милость. — СПб., 1906. — С. 9.
- 28 Бурцев В. Л. Как я разоблачил Азефа // Провокатор. Воспоминания и документы о разоблачении Азефа. — Л., 1929. — С. 218—219.
- 29 Пустильник Л. С. Горький и Лопатин // Русская литература. — 1986. — N 4. — С. 104.
- 30 Кириллин В. М. Символика чисел в древнерусских сказаниях XVI в. // Естественно-научные представления Древней Руси. — М., 1988. — С. 84, 107.
- 31 Андреев Л. Н. Письмо к В. С. Миролюбову (февраль 1904) // Литературный архив. — М.; Л., 1960. — Т. 5. — С. 106.
- 32 Крайний Антон <Гиппиус З. Н.>. Летние размышления // Новый путь. — 1904. — N 7. — С. 299.
- 33 См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Серия 1: Произведения. — М., 1957. — Т. 24. — С. 498.
- 34 Гюго В. Собрание стихотворений в переводе русских писателей / Под ред. И. Ф. Тхоржевского. Изд. 10-е. — Тифлис, 1896. — С. 366 (пер. И. Ф. и А. А. Тхоржевских; в переводе Н. Л. Федорова стихотворение названо «Христос и мертвец»).
- 35 Гюго В. Собр. соч.: В 15 т. — М., 1956. — Т. 15. — С. 486 (перевод Вал. Дмитриева).
- 36 Минский Н. Новые песни. — СПб., 1901. — С. 17—18.
- 37 Цит. по: Левина И. М. Гойя. — Л., 1958. — С. 300.
- 38 Деген Е. Два парнасца // Мир Божий. — 1899. — N 12. — Отд. I. — С. 69.
- 39 Волошин М. А. «Елеазар», рассказ Леонида Андреева // Волошин М. Лики творчества. — Л., 1988. — С. 452.
- 40 См.: Полное собрание сочинений и переводов Брюсова. — СПб.: Сирин, 1913. — Т. 21. — С. 77—79.
- 41 РО ИРЛИ. — Ф. I. Оп. I. N 31.

И. Ф. АННЕНСКИЙ —
ИНТЕРПРЕТАТОР И. С. ТУРГЕНЕВА

ЛЕА ПИЛЬД

Тема нашего исследования — анализ статьи «Умиравший Тургенев» (1906) в «Книгах отражений» И. Анненского. Непосредственно на эту тему в контексте более широкой проблематики рецепции Тургенева у Анненского написана работа Н. Ашимбаевой «Тургенев в критической прозе И. Анненского». ¹ Автор статьи рассматривает концепцию тургеневского творчества у Анненского на фоне общесимволистского толкования произведений Тургенева. Н. Ашимбаева видит своеобразие Анненского в большей «реалистичности» восприятия тургеневских текстов по сравнению с другими символистами, в отсутствии соотношения произведений Тургенева с выражением «сверхреальных» сущностей, как это в большинстве случаев было принято делать в символистской критике, начиная с работы Д. С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях современной русской литературы» (1893). ² Кроме того, автор вышеуказанной статьи усматривает близость тематики произведений и отдельных элементов миропонимания между «таинственными» повестями Тургенева и творчеством Анненского, осознанную самим Анненским. Эта близость, по мнению Н. Ашимбаевой, проявляется, в частности, в развитии в «таинственных» повестях Тургенева и поэзии Анненского темы «невозможного», «недостижимого». ³

Нашей целью является, во-первых, попытаться показать, как Анненский сам соотносил тургеневское творчество с различными течениями в русском символизме конца XIX — нач. XX в. и, во-вторых, несколько конкретизировать представление о близости отдельных мотивов в новеллах Тургенева 1870-х — нач. 1880-х гг. с некоторыми темами лирики Анненского.

В статье «Умиравший Тургенев» И. Анненский развивает по крайней мере две, тесно связанные друг с другом, темы: тему смерти («умирания») художника и произведения искусства и тему соотносительности творчества Тургенева с «новым» искусством. «Смерть» произведения искусства, понятая Анненским как отсутствие контакта художника с читателем, составляет отдельный тематический комплекс в лирике Анненского, развернутый более детально в «Кипарисовом ларце» (1910). По словам Л. Я. Гинзбург, лирический герой Анненского «не в силах овладеть прекрасным миром», в частности, потому, что «сцепление» между мирами «бесцельно», непонятно.⁴ Таким образом можно предположить, что тема несостоявшегося контакта поэта с читателем отчасти связана с общей мировоззренческой установкой Анненского — его агностицизмом.⁵ Вместе с тем, отраженные в лирике Анненского сомнения лирического героя в эстетической ценности созданных им произведений (см., напр., стихотворения «Другому» в разделе «Складни» сб. «Кипарисовый ларец», «Ненужные строфы» в «Тихих песнях») имеют бесспорно и *автобиографический* подтекст. Например, в письме к А. В. Бородиной от 29 ноября 1899 года Анненский своему будущему в литературе уделяет очень скромное место: «<...> питаю твердую надежду в пять лет довести до конца свой полный перевод и художественный анализ Еврипида, первый на русском языке, чтобы *заработать себе строчку в истории литературы* <курсив мой. — Л. П.>».⁶ Семь лет спустя, уже будучи автором опубликованного сборника «Тихие песни», Анненский замечает: «Зачем не дано мне дара доказать другим и себе, до какой степени слита душа моя с тем, что не она, но что вечно творится и ею» (КО: 466).

Согласно представлению Анненского о творчестве как *внеиндивидуальном* начале,^{6a} произведение искусства после смерти художника, его создавшего, не умирает, а *продолжает свою жизнь* в бесчисленных интерпретациях: «Ни одно великое произведение поэзии не остается досказанным при жизни поэта, но зато в его символах надолго остаются как бы вопросы, влекущие к себе человеческую мысль. Не только поэт, критик или артист, но даже зритель и читатель вечно творят "Гамлета"» (КО: 205).

Однако в лирике Анненского мы находим мотивы «застывания» и «онемения», связанные с семантикой исчез-

новения художественного произведения, уничтожения его для последующих возможных восприятий. (См., напр., стихотворение «Офорт» в «Трилистнике бумажном»: «Ясен путь, да страшен жребий: / *Застывая онеметь* <курсив мой. — Л. П.>⁷). В первом стихотворении «Трилистника бумажного» «Ты опять со мной, подруга осень» лирический герой в «застылости» осеннего пейзажа прозревает «пустоту» «тайн слов», т.е. отсутствие смысла творчества: «Но сквозь сеть нагих твоих ветвей / Никогда бледней не стыла просинь <... > Знаешь что... Я думал, что больнее / Увидать пустыми тайны слов» (90—91).

В «Умиравшем Тургеневе» Анненский пытается выявить те причины, по которым не происходит контакта произведения с читателем, почему искусство «умирает». Один из повторяющихся в статье мотивов — «застывание», «неподвижность»: «Эта осень и была его последней повестью: то серой, то розовой, еще старательно четкой и в мягких, но уже *застывших* контурах» (КО: 37); «Еще немного, — пишет Тургенев, — и я даже сам не буду желать выходить из этой *неподвижности*, которая не мешает мне ни работать, ни спать <... > Вы скажете, может быть, что *застылость* контуров повести подсказана мне именно этим письмом <курсив мой. — Л. П.>» (КО: 38). Повесть Тургенева «Клара Милич» (1882) Анненский определяет как «застывшую в контурах». Эта повесть, в понимании его, находится как бы на грани «умирания» и «смерти», подобно Тургеневу — человеку и художнику в последние месяцы жизни. С точки зрения Анненского, умирающий Тургенев уже не способен справиться с рядом задач, которые он перед собой ставит и, таким образом, эстетический уровень произведения снижается по сравнению с другими, предыдущими повестями Тургенева.

Слабость Тургенева-художника проявляется, по Анненскому, в том, что его герои существуют в хронологически сдвинутом пространстве, хотя действие происходит в 70-е гг. прошлого века: «Аратов даже окружен анахронизмами. Автор "Нови" дает ему в друзья Купфера. С виду этой такой живой и восторженный юноша, а на деле ведь это же — тень, это студент 40-х годов, которого забыли похоронить <... > Да его хоть сейчас в кружок к Рудину, этого Купфера. И что общего у него с концом 70-х годов, когда заставил его жить Тургенев. Неужто Купфер читал брошюру Драгоманова и переживал вместе с нами "Четыре дня" Гаршина?» (КО: 39).

Как считает Анненский, Тургенев отчасти теряет способность исторически точно изображать характеры — способность, которая считалась и считается одной из основных особенностей Тургенева-художника. Однако, по мысли Анненского, ослабление способности исторически осмыслять реальность как бы предваряет то, что рано или поздно случается с произведениями выдающихся художников. Эти произведения теряют свою историческую актуальность. Так, в статье «Что такое поэзия?» (1911) Анненский пишет: «Когда люди перестали различать за невнятным шорохом гексаметра плеск воды об ахейские весла, дыхание гребцов, злобу наступающего и трепет настагаемого, они стали искать у Гомера новых символов» (КО: 204). Анненский, по-видимому, не случайно противопоставляет 70-м гг. именно 40-е гг., в атмосферу которых погружены персонажи Тургенева Аратов и Купфер. 1840-е гг. в истории русской литературы противопоставят 70-м по степени выраженности интереса к проблемам «эстетизма». Ведь в кружке Рудина, о котором говорит Анненский, реальность осмыслялась сквозь призму немецкой философской эстетики, и эстетическим идеалом этого кружка была *красота как гармония*. В начале 80-х гг., в противовес этому, психологическое состояние Тургенева определяется тоской по *несбывшейся, невоплотившейся красоте*.

Вместе с тем, по мысли Анненского, Тургеневу не удалось передать динамику развивающегося чувства Аратова — главного героя повести, которого Анненский психологически отождествляет с автором: «Вы скажете, что, наоборот, действие в «Кларе Милич» движется, что темная страсть Аратова нарастает <...> О нет, это один мираж. *Растет не страсть, а недуг* <курсив мой. — Л. П.>» (КО: 38). Отсутствие драматизма и напряжения в страсти Аратова, по Анненскому, — отражение не только физиологического и психологического состояния Тургенева, но и его мировоззренческой установки, связанной с сомнением в трансцендентном существовании: «Аратов выносит ряд опустошений и кончается. Именно кончается. Смерти нет <...> Я не думаю, чтобы Тургенев, несмотря на свою склонность к мистицизму даже, верил в бессмертие» (КО: 40).

По мысли Анненского, понятие красоты для Тургенева неразрывно связано с идеей ее *реализации*. Поскольку Аратов — это психологический двойник Тургенева, то

его чувства не могут быть полнокровными в процессе переживания одного лишь *стремления* к красоте. С точки зрения Анненского, стремление к прекрасному уже включает в себя представление о красоте и счастье наряду, разумеется, со страданием.⁸ По Анненскому, Тургенев и в своей прошедшей жизни не ощущает *погдинности* бытия красоты, поскольку склонен был более не верить, чем верить в бессмертие души и потустороннюю гарантию бытия прекрасного: «Поистине человек — неблагоприятнейшая из тварей. . . чем полнее наливают ему кубок, тем горячее будет он верить, что там была лишь одна капля и та испарилась, едва успев освежить ему губы. Надо быть заправским неудачником, чтобы рано утомиться жизнью и сказать себе < . . . > довольно. Тургенев провел счастливую жизнь — как Гете, он был и красив, и гениален, и любим, и сам умел любить, — и все же на 65 году жизни он создал Клару Милич, т.е. воспроизвел *ощущение непознанного* <курсив мой. — Л. П.>» (КО: 42).

Таким образом, снижение эстетического звучания творчества Тургенева связано, по Анненскому, с углублением сомнений писателя в потустороннем существовании прекрасного.

Судя по высказываниям Анненского в статьях и письмах, проблему отсутствия контакта художественного произведения с читателем он связывал также с понятием «слова-штампа»: «Слово слишком грубый символ. . . Слово опощлили, затрепали, слово на виду, на отчете. . . На слово налипли шлаки национальности, инстинктов — слово, к тому же, еще и лжет» (КО: 466). Большинство читателей, как считает Анненский, приучило себя видеть и узнавать в произведении словесного искусства знакомое, привычное: «Поэтическое слово не смеет быть той капризной струей крови, которая греет и розовит мою руку: оно должно быть той рукавицей, которая натягивается на все ручные кисти, не подходя ни к одной» (КО: 93).

Статья «Умиравший Тургенев» также развивает эту тему. Она начинается с подробного описания похорон Тургенева. Наблюдающий и одновременно участвующий в похоронах автор замечает резкое несоответствие надписей на венках и реально происшедшего (физическая смерть Тургенева): «"Великому. . ." "Подвижнику. . ." "Певцу. . ." — певцу с сукровицей на атласной подушке гроба!» (КО:С. 36). Шаблонное представление о бессмертии художника находится в остром контрасте со смер-

тью, которая действительно произошла и проявляет себя непосредственно в тленности. Возможно, что Анненский полемически ориентируется здесь на статью Мережковского «Памяти Тургенева», опубликованную в годовщину десятилетия смерти писателя. Автор статьи высказывает мысль прямо противоположную: «Но где же тление? Где же прах? Где ужас смерти? В эту годовщину мы прозреваем еще одну победу человеческого духа над смертью и временем. Это — первые десять лет бессмертия <курсив мой. — Л. П.>».⁹

По Анненскому, читатели и литераторы, мыслящие штампами, не способны к подлинному проникновению в творчество Тургенева. Его творчество умирает — вместе с самим автором.

Исчезновение произведения искусства, «онемение» художника для последующих поколений происходит, однако, не только потому, что большинство читателей привыкло видеть в словесном произведении поэтические штампы. Концепция поэтического слова Анненского предполагает невыразимость словесного символа в противовес символам музыкальным.¹⁰ Поэтому «непонимание» того или иного автора может возникнуть и в рамках литературной эволюции как отсутствие связи между автором и последующим литературным поколением. Описывая похороны Тургенева, Анненский выделяет только одного из говоривших речи на могиле писателя: «<...> ученый-ботаник в распушенных сединах говорил над его могилой речь о давно погасших звездах, и слова его падали старчески-медленно, а рядом также медленно падали с дрожащих веток желтые листья» (КО: 37). Как уже неоднократно отмечалось исследователями, «ученый-ботаник» — это Андрей Бекетов, профессор, ректор Петербургского университета и дед поэта Александра Блока.

Мотив опадания (увядания) осенних листьев часто, начиная со стихотворений сборника «Тихие песни», связан у Анненского с символикой смерти, исчезновения, сомнения в высоком смысле посюстороннего существования и, в частности, в эстетической ценности художественного произведения: «Как чахлая листва пестрима увяданьем / И безнадежностью небес позлащена, / Они <стихи — Л. П.> полны еще неясным ожиданьем, / Но погребальная свеча уж зажжена» (63). (См. также стихотворения «Листы» в «Тихих песнях», «Осенний романс» в «Раз-

метанных листах»). Слова «ученого-ботаника» (Бекетова) «падают» подобно осенним листьям и, следовательно, подобно им исчезнут, «коснутся праха». Бекетов и Тургенев здесь для Анненского — люди одной культуры — демократической дворянской культуры XIX в., которая, по Анненскому, в будущем не во всем будет понята приемниками и отчасти подвергнется забвению. Например, как показывает Анненский, демократический (в частности, народнический) гуманизм 70-х годов Тургенев перед смертью забывает уже сам: его герои Аратов и Купфер живут в 70-е гг., но не читают ни Гаршина, ни Глеба Успенского. В «Кларе Милич», таким образом, этический пафос произведений Тургенева, столь важный для Анненского, ослабевает. В том, что Тургенев перед смертью, все больше разочаровываясь в идеале красоты как гармонии, склоняется к индивидуализму, Анненский усматривает проявление элементов узкого доктринерства в мировоззрении Тургенева, которые, по Анненскому, и прежде были присущи Тургеневу. Например, в статье «Символы красоты у русских писателей» (1909) Анненский писал: «Красота у него <Тургенева. — Л. П.> непременно берет, потому что она — самая *подлинная власть*. Красота у него обезволивает, обессиливает» (КО: 134).

Представление о «власти», «господстве», «обладании» в критической прозе Анненского неизменно связывается с мыслью об устойчивом, догматическом мировоззрении того или иного писателя: «А кто не читал таких страниц Толстого, которые просто-таки дурманят нас миражем господства над жизнью» (КО: 137). Творчество Толстого, по Анненскому, антимзыкально; так как в основе его лежит устойчивое, догматическое миропонимание, которое предполагает однозначное толкование поэтических образов.

Под мировоззренческой узостью Тургенева Анненский, по-видимому, понимал его веру в разумность и целесообразность исторического процесса. Недаром Анненский не рассматривал в критической прозе романы Тургенева и практически не обращался к тургеневским романским персонажам в своей лирике. В «таинственных» повестях Тургенева Анненский, наоборот, видит проявление «музыкального» начала, т.е. потенциальной возможности бесчисленных интерпретаций. Так, ярким выражением «музыкальности» для Анненского является повесть Тургенева «Странная история», которой посвящена статья во 2-ой «Книге отражений». Героиня повести загадочна, по Ан-

ненскому, не только для читателя, но и для автора, так как красота ее «не имеет ясной цели».

Возвращаясь к проблеме соотношенности творчества Тургенева с символизмом в восприятии Анненского, следует отметить, что в символистах «младшего» поколения (Блок) и шире — в символистах, исповедующих «утопический эстетизм»^{10а} (Мережковские) Анненский склонен усматривать продолжателей тургеневской традиции в меньшей степени, чем в символистах, ориентированных на «чистый эстетизм» (творчество К. Бальмонта и творчество самого Анненского). Несмотря на высокую оценку Блока-поэта в статье «О современном лиризме» (1909), Анненский невысоко оценивает Блока как носителя определенного мировоззрения. Узким, доктринерским кажется ему и мирозерцание Мережковского. В письме к Т. А. Богданович от 6 февраля 1909 года Анненский пишет: «<...> у Мережковских именно отвлеченности-то и нет, <...> у них *инстинкты* да самовлюбленность проклятая, <...> у них не мысль, а золотое кольцо на галстуке. С эсдеком можно грызться, даже нельзя не грызться <...>. Но в Блоке можно только увязнуть. Искать Бога — Фонтанка 83. Срывать аплодисменты на Боге... на совести. Искать бога по пятницам — какой цинизм!» (КО: 485).

По Анненскому, в миропонимании Мережковских и Блока нет элементов неопределенности. Все жестко, определено, устойчиво. Подобно тому, как творчество Толстого, благодаря однозначно выраженной авторской позиции, лишено потенциальных значений, творчество символистов, ориентирующихся на утопический эстетизм, с трудом вбирает в себя литературную традицию. По Анненскому, интерпретация произведений Тургенева Мережковским (а, следовательно, и «младшими» символистами) не соответствует их настоящему смыслу. Эти произведения «умирают», будучи восприняты односторонние.

В «Кларе Милич» Анненский обнаруживает не только те смысловые пласты, которые «умирают» в процессе дальнейшей литературной эволюции, но и «неумирающие» символы, которые могут быть интерпретированы в «новом» искусстве. Доминантой художественного творчества Тургенева Анненский считает изображение красоты как «непознанного»: «Клара как символ это — трагизм красоты, которая хочет жизни и ждет воплощения <...> И вот еще раз уходит от людей красота, невоплощенная

и нелюбимая» (КО: 42—43). Творчество Тургенева близко эстетическим установкам Анненского не просто потому, что Тургенев считает красоту и искусство наивысшими ценностями реальности,¹¹ но и потому, что, по Анненскому, в миропонимании Тургенева *агностицизм* перевешивает представления об отдельных сферах реальности как целесообразных и разумных (историософские взгляды Тургенева). Сближая Тургенева с «новым» искусством, Анненский, как уже говорилось, считает продолжателями тургеневской традиции сторонников концепции «чистого эстетизма». Так, в статье «Бальмонт-лирик» (1906) речь идет об отражении в поэзии Бальмонта «я» современного поколения. В третьей части статьи Анненский говорит об изменении самосознания современного человека по сравнению с предыдущими поколениями: «Наследственность, атавизм, вырождение, влияние бессознательного, психология толпы, *la bête humaine*, боваризм — все эти научные и художественные обогащения нашего самосознания сделали современное я, может быть, более робким и пассивным, но зато и более чутким и более глубоким, сознание безысходного одиночества и мистический страх перед собою — вот главные тона нашего я» (КО: 101). Далее говорится о том, что «отягощенное грузом познания» «я» современного человека испытывает страх перед жизнью и стремится к слиянию с «не-я» — с миром. Для того, чтобы передать «тончайшие оттенки внутренней жизни «я», нужна, по Анненскому, «музыкальная потенция слова», «беглый язык намеков, недосказов и символов», который Анненский как раз и находит в поэзии Бальмонта.

В «Умиравшем Тургеневе» Анненский называет Аратова «нашим изменившимся я». Аратов как персонаж в истолковании Анненского наделен некоторыми чертами, которые Анненский приписывает коллективному образу современного человека: «Тургенев дал нам образ Аратова в анализированном, я бы сказал даже, препарированном виде: вот черты, которые Аратов унаследовал от отца, вот и другие, полученные от матери <...> А кстати, не потому ли последний герой Тургенева был назван Яковом, что Тургенев особенно любил это имя <...> и гордился своим отдаленным предком — Яковом Тургеневым. Вот, оно, мол, когда еще мы, Тургеневы, были западниками и брили головы славянофилам?» (КО: 42). Внутренний мир Аратова, по Анненскому, объясняется наследственными чертами, кроме того, сопоставление Якова Аратова с от-

даленным предком самого Тургенева, возможно, намекает на вырождение (слабый, пассивный Аратов противопоставляется волевому предку Тургенева). Наконец, определяющей чертой внутреннего облика Аратова Анненский считает его мистическую настроенность и страх перед жизнью: «Он боится слез... боится не как сибарит и не как спартаец, — а как чертежник, из опасения закапать картон» (КО: 39).

Как считает Анненский, Тургенев изображает современного ему самому героя (несмотря на некоторую хронологическую сдвинутость образа), и отчасти предвосхищает психологический настрой человека начала XX века, его потребность в «музыке символов».

Творчество Тургенева в целом Анненский считал «музыкальным», т.е. содержащим множество потенциальных смыслов. В нежелании Тургенева прозревать трансцендентную сущность красоты, его агностицизме, Анненский и усматривает связь Тургенева с «новым» искусством, основу для множественных интерпретаций тургеневских текстов.¹² Вместе с тем, в стремлении Тургенева искать высший смысл красоты только в гармонии Анненский видел мировоззренческую и эстетическую узость. В акцентировании именно этой стороны тургеневского творчества последующим литературным поколением (символисты, ориентирующиеся на «утопический эстетизм») Анненский видит «смерть» произведений Тургенева, их несостоявшийся контакт с читателем.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Ашимбаева Н. Тургенев в критической прозе И. Анненского // Известия Академии Наук Казахской ССР: Сер. филологич. — 1984. — N 1.
- 2 Ашимбаева Н. Указ. соч. — С. 62.
- 3 Там же. — С. 57–59.
- 4 Гинзбург Л. О лирике. — Л., 1974. — С. 315.
- 5 См. об этом: Лотман М., Минц З. Статьи о русской литературе. — Таллинн, 1989. — С. 30.
- 6 Анненский И. Книги отражений. — М., 1979. — С. 447. В дальнейшем ссылки на это издание с указанием в скобках страницы: КО.
- 6а См. об этом: Пономарева Г. Понятие предмета и метода литературной критики в критической прозе И. Анненского //

- А. Блок и основные тенденции развития литературы начала XX века: Блоковский сб. VII / Учен. зап. Тарт. ун-та. — Тарту, 1986. — Вып. 735. — С. 130.
- 7 Анненский И. Стихотворения и трагедии. — Л., 1990. — С. 120. В дальнейшем ссылки на это издание с указанием в скобках страницы.
- 8 См. об этом у Л.Я.Гинзбург: «Для Анненского — мир — источник не только страха, но и красоты; не узкой, эстетной красоты, но понимаемой широко (до неопределенности), включающей творчество, природу, любовь, самое чувство жизни и переходящей в счастье» (Гинзбург Л. О лирике. — С. 317).
- 9 Мережковский Д. Акрополь: Избранные литературно-критические статьи. — М., 1991. — С. 180–181.
- 10 См. об этом, напр.: Подольская И. И. Анненский — критик (КО: 537–638).
- 10а О течениях внутри символизма см.: Минц З. Г. Об эволюции русского символизма: (К постановке вопроса: тезисы) // А. Блок и основные тенденции развития литературы начала XX века: Блоковский сб. VII. — Тарту, 1986. — С. 7–24.
- 11 См. об этом, напр.: Астман М. Тургенев и символизм // Записки русской академической группы в США. — Нью-Йорк, 1983. — Т. 16. — С. 168.
- 12 Р. Тименчик указал на то, что И. Анненский выполнял роль литературного посредника в процессе восприятия творчества Тургенева поэтами-акмеистами. См.: Тименчик Р. Заметки об акмеизме (III) // Russian Literature. — 1981. — N 9. — С. 181.

К ЦЕНЗУРНОЙ ИСТОРИИ РОМАНА Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО «АЛЕКСАНДР I»

ГАЛИНА ПОНОМАРЕВА

В своих исторических романах и пьесах Д. С. Мережковский неоднократно изображал русских самодержцев: Петра I, Павла I, Александра I, Николая I. Образы российских царей были далеки от традиционного представления, на что сразу обратила внимание критика уже при появлении романа «Петр и Алексей» в журнале «Новый путь» в 1904 г. По словам В. Боцяновского, вместо Петра Великого изображен «какой-то самодур-купец, пьяница, деспот, обладающий мелочным «ндравом» и не любящий, чтобы «ндраву» этому препятствовали». ¹ Роман был выпущен в 1905 г. М. В. Пирожковым, бывшим в то время основным издателем З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковского. ² В исследовательской литературе уже отмечалось, что содержащиеся в романе «непочтительные отзывы» о Петре Великом и Екатерине I привлекли внимание С-Петербургского цензурного комитета. ³ Мережковскому пришлось писать специальное заявление в Главное управление по делам печати. ⁴

Историческая драма Мережковского «Павел I» была вначале напечатана в журнале «Русская мысль», а затем издана в 1908 г. Пирожковым. Книга сразу же была конфискована. ⁵ Пьеса была запрещена в России, но и в Европе ее судьба сложилась неблагоприятно. ⁶ Позднее против Мережковского за эту книгу было начато судебное преследование.

Сложная судьба была и у романа «Александр I». Как вспоминает З. Н. Гиппиус, роман был закончен к осени 1911 года, но не переписан. ⁷ Весной 1912 г. Мережковские возвращались в Петербург. «25 марта, в день Благовещения и первый день Пасхи, были на границе, в Вержболове. Уже был подан петербургский поезд, когда к нам подошел жандармский полковник и объявил, что по телеграмме из

Петербургу велено «изъять» у нас все бумаги и рукописи, какие будут найдены. У меня ничего не было, но у Д. С. весь текст его романа «Александр I». К счастью, жандарм оказался не то добродушным, не то небрежным и взял только часть рукописи. И даже задержал петербургский поезд, чтобы мы могли продолжать путь».⁸ В московской газете «Русское слово», где с 10 апреля 1911 г. печатались отрывки из «Александра I», была помещена заметка «Арест Александра I», в которой с возмущением рассказывалось о конфискации романа, заканчивающаяся риторическим вопросом: «По какому легендарному закону писатель не может привезти в Россию своей работы, находящейся в рукописном виде?»⁹

Роман «Александр I» начал печататься в журнале «Русская мысль» с мая 1911 г. В связи с конфискацией части романа Мережковский напечатал в «Русской мысли» письмо ее редактору П. Б. Струве с просьбой довести до сведения читателей, что по не зависящим от него обстоятельствам он «лишен возможности доставить раньше осени (сентябрь — октябрь) продолжение романа «Александр I».¹⁰ Об аресте романа в письме ничего не говорилось, но большинство читателей знали о нем из газет.

Цензурная история «Александра I» уже рассматривалась в статье В. Е. Евгеньева - Максимова «"Александр I" Мережковского и Департамент полиции».¹¹ Исследователь подробно прослеживает историю разногласий между департаментом полиции и цензурным ведомством. Поскольку эта работа напечатана в 1922 г. и в малодоступной газете «Жизнь искусства», то позволю себе привести эту историю вкратце. Инициатором вопроса о «предосудительности» романа выступил Департамент полиции. Его директор обратился 28 января 1912 г. с письмом к начальнику Главного управления по делам печати А. В. Бельгарду, в котором обращал внимание на роман Мережковского, печатающийся в журнале «Русская мысль». С точки зрения директора департамента, в романе в отрицательном виде выводится личность императора Александра I. Особое внимание обращалось на декабрьскую книжку романа, где напечатаны главы, посвященные военным поселениям. В письме выражалось опасение, что взгляды на войну 1812 г. (в частности, убеждение Мережковского в том, что «в борьбе Александра I с Наполеоном не было абсолютно ничего героического, достойного славы и благодарной памяти потомства») влияют, поскольку роман очень попу-

лярен, на охлаждение в среде общества интереса к предстоящим военным торжествам в память Отечественной войны. Департамент полиции также обращал внимание на «неосторожные выражения» Мережковского. Главное управление ограничилось тем, что предписало московскому управлению по делам печати дать соответствующие разъяснения. Их дал наблюдающий за беллетристической частью «Русской мысли» статский советник Генц. Цензор доказывал, что, по Мережковскому, Александр I разделил ошибку многих современников, убежденных в полезности военных поселений (Карамзин, Сперанский). Генц указывал, что «неосторожные выражения» не дают повода для судебного преследования автора. В изображении Александра I нет ничего одиозного. В своем романе Мережковский не касается Отечественной войны, поэтому повлиять на охлаждение в среде общества к юбилейным торжествам произведение Мережковского не может. Поскольку мнение рядового цензора для департамента полиции мало значило, то 17 марта 1912 г. Главное управление по делам печати «предписывает члену своего совета Э. Берендтсу представить особый доклад по данному вопросу».¹²

Евгеньев-Максимов, публикуя этот доклад, дал такую характеристику его автору: «Берендтс, чиновник, не лишенный ни исторических сведений, ни литературной начитанности, к тому же обладавший, надо думать, редким в бюрократических сферах качеством — некоторой независимостью суждений, дал в своем докладе уничтожающую критику мнений департамента полиции».¹³

После революции, в августе 1918 г., Э. Н. Берендтс попал в Эстонию, где с октября 1919 г. до августа 1930 г. был профессором Тартуского университета.¹⁴ Берендтс активно сотрудничал в местных эстонских, русских, немецких газетах. 13 августа 1923 г. на страницах таллиннской газеты «Последние известия» были опубликованы его воспоминания «Из минувшего времени (Воспоминания о главном управлении по делам печати)».

Несколько слов о самом Берендтсе. В 4-м выпуске «Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi» («Вопросов истории Тартуского университета») была опубликована статья Л. Лесмента о Берендтсе как самом разностороннем из тартуских профессоров-юристов.¹⁵ Кроме того, Лесмент, юрист по образованию, слушал в первой половине 1920-х гг. пользовавшиеся большой популярностью среди студентов

его лекции по политэкономии, и в своих воспоминаниях он упоминает о Берендтсе-преподавателе.¹⁶

Из университетского дела Берендтса, хранящегося в Эстонском историческом архиве, а также из статьи Лесмента мы узнаем, что он долгие годы был профессором, а затем директором Демидовского Юридического Лицея в Ярославле. Четыре года проработал профессором Петербургского университета. С 1907 по 1918 гг. преподавал в Училище Правоведения в Петербурге. С 1908 по 1914 гг. Берендтс был членом совета Главного управления по делам печати.

В воспоминаниях Берендтса о Главном управлении по делам печати много неточностей. Видимо, это объясняется несколькими причинами. Подавляющее большинство преподавателей, живших до революции в России, во время гражданской войны не смогли вывезти свои библиотеки и архивы. В момент написания мемуаров Берендтсу было 63 года, а со времени его службы в Главном управлении прошло 9 лет. Естественно, что он мог что-то позабыть. Третья причина — дипломатическая. В начале 1920-х гг. в Тартуском университете работало много преподавателей из Финляндии. Они хорошо помнили, что в царское время Берендтс был крупным чиновником по финским делам, читал финское право, был автором нескольких книг по административному праву и финансам Финляндии. Так, известный финский лингвист Л. Кеттунен вспоминает профессора финского права Э. Берендтса, «который у нас был в свое время известен как сторонник политики русификации в Финляндии, здесь же пытался доказать нам, финнам, свои особые заслуги в качестве защитника прав Финляндии».¹⁷ Эта же тенденция сохраняется в воспоминаниях Берендтса, где он все время подает себя как умного либерального чиновника.

Деятельность Главного управления по делам печати Берендтс изображает так: «По словам закона, наш совет занимал высокое положение. Его председателем был начальник главного управления по делам печати на правах товарища министра, но он никогда не председательствовал, ибо совет никогда не собирался. Все члены совета, кроме меня, были маститые старцы, которые почивали на лаврах прежних заслуг. Некоторых из них я так и не узнал за все шесть лет, и единственным членом, дававшим заключения и решавшим дела, был ваш покорный слуга».¹⁸

Начальниками Главного управления по делам печати во время службы в нем Берендтса (1908 — 1914) были вначале А. В. Бельгард (1905 — 1912), а затем С. С. Татищев (1912 — 1915). О своей деятельности в совете Берендтс пишет как о деятельности крупного сановника с либеральными взглядами (он был кадетом), рыцарски защищающего печать от грубых полицейских чиновников. «Часто, очень часто приходилось защищать книги, журналы и газеты от административных налетов и попыток их упразднения».¹⁹ Причем, если верить мемуаристу, это заступничество всегда оказывалось успешным, и он выходил победителем из схваток с полицией.

Один из примеров, которые приводит Берендтс, — «успешная» защита журнала «Былое». Журнал привлек особое внимание жандармов, когда в нем наряду с историческими материалами «стали появляться извлечения из особо секретных изданий Департамента — обзоров жандармских дознаний, секретных циркуляров, секретных документов и записок, из которых некоторые относились к новейшим событиям».²⁰ Берендтс вспоминал: «Департамент полиции терпеть не мог журнала «Былое». Я же полагаю, что это очень неглупый журнал, ибо он с наивной откровенностью рассказывал про все приемы революционной агитации. Его нужно было читать и изучать. Высшее начальство несколько изумилось такому отзыву, но — подумав, — согласилось, и при Столыпине (по крайней мере) журнал продолжал существовать».²¹ П. А. Столыпин был убит в 1911 г. Последний же номер «Былого» вышел в конце 1907 г. По свидетельству автора анонимной статьи «Из истории "Былого"», журнал преследовал не только Департамент полиции, но и цензор Петербургского комитета по делам печати А. М. Андрияшев, который делал доклады по отдельным книжкам «Былого» за 1906 — 1907 гг. Комитет принимал постановления об аресте отдельных номеров журнала, а суд утверждал их.²²

«Александра I» Мережковского, как свидетельствует публикация Евгеньева-Максимова, Берендтс действительно защищал. Правда, в описании этой истории сохраняются характерные черты мемуариста: неточности, обязательный счастливый конец.

«Три раза мне пришлось защищать роман Мережковского «Александр I». Его преследовал департамент полиции».²³ Берендтс не помнит точно истории конфи-

скации рукописи романа Мережковского и излагает ее весьма произвольно. По его словам, инцидент произошел приблизительно в 1910 г., рукопись была возвращена автору и позднее «Александр I» был напечатан. «Мережковский написал первую часть романа за границей и возвращался в Россию через станцию Александрово.²⁴ Багаж был осмотрен и гг. жандармы купно с мытарями нашли рукопись и отняли ее у автора. Мережковский пожаловался, и пришлось департаменту полиции объяснить, что она не обложена пошлиной. Рукопись Мережковскому была возвращена²⁵ и в 1911 г. (если не ошибаюсь) появился в печати известный роман».²⁶ Берендтс вспоминает, как ему пришлось давать очень сердитый ответ на письмо вице-директора департамента полиции Белецкого.²⁷ Мемуарист иронически отмечает, что департамент полиции «не отличался тонкостью литературной критики».²⁸ Доклад же самого Берендтса, по мнению Евгеньева-Максимова, «представляет собой известную ценность, как литературно написанный отзыв о романе Мережковского».²⁹ Цензор Мережковского был, с одной стороны, высокообразованным юристом, читавшим лекции о полицейском праве,³⁰ а, с другой стороны, человеком, хорошо владевшим не только устным, но и письменным словом. Он писал статьи в газеты: «Народ», «Россия», «Новое время», а в 1906 г. даже издал сборник публицистических статей «Кое-что о современных вопросах». Берендтс вспоминает свой гневный ответ на заявление департамента полиции, «что появление такой книги накануне 1912 года только омрачит предстоящие торжества <... > Я выразил удивление, что департамент полиции столь мало знаком с русской литературой, что, очевидно, не помнит, что имеется один бессмертный труд, где проводится та же мысль, что ни Кутузов, ни Барклай, а лишь сила и условия привели к гибели Наполеона; что Александр I, как (генеалогически) прадед Николая II, не пользуется защитой статьи уголовного положения 1903 г., запрещающей хулить бывших императоров, точно так же, как и императрица Мария Федоровна, что декабристы отнюдь не прославляются, что, напротив, Пестель рисуется как декабрист-деспот, Каховский — не то негодяем, не то полупомешанным, что все остальные — и Рылеев, и Якубович, и Муравьев отнюдь не идеализированы и т.д.»³¹ Евгеньев-Максимов публикует отрывки из доклада Берендтса. Царский сановник, как и рядовой московский цензор Генц, не видит в изображении Алек-

сандра I ничего предосудительного. Более того, он настаивает, что именно в декабрьской книжке «Русской мысли», на которую обратил внимание департамент полиции, «напечатана та глава, где личность Александра I выступает в весьма симпатичных очертаниях. Описывается наводнение 1824 года, отчаяние монарха в виду бедствия, его попытки лично помочь населению спасти утопающих».³² Берендтс в своем докладе не избегает острых углов, напротив, он обращает внимание на рассуждения декабристов о цареубийстве, но при этом отмечает, что в романе декабристы изображены с непривлекательной стороны, а сцены с декабристами написаны на основании общедоступных мемуаров.³³ В своем докладе Берендтс делает ловкий ход: переводит внимание полицейских чиновников на отрицательное освещение второстепенных персонажей: архимандрита Фотия, кн. А. М. Голицына, митрополита Серафима. Да, соглашается Берендтс, в романе эти личности изображены малосимпатичными, но и здесь нет состава преступления. По словам Евгеньева-Максимова, «доклад Берендтса похоронил вопрос о репрессиях против романа Мережковского».³⁴

Но я не могу согласиться с выводами, сделанными Евгеньевым-Максимовым. «История этого вопроса весьма любопытна еще и в том отношении, что рисует нечто вроде конфликта между департаментом полиции и цензурным ведомством. Обычно такие конфликты не имели места, ибо цензурное ведомство за очень редкими исключениями шло в поводу у департамента полиции».³⁵ Начало 1910-х гг. — время, когда обострились отношения между департаментом полиции и цензурным ведомством. В марте 1912 г., т.е. в то самое время, когда был написан доклад Берендтса, был вынужден уйти со своего поста начальник Главного управления по делам печати А. В. Бельгард. Хорошо осведомленная газета «Русское слово» в заметке «Уход А. В. Бельгарда» сообщала: «Как говорят, одной из причин ухода А. В. Бельгарда является несочувствие его некоторым мероприятиям, принимавшимся в последнее время по отношению к печати. Г. Бельгарду приходилось также неоднократно отстаивать независимость своего ведомства от покушений департамента полиции».³⁶

Скандал, разыгравшийся вокруг романа Мережковского, подогрел интерес читателей к книге. Первое издание «Александра I» было выпущено в издательстве т-ва М. О. Вольф и т-ва И. Д. Сытина, по-видимому, в февра-

ле 1913 г.³⁷ В марте 1913 г. журнал «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф» сообщал: «Спрос на новый роман Мережковского «Александр I» превзошел все ожидания. Еще до выхода романа в свет отдельную книгою, по первым газетным объявлениям, в книжные магазины Т-ва М. О. Вольф стали поступать требования на это издание в небывалых количествах со всех уголков России, от книгопродавцев и от частных лиц. Очень много требований поступает по телеграфу. Появившийся пока, впрочем, совершенно необоснованный слух, что издание по распродаже, по цензурным условиям, не будет повторено, еще более увеличил спрос и заставил торопиться приобретением товара».³⁸ Второе издание «Александра I» было выпущено в марте или в начале апреля 1913 г.³⁹ Уже упоминавшийся мной журнал «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф» информировал об ажиотаже вокруг романа: «Газеты отметили редкий факт в истории русского книжного дела: спустя одну неделю после выхода в свет нового романа Д. С. Мережковского «Александр I» ни в одном книжном магазине не осталось экземпляров этой книги. Пришлось ускоренно печатать второе издание, и притом в более значительном количестве экземпляров, но, судя по его сбыту, есть основание полагать, что и оно скоро выйдет из продажи».⁴⁰ В мае 1913 г. было выпущено третье издание «Александра I».⁴¹

М. Ю. Коренева справедливо указывает, что «несмотря на разность исходных позиций, критики и литераторы выделяли некие общие черты, из которых складывался образ Мережковского в сознании современников. К таким общим местам в оценке творчества Мережковского можно отнести признание его статуса «европейской знаменитости»».⁴² Как и более ранние романы Мережковского, «Александр I» пользовался большим спросом не только в России, но и за границей. Журнал «Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф» в марте 1913 г. сообщал: «Новый роман Мережковского «Александр I», вышедший по-немецки в двух различных переводах, уже вызвал на страницах немецкой печати ряд отзывов преимущественно полных восторга».⁴³

Опасения критика В. Боцяновского, узнавшего о переводе «Петра и Алексея» на французский язык: «В каком виде покажет г. Мережковский Европе нашего преобразователя-императора, которого все мы привыкли

не только называть, но и считать великим»⁴⁴ долгие годы разделяли и жандармы. Берендтс упоминает, что в связи с выходом немецкого перевода «Александра I» «департамент полиции вновь начал жаловаться, и вновь пришлось читать ему нотации».⁴⁵ У полицейских чиновников же были свои серьезные основания для беспокойства: в 1913 г. в России отмечался другой юбилей — 300-летие основания династии Романовых.⁴⁶

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Боцяновский В. Критические наброски // Русь. — 1904. — 2 (15) апр. — N 109.
- 2 По подсчетам М. Д. Эльзона, «с марта 1903 по июнь 1908 г. Пирожков выпустил 22 названия их книг» (Эльзон М. Д. Издательство М. Д. Пирожкова // Книга. — М., 1987. — Сб. 4. — С. 162).
- 3 См.: Цехнов и цер О. В. Символизм и царская цензура // Ученые записки ЛГУ. — Л., 1941. — N 11 — С. 316–317.
- 4 Указ. соч. — С. 316–317.
- 5 Журнал «Книжный вестник» информировал: «Спб. градоначальником предписано принять все меры к аресту книги Д. С. Мережковского «Павел I». 3 мая чинами полиции конфискованная книга отбиралась в книжных магазинах и складах. Задержано несколько лиц, торговавших ее в разнос» (Книжный вестник. — 1908. — 17 мая. — N 20. — С. 146).
- 6 По сообщению М. А. Лятского, «предполагавшаяся постановка ее в немецком переводе на одной из берлинских сцен не была допущена, как полагают, вследствие вмешательства русского посольства» (Лятский М. А. Дмитрий Сергеевич Мережковский // Мережковский Д. С. Полн. собр. соч.: В 15 т. — СПб.; М., 1912. — Т. 15. — С. X).
- 7 См.: Мережковский Д. С. 14 декабря. Гиппиус-Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. — М., 1991. — С. 438.
- 8 Там же. — С. 439.
- 9 Арест «Александра I» // Русское слово. — 1912. — 30 марта. — N 74.
- 10 Мережковский Д. С. Письмо в редакцию // Русская мысль. — 1912. — N 5. — 2 паг. — С. 135.
- 11 Евгенийев-Максимов В. «Александр I» Мережковского и Департамент полиции // Жизнь искусства. — 1922. — N 13 (836). — С. 5.

- 12 Там же.
- 13 Там же.
- 14 См.: ЕАА (Эстонский исторический архив). — Ф. 2100. Оп. 2. Ед. хр. 59.
- 15 Leesment L. Kõige mitmekülgemast Tartu juura professorist // Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi. — Tartu, 1977. — N 4. — Lk. 97–103.
- 16 Leesment L. Tartus, Viinis ja Pariisis // Mälestusi Tartu Ülikoolist. 1900–1944. — Tln., 1992. — Lk. 275.
- 17 Kettunen L. Tartust ja sealsest ülikoolist // Mälestusi Tartu ülikoolist. 1900–1944. — Tln., 1992. — Lk. 246.
- 18 Берендтс Э. Из минувшего времени (Воспоминания о главном управлении по делам печати) // Последние известия. — Ревель, 1923. — 13 авг. — N 193 (959).
- 19 Там же.
- 20 Из истории «Былого» // Былое. — 1917. — N 1 (23). — С. 9–10.
- 21 Берендтс. Указ. соч.
- 22 Из истории «Былого» // Былое. — 1917. — N 1 (23). — С. 5–22.
- 23 Берендтс. Указ. соч.
- 24 Во всех других источниках фигурирует станция Вержболово.
- 25 Часть рукописи романа не была возвращена Мережковскому.
- 26 Берендтс. Указ. соч.
- 27 У Евгеньева-Максимова речь идет о директоре департамента.
- 28 Берендтс. Указ. соч.
- 29 Евгеньев-Максимов. Указ. соч.
- 30 См.: ЕАА. — Ф. 2100. Оп. 2. Ед. хр. 59.
- 31 Берендтс. — Указ. соч.
- 32 Евгеньев-Максимов. — Указ. соч.
- 33 Там же.
- 34 Там же.
- 35 Там же.
- 36 Уход А. В. Бельгарда // Русское слово. — 1912. — 9 марта — N 57.
- 37 В «Книжных новостях» журнала «Русская мысль» оно значится в списке книг, вышедших до 4 марта 1913 г. См.: Русская мысль. — 1913. — N 4. — 2 паг. — С. 149.
- 38 Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. — 1913. — N 3. — Б/с.
- 39 См.: Книжные новости // Русская мысль. — 1913. — N 5. — 2 паг. — С. 190.

- 40 Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. — 1913. — N 4. — Б/с.
- 41 См.: Книжные новости // Русская мысль. — 1913. — N 7. — 2 паг. — С. 289.
- 42 Коренева М. Ю. Д. С. Мережковский и немецкая культура (Ницше и Гете. Притяжение и отталкивание) // На рубеже XIX и XX веков. — Л., 1991. — С. 46.
- 43 Известия книжных магазинов Т-ва М. О. Вольф по литературе, наукам и библиографии. — 1913. — N 3. — Стб. 51.
- 44 Боцяновский И. Указ. соч.
- 45 Берендтс. Указ. соч.
- 46 Казалось бы, история с арестом рукописи и защитой ее Главным управлением по делам печати закончилась, но в том же 1912 г., когда была арестована рукопись, возникла необычная ситуация, при которой «Александр I» выступил в роли защитника «Павла I». Еще в 1911 г. против Мережковского было возбуждено уголовное дело за его пьесу «Павел I», в которой суд усматривал признаки 128 ст. угол. улож., т.е. дерзостное неуважение к верховной власти. З. Гиппиус в своих воспоминаниях о Мережковском пишет, что ему грозил как «минимум наказания — год крепости» (Мережковский Д. С. 14 декабря. Гиппиус - Мережковская З. Н. Дмитрий Мережковский. — М., 1991. — С. 440). В журнале «Книжный вестник» описывалось, как проходил суд в сентябре 1912 г.: «Пока дело находилось в производстве, успело выйти известное сочинение великого князя Николая Михайловича и теперь суд над Мережковским, происходивший сегодня в судебной палате, получил иное значение. Защитник его, прис. пов. М. Л. Гольдштейн, ходатайствовал о приобретении к делу этого сочинения великого князя, по содержанию своему весьма совпадающего с книгой Мережковского. Против этого возражал прокурор. Но палата согласилась с защитником и приобрела к делу книгу великого князя. Тогда прокурор ходатайствовал о закрытии дверей заседания, но в этом ему было отказано и дело заслушано при открытых дверях. Вместе с Мережковским обвинялся и издатель книги М. В. Пирожков. Палата оправдала обоих подсудимых и постановила снять арест с так долго бывшей под запрещением книги Мережковского "Павел I"» (Книгоиздательство. Хроника // Книжный вестник. — 1912. — 30 сент. и 7 окт. — N 39–40. — С. 672). Известное сочинение — это историческое исследование великого князя Николая Михайловича «Император Александр I» в двух томах, вышедшее в 1912 г. в С-Петербурге. И. Игнатович в рецензии на труд великого князя относит его «Александра I» к аристократическим книгам: прекрасно оформленным, изданным малым тиражом, для которых «существует одна свобода печати, а для книг-

«демократок» — другая, значительно» (Игнатович И. Новый труд об «Александре I» // Северные записки. — 1913. — N 1. — С. 175). Но книга великого князя, пользующаяся неограниченной свободой печати, как и его имя, в какой-то мере помогала книгам, подвергшимся судебным преследованиям. По словам Игнатовича, «несомненно, характеристика Александра I, сделанная одним из его потомков, имеет, помимо исторического, и общественное значение, давая опорный пункт при суждении об этом императоре. Как известно, еще в недавнее время защите в процессах г. Мережковского и В. Г. Короленко пришлось опираться на авторитет автора указанной книги в доказательство допустимости отрицательной характеристики Александра I» (Указ. соч. — С. 176 — 177).

О СИМВОЛИЧЕСКОМ ПОДТЕКСТЕ
ДАТЫ НАПИСАНИЯ
«СЛОВА О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ»
А. М. РЕМИЗОВА

СЕРГЕЙ ДОЦЕНКО

Но если он получил Дух святой, он
имеет в качестве дара имя.

(Ев. от Филиппа, 59).

Точная датировка собственных произведений (вплоть до указания не только года, но и дня месяца) — характерная черта творчества Ремизова 1917—1921 гг., тем более приметная на фоне не столь точной датировки произведений более раннего периода. Объясняется это осознанием себя летописцем событий революции и гражданской войны: наиболее адекватным жанром для Ремизова становится «летописная повесть», «временник» — так он определил жанровую природу своей автобиографической книги «Взвихренная Русь».

«Слово о гибели русской земли», первоначально печатавшееся как самостоятельное произведение, также имело точную дату написания, обозначенную автором: 5.X.1917 г. После включения «Слова» в состав книги «Взвихренная Русь» и дата, и заглавие были опущены. На первый взгляд, дата самая обыкновенная, ничем не примечательная, просто фиксирующая день работы над рукописью «Слова». К такому выводу приходит, хотя и с некоторой осторожностью, А. М. Грачева во вступительной заметке к публикации дневника А. Ремизова за 1917—1921 гг.¹ Не исключая такого вполне тривиального статуса даты 5.X.1917 г., рискнем предположить, что у нее есть определенный символический подтекст.

Предварительно заметим, что в сознании Ремизова можно обнаружить особую отмеченность некоторых дат и событий, с ними связанных, которым писатель придавал

символический смысл. К таковым относится дата рождения Ремизова (24 июня, в Купальскую ночь), дата первой публикации — начала литературной карьеры (8.IX.1902 г.), дата смерти А. Блока (7.VIII.1921 г.), ассоциировавшаяся для Ремизова с началом эмиграции (в этот день Ремизовы пересекли границу России и Эстонии), и ряд других. Обычно эти даты обозначают ключевые, поворотные события в его жизни. Дата 5 октября также отмечена в сознании Ремизова, ибо это — день его именин. По словам самого Ремизова, назван он был Алексеем в память московского митрополита Алексия, праздновавшегося 5 октября вместе с другими московскими святителями Петром, Филиппом и Ионой: «Алексей Михайлович родился в Москве 24 июня 1877 года и получил имя московского митрополита Алексея. Петр, Алексей, Иона и Филипп — живые кремлевские камни, московские чудотворцы, основатели Московского государства».² День памяти своего тезки Ремизов не забывал — в письме Л. Шестову от 25.X.1922 г. он шутивно обыгрывает сдвиг в церковном календаре, происшедший в связи с переходом на новый стиль: «Посмотрел в Святцы, а именины мои по новому стилю на ЛУКУ Евангелиста, стало быть, хочешь не хочешь, а Лукой сделался».³ А в дневнике от 18.X.1956 г. (5.X по старому стилю) записывает: «Сегодня московский праздник Петра, Алексея, Ионы, Филиппа. Мои «не именины», или, как говорили, не считаются. Я попал в именинную середку».⁴

В годы революции и гражданской войны имена московских святых становятся для Ремизова символами святости, народной веры, русской истории, — для него они «неугасимые огни», которые должны вывести погибающую Россию из тьмы «пропада». Таков смысл главы «Неугасимые огни», заключающей книгу «Взвихренная Русь». Поминая знаменитых московских святых и знаменитые московские святыни, Ремизов именно в них видит последнюю надежду на спасение России. Особенно явно мысль эта выражена в «Заповедном слове русскому народу» (1918): «О, святые чудотворцы угодники, великие русские святители, заступники за землю русскую —

Сергие Радонежский!

Петр, Алексей, Иона и Филипп!

Василий блаженный, Прокопий праведный, Нил подобный Сорский!

Савватий и Зосима соловецкие!

— в зеленые пустыни ушли вы, молясь за весь мир, за грешную Русь, вы хранили ее, грешную, и в беде и под игом и в смуту, вы святили ей, убогой, сквозь темь звездами!»⁵

В «Слове о погибели русской земли» русские святые не названы по имени, но именно о них идет речь в риторическом вопросе: «Или в мать-пустыню, покорясь судьбе, ушли твои верные сыны?»⁶ Список святых у Ремизова — сугубо «московский», но не столько в географическом смысле, сколько в культурно-историческом: это святые эпохи Московской Руси, сыгравшие важную роль в политической, церковной, духовной истории Московского государства XIV - XVI вв. Нет в этом списке русских святых, чтимых в домосковский период (Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, Александра Невского и др.), нет и столь почитавшихся на Руси св. Георгия и св. Николая.⁷ Зато поминаются «Христа ради» юродивые, о которых Ремизов скажет: «Это наше — русское — эти выродки человеческого рода — юродивые <...> с такими не запустеет земля и Москва стоит <...>».⁸

Описывая гибель русской земли, оплакивая «краснозвонную, отошедшую в вечность» Россию, Ремизов пытается найти причину того, почему в «сердцевине подточилась Русь» (С. 13). Главная причина, с его точки зрения, — в утрате исторической памяти, в забвении народной веры. В дневнике от 4.III.1917 г. он записывает: «Вся ночь прошла в думе о судьбе России. Атеистично-безбожно».⁹ А в «Слове» эта же мысль изложена более пространно: «Человекоборцы безбожные, на земле мечтающие создать рай земной, <...> вожди народные, только счастья ему желавшие, вы, делая дело свое, сея вражду, вы по кусочкам вырывали веру, не заметили, что с верою гибла сама русская жизнь» (С. 12—13). Залогом будущего воскресения России Ремизову видится п а м я т ь о тех русских святых, кои были ее хранителями и спасителями в эпохи исторических потрясений и катастроф. Не случайно в книге «Взвихренная Русь» темы и образы «Слова» мотивированы посещением Ремизовым московских святых и исторических реликвий — Кремля как средоточия исторической и культурной памяти. Судя по дневниковым

записям, Ремизов посетил Москву 15–31.VII.1917 г. В записи от 21–22.VII.1917 г. кратко сообщается: «Был на все-нощной в Успенском соборе <...>». ¹⁰ Во «Взвихренной Руси» (гл. «Москва») это событие описывается более подробно и приобретает символический смысл хождения ко святым местам: «Всенощная кончилась — темными стаями расходился народ. Только в Архангельском соборе горели огни — неугасимые лампы. А там на Иване Великом огромный колокол глазатый пустыми окнами. А там — звезды, как осенние. И вдруг я понял, что все это — прошло — эта Россия...». ¹¹ После этих слов следует «Слово о погибели русской земли». В таком контексте отчетливо проявляется и ритуальная функция «Слова» как поминальной молитвы: «отошедшую в вечность» (т.е. «усопшую») Русь необходимо отпеть (ср. в финале «Слова» мотив «прощального, поминального пирога», «который когда-то испекла покойница Русь» — С. 24). Знаменательно и то, что заключительным словом в «Слове о погибели русской земли» оказывается именно слово «память» как часть литургической формулы («В-е-е-е-ч-н-а-я п-а-а-м-я-т-ь»).

Забвение равносильно смерти, а сохранение памяти есть воскресение, «новая жизнь». ¹² Одним из знаков памяти становится сама дата написания «Слова» — 5 октября, день памяти особо чтимых святых, московских чудотворцев, в числе которых — митрополит Алексей, соименник Алексея Ремизова, его ангел-хранитель.

Таким образом Ремизов актуализирует свое духовное родство с образами русской истории, русской культуры, русского государства. В этой связи особенно значимым становится постоянный мотив ремизовской автобиографической прозы 20-х–40-х годов — мотив московского происхождения Ремизова, биографической связи с Москвой и ее символическими топосами (Кремлем, Замоскворечьем, церквями и монастырями), в которых запечатлелась память об историческом прошлом.

«Родился я в сердце Москвы, в Замоскворечье у Каменного «Каинова» моста, и первое, что я увидел, лунные кремлевские башни, а красный звон Ивановской колокольни — первый оклик, на который я вострепнулся». ¹³ «Я счастлив, что родился русским на просторной <...> русской земле Льва Толстого и Достоевского, в ее сердце — Москве с освященным в веках Кремлем, «красным звоном», напевной московской речью <...>». ¹⁴ «Моск-

ва моя колыбель. Москва — училище, университет. И от заставы до заставы, нет улицы нехоженной. Москва — театры, кладбище, Кремль, Успенский собор».¹⁵ «Природы каменной, колыбель моя — кремлевские стены, вся Москва <...>».¹⁶ В «Слове» мы также находим этот мотив: «<...> я русский, сын русского, **я из самых недр твоих**» (С. 16).

Посещение Кремля — всенощной в Успенском соборе — 20.VII.1917 г. в Ильин день для Ремизова не только посещение московских святынь, но и возвращение в собственное детство. Иными словами, актуализация одновременно памяти и национально-исторической, и автобиографической: «И хоть я не раз видел всякие святыни, опять посмотрел и все потрогал».¹⁷ О единстве своей судьбы и исторической судьбы России Ремизов пишет в дневнике (запись от 3.IX.1917 г.): «Теперь стало ясно: Россия погибнет. Она должна искупить грехи свои. И я готов принять эту кару со всем народом русским».¹⁸ Эта же тема относится к числу главных в «Слове»: «Но теперь — нет, я не оставляю тебя и в грехе твоём, и в беде твоей <...> Как же мне покинуть тебя? <...> Ты и поверженная, искупающая грех свой, навсегда со мной останешься в моем сердце. <...> Сотрут имя твое, сгинешь, и стояла ты или не было, кто вспомнит? Я душу сохраню мою русскую с верой в правду твою страдную, сокрою в сердце своем, **сокрою память о тебе <...>**» (С. 15–17). Поэтому дата 5 октября, имеющая прежде всего смысл автобиографический, сугубо личный, для Ремизова в то же время приобретает статус даты исторической, знаменующей единство прошлого и настоящего, личной судьбы писателя и исторической судьбы России.

5. X/18.X.1994 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Ремизов А. Дневник 1917–1921 / Подгот. текста А. М. Грачевой, Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее: Историч. альм. — М.; СПб., 1994. — Вып. 16. — С. 410.
- 2 К о д р я н с к а я Н. Алексей Ремизов. — Париж, <1959>. — С. 65.
- 3 Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Русская литература. — 1993. — N 1. — С. 179.

- 4 К о д р я н с к а я Н. Алексей Ремизов. — С. 295. Правда, в автобиографии 1923 г. свое имя Ремизов соотносит с образом другого святого — Алексея человека Божьего (день памяти — 17 марта по ст. стилю) — для объяснения своей «страннической» судьбы (см.: Алексей Ремизов о себе // Россия. — М.; Пг., 1923. — N 6. — С. 26).
- 5 Р е м и з о в А. Заповедное слово русскому народу // Раннее утро. — 1918. — 16 апр. — N 65 (см. также др. публ.: Воля народа. — 1918. — N 1. — С. 17–19; Почта вечерняя. — 1918. — 17 мая. — N 14. — С. 3).
- 6 Р е м и з о в А. Огненная Россия. — Ревель: Библиофил, 1921. — С. 11. В дальнейшем ссылки на «Слово» даются по этому изданию в тексте статьи (с указанием страницы).
- 7 О почитании на Руси св. Николая «как русского народного бога», «чудотворца и заступника за русскую землю» Ремизов прекрасно знал, т.к. еще до революции создал цикл легенд о нем (см.: Р е м и з о в А. Николины притчи. — Пг., 1917). Отсутствие св. Николая (как и св. Георгия, покровителя Москвы) в «Заповедном слове» связано, по-видимому, с тем, что они не исконно русские святые, а заимствованные в эпоху византийского влияния.
- 8 Р е м и з о в А. Иверень: Загогулины моей памяти. — Berkeley, 1986. — С. 221. К образам московских святителей как символу крепости России Ремизов обращается и позднее: «Москва крепка чудотворцами: на четырех столпах стоит Московский кремль — Петр-Алексей-Иона и Филипп» (Р е м и з о в А. Иверень. — С. 221); «И особенно трепетно такие близкие, родные Москве — Петр, Алексей, Иона и Филипп (их мощи покоятся в Кремле) <...>» (Р е м и з о в А. Подстриженными глазами: Книга узлов и закрут памяти. — Париж, 1951. — С. 279); «В левом приделе, — так вдруг блеснуло мне, — в уголку у окна лежит Петр, митрополит, там и есть сердце России; и всегда огонек; разве есть в мире такая сила, чтобы погасить этот огонь?» (Р е м и з о в А. Пляшущий демон <1949> // Р е м и з о в А. Огонь вещей. — М., 1989. — С. 281).
- 9 Р е м и з о в А. Дневник 1917–1921. — С. 421.
- 10 Там же. — С. 456.
- 11 Р е м и з о в А. Взвихренная Русь. — М., 1991. — С. 318.
- 12 О значении темы памяти во «Взвихренной Руси» см.: S i n a n y - M a c L e o d Н. Структурная композиция «Взвихренной Руси» // Aleksej Remizov: Approaches to a Protean Writer. — Columbus (Ohio), 1987. — P. 239, 241; Б е з р о д н ы й М. Об источниках книги Ремизова «Электрон» // Новое литературное обозрение. — 1993. — N 4. — С. 154–156.
- 13 Р е м и з о в А. Подстриженными глазами. — С. 6.

- 14 Там же. — С. 27.
- 15 Ремизов А. Иверень. — С. 224.
- 16 Ремизов А. Встречи: Петербургский буерак. — С. 87—88.
- 17 Ремизов А. Взвихренная Русь. — С. 317. Тема единства исторической и автобиографической памяти затем эксплицируется в финале «Взвихренной Руси» (гл. «Неугасимые огни»): «Живо встает старая память — ночные успенские крестные хода. <...> Веки у меня тяжелые — вся вторая неделя Госпожинок крестный ход, ночь не спишь; глаза вспугнуты — августовский утренник, колотит дрожь <...> А бывало, когда сил уж нет выстоять до конца службу или просто не хочется, станешь в вереницу, обойдешь мощи, приложишься к Влахернской «теплой ручке» (а и вправду, теплая, как живая!), выйдешь на соборную площадь <...> и пойдешь по соборам» (Ремизов А. Взвихренная Русь. — С. 530—531). Очевидно, что Ремизов на достопримечательности кремлевских церквей смотрит не глазами взрослого человека, а глазами ребенка — себя в детстве.
- 18 Ремизов А. Дневник 1917—1921. — С. 461.

СЛОВО И ТЕКСТ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА

ТОМАШ ГЛАНЦ

“Конечно, это не литература, — иногда меньше, но иногда это и больше литературы: есть в нем вспышки писаний апостолических!”

А. М. Эфрос

Литературное или, скорее, «текстуальное» наследство Казимира Малевича вызывает некоторые вопросы, которые, на мой взгляд, большинство исследователей этой темы даже не затрагивали.

Один из этих вопросов: какую позицию по отношению к своим вербальным текстам занимает их автор? Художники, как правило, занимаются сочинением манифестов, полемических опусов, апологий своего направления или школы; либо комментируют и объясняют собственное творчество, его источники и цели. Известны словесные произведения живописцев, которые с их творчеством как художников связаны лишь личностью автора. Чаще всего живописцы в письменной форме изъясняются лишь в своих автобиографиях, в переписке и мемуарах. Хотя следы всех этих жанров мы находим и у Малевича, ни с одним из них его тексты отождествить нельзя. (Так же трудно определить, какой язык оказал наибольшее воздействие на формирование мышления Малевича).¹

Дело в том, что Малевич не делал различия между кистью и пером (особенно это касается витебского периода 1919—1921 гг.) и писал, замещая этим рисование (подтверждением этому служат и воспоминания его друга Николая Харджиева). Такие словесные тексты обладают особым статусом: они возникают не помимо рисования, не наряду с рисованием, не как описание рисования, а как само рисование, в качестве равноценного средства выражения. Причем это касается не только того, что Малевич «выдавал», продуцировал, но и того, что «принимал» — как импульсы из среды, в которой он творил. Это

точно описывает Джон Годдинг: «Сотрудничество Малевича с литературным авангардом имело для его развития как художника такое же значение, как и его контакты с современной живописью».² Словесные тексты Малевича непосредственно входят в контекст его картин. Если бы каждый из них можно было воспринять в целом и сразу, как полотно, то они на ретроспективных выставках должны были бы висеть среди картин.

Если, однако, мы воспринимаем словесный текст как художественное произведение, по своему значению равноценное картине, то нельзя суживать его до нескольких цитат, которые приводятся в угодных автору искусствоведческих работах. Именно так поступает большинство ученых, интерпретирующих художественный мир Малевича. Дело сводится, таким образом, к урезанию космоса текстов до множества отдельных высказываний, то однозначно понятых, то хаотически перемешанных.

Если мы хотим, чтобы исследования трактатов Малевича соответствовали своему объекту, придется рассматривать последние как единый художественный текст. Но справедливо ли само выражение «трактат»? Согласно определению, речь идет об ученом рассуждении религиозного, философского или тому подобного характера. Определение «ученый» в случае Малевича, однако, не значит, что рассуждение опирается на какие-либо ясно сформулированные концепции, теории или научные дисциплины³ — оно является «лишь» нагромождением дефиниций, предположений, безапелляционных утверждений и выводов, касающихся самых разных тем; издатели комментируют все это заявлениями типа: «Малевич не был систематизирующим теоретиком», его современница Богуславская-Пуни высказалась более откровенно, утверждая что Малевич «графоман».⁴

Определение жанра словом «трактат» не дает представления о существенном, уже упоминавшемся, признаке авторского стиля, каким является некое «блуждание» между разными способами «повествования», от поэтических метафор и постулатов в духе научной риторики до пассажей, напоминающих философские тезисы или религиозные размышления. Дискурсы эти находят себя на различных стилистических уровнях, не оставаясь при этом ни на одном из них, взывают к разгадыванию, как бы смотреть в самих себя.

Несмотря на переплетение различных способов повествования — или благодаря этой особенности, — тексты Малевича противоречат всем жанрам, оперирующим терминами с однозначной семантикой и четко обоснованными критериями. О словесном творчестве Малевича можно сказать то же самое, что он сам писал о пропасти, отделяющей художественное самовыражение от других артикуляционных средств. В трактате «О поэзии» (1919) описывается, например, тип языка, свойственный, казалось бы, лишь футуристической школе «поэтической зауми», как она известна нам из произведений Каменского или Хлебникова, но то же самое можно в равной степени отнести и к стилю Малевича, хотя у него речь идет не о ритме в поэтическом смысле слова, а о внутреннем ритме всего хода мышления, создающем впечатление некоей таинственной значительности произносимого. Джон Голдинг говорит даже, что манифесты Малевича «библейски возвышенны». ⁵ «Есть поэзия, где ради ритма уничтожает поэт предметы, оставляя разорванные клочки неожиданных сопоставлений форм», ибо «ритм и темп создают и берут те звуки, которые рождаются ими и творят новый образ из ничего».

Поэтическое слово ускользает из сферы, контролируемой разумом, между ними проходит нерушимая граница, как показывает Малевич в другой своей работе, в трактате «Человек самое опасное в мире явление». Здесь говорится о двух сторонах человеческой жизни: «Таким образом, человек или жизнь его разделяется на две категории выражения времени, конкретного и абстрактного, и я под конкретным разумею харчевое время, а под абстрактным — Искусство, <это> две разные идеологии: одна предметная, другая беспредметная, трудовая и беструдовая категория времени» (противопоставляя предметной идеологии беспредметную, Малевич пользуется терминологией, которую он применял, исследуя историю искусства, заканчивающуюся супрематизмом как вершиной. Трудовая и беструдовая категории времени напоминают о главном тезисе трактата Малевича «Лень как действительная истина человечества», написанного в 1921 г.)

Эти слова являются ключом к наиболее адекватному прочтению словесных текстов Малевича. Значение текстов не снижается до комментария картин, но одновременно такое прочтение радикально ставит под сомнение попытки рассматривать творчество Малевича сквозь при-

митивную призму критики тоталитарной утопии. Хотя ее элементы у Малевича явны, и в некоторых своих проявлениях действительно представляют из себя этическую проблему, — уже начиная с 1913 г., когда, как художник-оформитель, Малевич участвовал в инсценировке оперы «Победа над солнцем».⁶

Позднее Малевич про солнце напишет: поэт обладает правом утверждать то, что разум неприемлет, например, солнце погасло, тогда как оно «всего лишь» зашло, — и касается, таким образом, примера, который, с точки зрения некоторых исследователей (Рольф Клюге) отсылает нас к эпохальному рубежу, а именно к концу миметического принципа в искусстве, который впервые в русской культурной традиции проявился в стихотворении Валерия Брюсова «Творчество» (1895). В стихотворении Брюсова на небе появляются две луны; поэт защищает их необходимость для создания нужного поэтического воздействия. Здесь мы имеем дело с малоисследованной связью между эстетикой авангардизма и искусством Серебряного века;⁷ связь эта вовсе не так однозначна, как могло бы показаться по итоговым документам Первого всероссийского конгресса певцов будущего (поэтов-футуристов), который проходил 20-го июля 1913 г. (организаторами и единственными его участниками были три художника: Алексей Крученых, Михаил Матюшин и Казимир Малевич). В их документах говорится, что необходимо разбить симметрическую логику, о которой грезят в синеватых сумерках символизма. . . Дело в том, что за критическим тоном сегодня видится скорее родственная связь этих двух течений, чем их жесткое разделение.

Общий «миметический скепсис», который впервые проявляет себя в символизме, а в авангарде достигает своих крайних пределов, наглядно выражает цитата «Из книги о абстракции» (1924 г.) К. Малевича: «Ни одно распятие Христа не похоже на действительность, не похоже, потому что является художественным. . . »⁸

В упоминавшемся трактате Малевич формулирует принцип различия между научным реализмом и реализмом художественным, т.е. подсознательным, эстетическим, личным, и четко описывает смысл творческого акта: «Только искусство способно преобразить бытие в образ, воплотить миф, подобно тому, как в религии каждое явление есть отражение Бога». Здесь отметим, что речь у Ма-

левича идет о разных подходах к миру, о существовании человека в состоянии принципиальной раздвоенности, — а не о анализе современного состояния научных исследований. Ибо наука, на что обратил внимание, в частности, Дональд Каспит,⁹ именно в первой трети XX-го столетия приходит к тому же, что и абстрактная живопись: она обнаруживает трещину между той реальностью, которую создает своим описанием, и той, которую мы знаем из нашего повседневного опыта.

В том же трактате «Из книги о абстракции», написанном как своеобразная тризна по Ленину (он был окончен через три дня после его смерти в январе 1924 г.), мы находим тот тип рассуждений, на который ссылаются при утверждении о тенденции авангарда поддерживать тоталитаризм на основе собственных эстетических мечтаний. Малевич говорит о том, что сила художника вторгается в область промышленности, чтобы там, посредством своей «печати», стать у власти и подчинить себе техническую сферу. И в других местах Малевич упоминает об аналогиях и взаимном переплетении общественной реальности и художественной практики, например: «Кубизм является высшим моментом культуры живописи, так же как коммунизм — культуры социалистической, с тем лишь различием, что живописный куб уже расплывается в движении, лишается своей предметности <...>» или даже: «Ликвидация собственности является гарантией пути к абстракции».

Я полагаю, что переводить подобные сентенции на язык официальной идеологии (где они легко подвергаются компрометации), — это то же самое, что, например, читать «Божественную комедию» Данте, основываясь лишь на изучении политических обстоятельств. Мы, в таком случае, натолкнемся на ряд пикантных фактов, которые нашли свое отражение в тексте, но останемся далекими от понимания произведения в целом.

Творец художественного текста (в данном случае, поэт Малевич — в том понимании образа поэта, какой описывается в его произведениях) не тождественен апологету одной из версий реальности, как бы ни возмущали нас взгляды, высказываемые им в его произведениях. Они связаны с действительностью лишь опосредованно: «<...> эти слова никогда не понять разуму, ибо они не его, это слова поэзии поэта». Поэт ничего не создает, он является

лишь медиумом: «Он сам, как форма, есть средство, его рот, его горло, — средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. Т.е. он, поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем человеком. Человек-форма такой же знак, как нота, буква, и только. Он ударяет внутри себя, и каждый удар летит в окно. . . » То, что Малевич говорит о поэзии, является действительным и для искусства вообще. Он сам подчеркивает: «То же в живописи и музыке».

Итак, мы определили трактаты Малевича как жанр литературы, хотя Малевич не был писателем. Но когда мы говорим о его текстах, недостаточно сказать, что он был художником. Скорее всего, для Малевича подходит термин Мишеля Фуко «создатель дискурсивности»,¹⁰ то есть автор, который, кроме собственных текстов, продуцирует возможность и для создания иных текстов, для трансформаций, переосмысления собственных понятий и творческих импульсов.

Таким образом, наряду с живописью, Малевич творил тексты, которые мы называем трактатами. Оба способа самовыражения по отношению друг к другу можно считать аналогичными. Стиль письма Малевича колеблется между разными вариантами «высказывания», но, если использовать для определения критерий самого автора, никогда не покидает поля художественного текста. Именно это обстоятельство обеспечивает иммунитет к этическим претензиям, которые по отношению к жанру, выработанному Малевичем, необоснованны. Этические проблемы, связанные с творчеством Малевича, этим, разумеется, не исчерпываются. Даже приняв во внимание различие между автором как физической личностью и автором как субъектом текста,¹¹ мы не можем достигнуть «чистого, совершенного чтения». Нам остается лишь чужой язык рецепции (плывущий по языку «оригинала», если использовать метафору Ролана Барта), с помощью которого мы пытаемся приблизиться к смыслу произведения.

Критик Дональд Джадд в своей статье «Малевич, независимая форма, цвет, плоскость» пишет, что художественная практика и споры о ней до сих пор проходят внутри того контекста, границы которого очертил Малевич. Это утверждение спорно; оно, однако, подтверждает тот тезис, что Казимир Малевич сыграл в культуре двадцатого столетия роль «основателя дискурсивности». Его творчество

стало предметом множества разного рода манипуляций, с определенной частью его наследства мы знакомимся лишь сегодня, и этот процесс далеко не окончен. Может быть, поэтому мы и склонны заново перечитывать ("relecture") трактаты Малевича.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 «Малевичевское слово выросло на пересечении множества языковых, понятийных, и лексических пластов. В религиозной семье польских патриотов господствовала родная речь, и на слуху была латынь, язык вероисповедания; внесемейное общение Малевича в детстве протекало на украинском — русский воспринимался мальчиком как другой, чужой язык: первые художники-профессионалы, встреченные им, говорили на русском языке» (Шатских А. Казимир Малевич: Теоретическое и литературное наследие // Малевич К. Живопись, теория, искусство. — М., 1993. — С. 179).
- 2 Golding J. The Black Square // Studio International. — 1975. — March/April. — P. 96–106.
- 3 Некоторые исследователи стараются ввести тексты Малевича в русло самых различных философских и религиозных течений: находят в них элементы каббалы (Бирнхольц), учения йоги и других индийских учений (Дуглас), влияние Шопенгауэра (Андерсен), Ницше, эмпириокритицизма, теории вчувствования, учения о высшей нервной деятельности (Григар), находят в них связь с Хайдеггером (Мартину), Бердяевым (Шатских), с методом исихастов (Жан Клод и Валентин Маркадэ), с философией Гегеля.
Неоспоримой, однако, является лишь связь с философией Михаила Гершензона (А. Шатских) и с основными положениями книги Рихарда Авенариуса "Philosophie als Denken der Weltgemäss dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses" (Голдинг). Бесспорным является тот факт, что Малевич вообще избегает цитат и каких-либо ссылок, что, по мнению Григара, указывает на особую литературную или риторическую позицию, формирующую у читателя представление о том, что идеи являются порождением исключительно самого автора. Но Малевич был самоучка, не получил, в сущности, никакого образования.
- 4 Šerpan O. Vecné a bibliografické poznámky // Malevič. O nepredmetnom svete. — Bratislava, 1968. — S. 210.
- 5 Golding J. The Black Square // Studio International. — 1975. — March/April. — P. 96–106.

- 6 Музыка М. Матюшина, текст А. Крученых, пролог В. Хлебникова, декорации К. Малевича. Премьера состоялась в декабре 1913 г. в петербургском театре «Лунапарк». Печатное издание 1916 г.
- 7 Здесь я хотел бы упомянуть об одной интересной статье Дмитрия Сарабьянова, знатока Малевича, «Русский авангард перед лицом религиозно-философской мысли», которая была напечатана в 1-ом номере журнала «Вопросы искусствознания» за 1993 г.
- 8 Текст этот был переведен на немецкий язык и появился в июле 1924 г. в 10-ом номере журнала «Кунстблатт». Переиздано в кн.: Ш т а х е л ь х а й н Х. Казимир Малевич. — 1989. — С. 187. Мне не известно, был ли этот текст когда-нибудь опубликован по-русски. Я исхожу из рукописи чешского перевода, где автор не указан. Не исключено, что этот перевод был сделан с немецкого.
- 9 K u s p i t D. Malevich's quest for unconditioned creativity, part 1 // Artforum. — 1974. — June. — P. 53–58.
- 10 F o u c a u l t M. Diskurs, autor, genealogie. — Praha, 1994.
- 11 Я здесь имею в виду 10-ую главу (Заключительные замечания) из работы Бахтина «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» (см.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М., 1975).

МЕМУАРЫ И ТЕМА ПАМЯТИ В ЛИТЕРАТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

ЭЛЬДА ГАРЕТТО

Особая важность мемуарных публикаций для русского зарубежья — очевидный факт, подтвержденный как количеством такого рода текстов, так и оживленностью дискуссии вокруг них.

Особое положение русской эмиграции первой волны в европейской истории и ее уникальность как культурного явления позволяет рассматривать в едином контексте не только собственные мемуары, но и общий процесс памяти, во всем многообразии ее проявлений, как в литературе, так и в самой жизни русского зарубежья.

В начале 1920-х гг., после полного поражения всей внутренней оппозиции, военной и политической, и массовой высылки из России представителей интеллектуальной элиты, русская эмиграция постепенно осознает, что для тех, кто не согласен примириться с новой властью, ставшей признанным и полноправным субъектом на международной арене, скорого возвращения на родину не следует ожидать. В таких условиях индивидуальная и коллективная память приобретают важнейшее значение. Главной целью становится фиксация того сложного процесса, который привел к революционной катастрофе, и попытка понять его, объяснить себе и грядущим поколениям. Эмиграция осознает себя единственной хранительницей духа русской культуры. Центры диаспоры превращаются в огромные лаборатории по восстановлению, сохранению и защите национальной и индивидуальной памяти. Достаточно назвать Русский Заграничный Исторический архив в Праге. В том же ряду можно рассматривать циклы конференций по русской литературе и истории, беседы, лекции и собрания, посвященные как прошлому России, так и индивидуальному жизненному опыту, юбилеи в честь виднейших представителей эмиграции.

В периодике тех лет и отдельными изданиями выходят многочисленные дневники и воспоминания, принадлежащие перу как военных и политиков — участников Белого движения, так и разных литераторов. Большинство этих публикаций повествовало о днях революции и эпизодах Гражданской войны; часто описывалось бегство из «Совдепии». Наряду с этими документальными свидетельствами о недавнем, газеты и журналы русской диаспоры много места отводили рубрикам «Литературный альбом», «Записки писателя», «Из литературных дневников», где писатели и публицисты помещали воспоминания о своих современниках и эпизодах ушедшей эпохи. Даже дневники, написанные по горячим следам событий революции и Гражданской войны, как «Окаянные дни» И. А. Бунина и «Синяя книга» З. Н. Гиппиус, в силу своего позднего появления в печати, органично вливались в общий мемуарный поток и относились современниками к сфере воспоминаний.

Для мемуарной литературы характерен ряд мотивов, определенных самим положением эмиграции. В ее рядах постепенно развивается и крепнет сознание того, что рубеж, отделяющий ее от России, связан не только с категориями пространства (в России / на чужбине) или времени (до революции / после революции), но и с жизнью и смертью: смерть / жизнь в России, смерть / жизнь эмиграции и ее духовного мира. Для многих переселение, отрыв от России равны катастрофе, землетрясению, смерти художественного творчества. Значительная часть эмигрантских мемуаров первой поры посвящена памяти только что ушедших из жизни современников. Каждый из умерших — Блок, Брюсов, Сологуб, Гумилев, — представляли собой целую эпоху, и своим внезапным уходом унесли с собою часть недавнего прошлого, отодвигая его в бесконечную даль. Воспоминания о них составляют ядро двух главных литературных мемуаров эпохи: «Живых лиц» З. Н. Гиппиус и «Некрополя» В. Ф. Ходасевича. Эти книги, создававшиеся почти одновременно (хотя и были изданы с разницей в полтора десятилетия), перекликаются не только набором персонажей, чьи посмертные портреты в них даны, но и эмблематичной антиномией заглавий.

Мемуарная литература и место мемуариста живо обсуждались на страницах периодики и в писательских кружках и организациях. Своеобразный образец такой дис-

куссии — рецензия В. Ф. Ходасевича на «Живые лица» З. Н. Гиппиус.¹ Ходасевич определяет создание и публикацию мемуаров как «процесс первоначального накопления» документов. Он видит в воспоминаниях первоисточник для будущей работы историка. Если, с одной стороны, «правдивость — главное, основное требование предъявляемое к мемуаристу», с другой — Ходасевич защищает индивидуальную точку зрения мемуариста, отстаивает его право быть субъективным, ибо мемуарист должен быть «свидетелем», а не «судьей». Все же — утверждает Ходасевич — роль мемуаров — исключительно служебная, вспомогательная. Мемуарная литература предстает, таким образом, частью хранилища памяти, и в гораздо меньшей степени связана с литературным процессом.

Однако литература памяти не исчерпывается одними только мемуарами. К ней закономерно можно отнести все произведения автобиографического жанра, включая те романы и рассказы, которые можно назвать, наряду с «Жизнью Арсеньева» И. А. Бунина, «вымышленными автобиографиями».² Сюда же нужно включить и «рассказы о России», т. е. произведения, в которых на первом плане стоит образ России, данный в особом освещении. К этой группе относится большая часть зарубежного литературного творчества И. С. Шмелева, И. А. Бунина и существенная часть произведений М. А. Осоргина, Б. К. Зайцева, А. И. Куприна, М. И. Цветаевой, Тэффи и Ф. А. Степуна.

В литературных спорах первого десятилетия эмиграции тема памяти и воспоминаний включалась и в более сложные и глубокие контексты. Теснейшим образом она была связана с вопросами о характере, роли и судьбе эмигрантской литературы. Поскольку связь русского писателя с родиной, с прошлым и с традицией понималась по-разному, то и тема памяти получала порой весьма противоречивые толкования.

Если, как писал Георгий Адамович, «Россия не есть понятие, которое можно разводить по частям; язык есть форма духовной жизни народа», тогда возможно ли творчество за рубежом, в отрыве от родины? Или эмиграция обречена жить в трагической раздвоенности? Эти роковые вопросы задавали себе многие писатели-эмигранты. Для такого мировосприятия память и воспоминание имели колоссальное значение. Ведь только через них можно

было восстановить утраченную связь с родиной, «воскресить», «оживить» прошлое, русскую действительность, русский быт, русский язык во всем многообразии его интонаций и стилей. Если, как думалось некоторым, можно было жить и творить только благодаря памяти и воспоминаниям, то особенно печально выглядела судьба более молодых эмигрантов, которые будут названы В. С. Варшавским «незамеченным поколением»: «Они еще помнят Россию и на чужбине чувствуют себя изгнанниками. <...> воспоминаний о России у них слишком мало <...> В этом их отличие от поколений старших. <...> есть в их судьбе сходство с судьбой всех «лишних людей» русского прошлого <...>»³.

Если оторванность от России означала потерю жизненной силы; если писатель, нераздельно связанный с родиной через язык и жизнь народа, присужден к смерти в отрыве от нее, то единственное спасение — «сотворить в слове и в образах Россию», во всех ее повседневных деталях.

По такому пути пошел Шмелев в «Лете Господнем». Это произведение можно взять в качестве самого яркого образца «идиллической, ностальгической литературы памяти». После трагической эпопеи «Солнце мертвых», в которой Шмелев изобразил послереволюционную жизнь в Крыму, ужасы, страдания, голод, смерть, автор описывает подробнейшим образом все детали жизни русского народа и купеческой среды, все церковные и домашние обряды, воссоздает полную картину русской жизни прошлого, воссоздает язык, с его разными говорами. Для сотворения такого «потерянного рая» автор умышленно аннулирует историческое время и заменяет его другим, вечно повторяющимся: временем природы и церковных праздников. Аннулирование исторического времени реализуется посредством простого приема: автор вполне идентифицируется с шестилетним мальчиком, от лица которого ведется повествование, и никогда не комментирует происходившее своим «взрослым» голосом. Следовательно, аннулируется также возрастное время.

Все кристаллизуется в вечном измерении. Пространство делится на дом, улицу, город Москву. Город этот опять-таки не несет на себе никаких следов исторического процесса: описание его может относиться как к началу, так и к концу века; в словах отца героя-повествователя

Москва, как в известных стихах, — «город чудный, город древний». В таком мире вполне идеализированы социальные отношения: никакого следа конфликтов, последовавших за великими реформами; этот мир очень напоминает патриархальный мир «Сна Обломова» в городском варианте, правда, в нем нет даже той легкой иронии, с которой ведется повествование у Гончарова.

«Лето Господне» можно считать типичным образцом «идиллии» в варианте семейного романа. В нем, в отличие от типичного семейного романа, сохраняется более архаичное отношение времени к пространству и используется фольклорное время (циклическое — ритмическое).

В других произведениях эмигрантской литературы историческое время не только заменено сказочным, но при этом используются и классические обороты фольклорного жанра. В рассказе «Далекое» Бунина, например, читаем: «Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате <...> некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович <...> Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва».⁴

У того же Бунина имеется очень интересный образец того, как процесс памяти полностью меняет не только временные, но и пространственные отношения: в рассказе «Поздний час» из цикла «Темные аллеи»⁵ время конденсируется и спрессовывается в неопределенное «прошлое», которое охватывает всю прошедшую жизнь. Но самое фантастическое происходит с пространством: границы между странами исчезают, больше нет России или других стран, Ярославль «накладывается» на Суэцкий канал, Париж на Москву. Топонимика воображаемого города сводится к отвлеченным топонимам: город, мост, Старая улица, Базар, Монастырская улица.

Типология мемуарной литературы русского зарубежья разнообразна, но очень многие ее произведения относятся к рассмотренному выше идиллическому типу или к главному его варианту: к теме разрушения идиллии; иногда в одном и том же произведении сосуществуют как идиллия, так и ее разрушение (см. «Золотой узор» Б. К. Зайцева).

Характерной чертой автобиографических романов и рассказов русского зарубежья является также довольно слабое внимание к самому механизму памяти, к описанию процесса становления личности, сознания, как это было свойственно западному современному автобиогра-

фическому жанру, который от Пруста до Джойса опирался как раз на психологический анализ, на игру умственных ассоциаций.

В эмигрантских вариантах преобладает память о потерянном времени и пространстве: отчужденное пространство, изгнание из отчего дома или добровольный, но все равно трагический уход.

Может быть, такой более архаичный вариант «семейного романа», такое отступление от типичных приемов западной автобиографии можно объяснить особой, коллективно-исторической, миссией, которую ощущала за собой эмиграция. В этом новом историческом сюжете было более развито чувство общего культурного процесса, чем индивидуального развития.

Но именно такая литература (идиллической или воскрешающей памяти) со временем породила у части эмиграции сомнения в своей «творческой продуктивности» и заслужила отрицательные отзывы.

В статье 1933 г. «Литература в изгнании» Ходасевич пытается определить «пульс» эмигрантской литературы и предугадать возможности ее развития.

В первую очередь он опровергает мнение тех, кто с самого начала заявил, «что самое ее бытие биологически невозможно, что если она еще существует, то лишь в силу инерции, что она не даст новых побегов и сама задохнется, потому что оторвана от национальной почвы и быта, потому что принуждена питаться воспоминаниями, а в дальнейшем обречена пользоваться сюжетами, взятыми из иностранной жизни».⁶

Такие предсказания кажутся Ходасевичу несостоятельными, поскольку «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным» (258).

Ходасевич опять возвращается к роли воспоминаний и ликвидирует очень резко все «литературные отражения быта» как имеющие ценность исключительно для «этнологических и социологических наблюдений», но «не имеющих никакого отношения к задачам художественного творчества» (258).

Он приводит в доказательство своего убеждения «Маленькие трагедии» Пушкина, действие которых происходит не в России.

Ходасевич продолжает: «История знает ряд случаев, когда именно в эмиграциях создавались произведения, не только прекрасные сами по себе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур» (259); самый яркий пример тому — «Божественная комедия».

Ходасевич утверждает, что задача сохранить и передать будущим поколениям русскую литературную традицию была понята и реализована неверно, особенно представителями старшего поколения. Они «принесли с собой из России готовый круг образов и идей <...> Творчество их в изгнании пошло по привычным рельсам, не обновляясь ни с какой стороны. Рассеянные кое-где проклятия по адресу большевиков да идиллические воспоминания об утраченном благополучии не могли образовать новый, соответствующий событиям, идейный состав их писаний. Их произведения, помеченные Берлином или Парижем, могли быть написаны в Москве или в Петербурге. Казалось, писатели перенесли свои столы с Арбата в Отей, чудесным образом не сдвинув с места ни одной чернильницы, ни одного карандаша, и уселись писать как ни в чем не бывало» (263).

Ходасевич не отрицает, что эти писатели в отдельности создали превосходные вещи, но они, все вместе, остановили движение эмигрантской литературы и привели ее к ситуации, которая «влечет за собой свертывание крови, смерть, а затем распад всего организма» (262).

Оказалось, наконец, что «самим принципам и основам литературной работы нельзя учиться у людей, смотрящих лишь на прошлое и решительно не интересующихся теоретическими вопросами литературы» (267).

(Спустя 40 лет И. Бродский будет называть характерной чертой всякого изгнанника «гипертрофированный ретроспективизм». «Ретроспекция занимает в его существовании чрезмерное место. Она заслоняет реальность и затемняет будущее завесой куда более внушительной, чем самый густой туман. У изгнанника, как у дантовских лжепророков, голова постоянно отвергнута назад и слезы или слюна текут по спине. Пишущий же, даже получив свободу передвижения, не может никак оторваться от мира своего прошлого и, в определенном смысле, только прибавляет все новые и новые главы к своим прежним сочинениям».⁷⁾

На опасения Ходасевича откликнулся через несколько лет Ф. А. Степун в предисловии к своим воспоминаниям: «Пристрастные к прошлому и несправедливые к настоящему, воспоминания неизбежно разлагают душу сентиментальной мечтательностью и ввергают мысль в реакционное окаменение. Будем откровенны, и того и другого все еще очень много в редущих рядах старой эмиграции.

Новая эмиграция нашими недугами не страдает. Ее опасность скорее в обратном, в полном отсутствии пленительных воспоминаний. Соблазнять людей, родившихся под красною звездой, образами затонувшей России — дело столь безнадежное, сколь и неправильное. <...> Общих воспоминаний у нас быть не может, но у нас и может и должна быть общая память.

Ты, память, муз вскормившая, свята,

Тебя зову, но не воспоминанья.

В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно ушедшем счастье, так как она несет его непреходящую правду о себе.

Воспоминания — это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным — литургия».⁸

Именно такая постановка вопроса приводит очень естественным путем к теме «творческой памяти», как она представлена в статье Ю. М. Лотмана «Память в культурологическом освещении».⁹

В этом ракурсе довольно показательна оживленная полемика о роли Пушкина и его традиции в русской диаспоре, развернувшаяся в те годы в Париже.

Самая интересная «квадратура круга» сложного вопроса о памяти, заключена, по-моему, в творчестве В. Набокова, особенно если мы примем во внимание три разных варианта его мемуаров: «Conclusive evidence», «Другие берега» и «Speak, memory». Самое интересное для темы «творческой памяти» — сопоставление этой тройной биографии с романом «Дар» и, главным образом, с его автобиографическими элементами. В связи со сложной структурой романа, похожей, как пишет Сергей Давыдов,

на русскую матрешку, эти элементы разбросаны по всему тексту и оперируют на разных уровнях.

Один из центральных автобиографических мотивов, т.е. воспоминания героя-повествователя об отце, тесно связан с пушкинскими мотивами (как известно, описание последнего путешествия отца Годунова-Чердынцева является вариацией пушкинского «Путешествия в Арзрум»). И вообще, кроме этих явных откликов, весь роман ориентирован на Пушкина и на тему творчества как такового.

В «Даре» творческая память (пушкинская тема) тесно переплетается с индивидуальной (воспоминания Набокова) и с эволюцией творческой личности (Набоков-писатель). В романе «Дар» область литературы и культуры не остаются в смысловой сфере, а входят прямо в хронотопическую структуру. Именно таким образом можно объяснить то, что Набоков написал в предисловии к американскому переводу «Дара», — что настоящий герой романа — это русская литература.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Ходасевич В. <Рец.>. З. Н. Гиппиус. Живые лица: В 2 т. Изд. «Пламя». — Прага, 1925 г. // Современные записки. — Париж, 1925. — N 25. То же см.: Гиппиус З. Н. Стихотворения; Живые лица / Вступ. ст., сост., подгот. текста, коммент. Н. Богомолова. — М., 1991. — С. 403–409.
- 2 Так охарактеризовал «Жизнь Арсеньева» В. Ф. Ходасевич в своей рецензии в газ. «Возрождение» (Париж, 1933. — 22 мая).
- 3 Варшавский В. С. Незамеченное поколение. — Нью-Йорк, 1956. — С. 17.
- 4 Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1988. — Т. 4. — С. 233.
- 5 См.: Там же. — Т. 5. — С. 277–282.
- 6 Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. — Нью-Йорк, 1954. — С. 257–258. Далее ссылки на это издание даются в основном тексте с указанием страницы в скобках.
- 7 Из речи «The condition we call exile», произнесенной в Вене в декабре 1987 г.
- 8 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Изд. 2-е (I-II). — London, 1990. — С. 7–8. То же см.: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. — М.; СПб., 1995. — С. 5–6.
- 9 См.: Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. — Таллинн, 1992. — Т. 1. — С. 200–202.

К СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДИАСПОРЕ: «СЛУЧАЙ РЕМИЗОВА»*

ТАТЬЯНА ЦИВЬЯН

О том, чем для Ремизова были русский язык и русская словесность, постоянно и напряженно писал он сам, особенно — в эмиграции, когда поставил себе задачу не только писать на русском языке, но и писать о русском языке: и то, и другое имело особое значение для послереволюционной диаспоры.¹ Задачи сохранения и развития русского языка в условиях, когда был насильственно оторван наиболее ценный (в определенном смысле элитарный) пласт русской культуры, ощущались носителями этой культуры ностальгически остро. Едва ли не единственной неотчуждаемой собственностью, которую нельзя было реквизи́ровать, остался *родной язык*, выступавший как самый надежный гарант сохранения культуры во времени — в надежде будущего воссоединения ее и в пространстве даже тогда, когда, по слову Георгия Иванова, *надеяться стало смешным*.

В этой ситуации речь шла и о сохранении и развитии в новых условиях живого и полнокровного *русского языка* как языка общения (так сказать, русской речи), и о сохранении и развитии *русского языка* как «текста культуры», т.е. по сути дела о непрерывающемся продолжении русской литературы.² Последнее, естественно, ложилось на писателей (или, шире, вообще на словесников) и осознавалось ими как важнейший долг, с которым они справились блестяще и героически: теперь, наконец, это увидели и мы. Тема русского языка широко обсуждалась в эмигрантской художественной, критической литературе

*Вариант этой статьи печатается в сборнике, посвященном юбилею А. А. Зализняка.

и публицистике;³ доходящие только сейчас до нас мемуары показывают, насколько насущной она была. Ремизов в этом отношении — один из наиболее ярких примеров.

Как представляется, он пытался изменить взгляд на русский литературный язык как на нечто отлитое и застывшее, функционирующее в рамках строгих правил.⁴ В художественных произведениях, так же как и в «автометаописании», т.е. в анализе собственной писательской техники (а у позднего Ремизова одно от другого отделить достаточно трудно), Ремизов утверждал принципиально более свободное, широкое и масштабное обращение с языком, расширение его границ едва ли не до той точки, когда возникают сомнения в том, можно ли так манипулировать языком и где вообще кончаются границы языка — не только литературного, но и вообще русского.

В культуре первой эмиграции общим местом стало противопоставление двух *первых прозаиков*, Бунина и Ремизова, по принципиально разному, почти контрастному «отношению с языком». Если Бунин считал, что Ремизов «перешагнул все пределы издевательства над русским языком», то Ремизов (конечно, не имея в виду Бунина) проходил по адресу «праведных судий и оценщиков искусства с карманными словарями русского языка», которые «долбят тридцать лет: пишу не по-русски».⁵

Глядя назад, в начало своего творчества, Ремизов пишет о полемике с «петербургскими аполлонами» (название журнала становится и указанием на требования классичности, гармонии и т.п.): «Природа моего "формализма" (как теперь обо мне выражаются) или точнее <...> "вербализма" была им враждебна: все мое не только не подходило к "прекрасной ясности" < отсылка к Кузмину. — Т. Ц.>, а нагло перло, разрушая <...> чуждую русскому ладу "легкость" и "бабочность" для них незыблемого "пушкинизма". Они были послушны данной "языковой материи", только разрабатывая и ничего не начинающая <Курсив наш. — Т. Ц.>» (ПД 263). Соответственно свою задачу Ремизов видит не в том, чтобы *разрабатывать*, а в том, чтобы *начинать*. Он был из тех писателей-«строителей», которые «прут напролом, пробивая и проминая тропу, со своим словом, ухом и рукой» (КР 42).

Это *пробивание пути*, как нам представляется, лежит в принципиально новом взгляде на оппозицию *язык/речь*, вернее на ее приложение к словесному творчеству. У

Ремизова было особое, профессионально-лингвистическое отношение к языку, что поддерживалось С. П. Ремизовой-Довгелло, специалистом по палеографии, к чьим советам и консультациям Ремизов относился с глубоким почтением.⁶ Это определяло и его, в сущности, осторожность по отношению к языку — при всех экспериментах: свою неумную творческую фантазию он поверял наукой⁷ и прежде всего нормативной грамматикой.

В 1931 г. Ремизов, под псевдонимом «баснописец В. Куковников», опубликовал в «Новой газете» статью «Щуп и цапля».⁸ Своего «псевдонима» он характеризует так: «Самый подходящий редактор — и кто еще может так легко <...> выщупать и зацепить то, что совсем не к месту или не при чем или наоборот или "по недоразумению", а попросту от великого ума» (М 211). *Выщупаны и зацеплены* отступления от правил нормативной грамматики, прежде всего синтаксические: «<...> в письме <...> не может быть живого беспорядка — <...> слова разговорной речи должны быть строго организованы: каждое слово знает свое место. <...> место слова дает ему свое значение» (М 211—212). Пример: (из заметки в парижской газете) «Профессор Н. А. Добровольская-Завадская <...> прочла ряд лекций о раке и раковой наследственности в университетах и ученых собраниях. И комментарий Куковникова-Ремизова: «Из этого сообщения ясно, что Надежда Алексеевна читала лекции о каком-то особом виде "рака", называемом "университетский рак" и о раковой наследственности, наблюдаемой в ученых собраниях. <...> Ведь совсем пустяковая перестановка, а ведь смысл другой!» (М 212). Другие замечания столь же ювелирны (стилистическая разница между *езжайте* и *поезжайте*, разница в употреблении предлога *о* и *об*, и т.д.), и все они делаются если не с прямой отсылкой, то во всяком случае с оглядкой на грамматику. Выступая в роли наставника молодых писателей, Ремизов постоянно заставляет их обращаться к грамматике, особенно к синтаксису, и к словарям (его настольными книгами были Даль — для русских слов и Ушаков — для иностранных, т. е. для заимствований в русском). Такое «выучивание» грамматики и словаря он считал особенно важным в условиях эмиграции, при отрыве от основного массива родного языка.⁹

Смелость ремизовских экспериментов стоит на двух китах: нормативная грамматика и словари. Только эта

твердая основа позволяет ему устанавливать новые границы русского литературного языка и заниматься *вербализмом*.¹⁰ Казалось бы, — почти общее место: с одной стороны, «по правилам» никто не говорит (пародирование языка иностранцев основано как раз на том, что они чересчур точно следуют грамматике), с другой стороны, правила присутствуют — среди прочего и как ограничитель, контролирующий «вольности» и не дающий выходить за пределы языка.

Однако новаторство Ремизова не ограничивается расширением границ языка за счет отхода от нормативной грамматики и включения нового лексического слоя (архаичная, разговорная, иноязычная лексика и т.п.). И то, и другое также более или менее обычно и в определенном смысле является, если можно так сказать, нормированной инновацией. Не касаясь в этой заметке лексического уровня произведений Ремизова, точнее, его *лексического мира*, остановимся на его грамматике и специально на синтаксисе, который и определяет то, что можно назвать *строем* его языка. Подчеркнем, что, по нашему мнению, Ремизов, строго говоря, *не выдумывает ничего несообразного*, но: он вводит в письменную речь принципиально *иной строй* — строй *разговорной речи*: «Все, что я пишу — моя исповедь. Я хочу выразить не книжно, "сказом",¹¹ исповедь ведь не пишут, а говорят» (К 127). Составляя свой текст (это обозначение не случайно: Ремизов «собирал» слова: «И складываю и раскладываю слова» (РП. 32); «собирать слова» (РП 214) и т.п.), он не только осознавал, но точно описывал свою писательскую технику и своим описанием конструировал ее, действуя в соответствии с собственной терминологией.

В каком бы значении ни употреблял Ремизов слово *слово* (лексема, текст, язык, речь), основой для него является *звук*: слово происходит из звука и осуществляется в звуке — произнесении.¹² Ремизов постоянно настаивает на том, что писатель должен проверять написанное на слух.¹³ Это не только авторский прием (известно, например, что Алексей Толстой, работая, «разыгрывал в лицах» свои произведения), это твердая установка, цель: организовать письменный язык по законам *речи*.

«Проверка произнесением» только во вторую очередь имеет в виду действительно звучание, звуковое оформление, проверяемое «глазным слухом».¹⁴ Более важен здесь

ритм, который Ремизов считает основой фразы и далее — текста: «Всякое ограниченное словесное пространство, от Гоголя до преискуранта, ритмично» (РП 356; Кодрянская, со слов Ремизова, говорит, что словесное выражение для него — ритм — К 135; ср. к этому же: «Искусство слова — вес, число и мера» — К 110). Ремизов пишет по грамматике, но это *грамматика речи*, и ее действительно надо проверять на слух и верно интонировать, иначе смысл фразы останется темным; интонация может быть более сильным, чем слово,¹⁵ смысловозначительным средством, а графические знаки — лишь ее бледное соответствие:¹⁶ «Переписывая, приучитесь делать “красные строчки”. Помните, я говорил, как выразить интонацию? Я думаю, в какой-то мере, или отчасти, это невыразимое словами можно передать графически: расположением строчек» (РП 51).¹⁷

Грамматика Ремизова описывается терминами: *лад*, *склад*, *уклад русского природного языка/речи* («корплю над “русским ладом”» — РП 32; «следую природному движению русской речи» — РП 275). Это термины, а не метафоры, и основаны они на его весьма продуманных и основательных суждениях об истории русского литературного языка, о направлении его развития, иноязычных влияниях и т.д.¹⁸ Ремизов опирается на то, что он называл родным «природным» языком, ориентированным не на застывшие клише «неподвижного» литературного языка, а на живую речь («Надо входить в самую гущу склада живой речи, иначе будет наше стертное» — РП 262), в которой «не все лады слажены — русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса пока нет и не может быть» (К 42). Иными словами, Ремизов исходил из принципиального разнообразия различных *performances* русского литературного языка, причем разнообразия, основанного на *ладе речи*: «Природный лад живой речи неизменен, а народная речь непостоянна и словарь народных слов меняется в зависимости от слуха и памяти <... >» (ОВ 51); «Я не хочу воскрешать какой-нибудь стиль, я следую природному движению русской речи, и как русский с русской земли, создаю свой» (РП 275) — таково лингвистическое *credo* Ремизова, которое он практиковал в своем творчестве.

Речь отличается принципиально *иным* порядком слов: бóльшая, по сравнению с нормативными канонами, свобода не означает бессистемности. Работая над словом, над любой единицей текста (элементарная синтаксическая конструкция, фраза, абзац и т.д.), Ремизов имел в

виду пространство всего текста. Организовать это пространство, т.е. передать «звучащие смыслы», найдя адекватное соответствие интонации, можно было, по его убеждению, средствами синтаксиса разговорной речи, и прежде всего — свободным,¹⁹ вернее обусловленным иными критериями²⁰ *порядком слов*. «Ведь, дело не в словах, а в *порядке слов, в синтаксисе*. <...> Пишите как у вас *сказывается* <Курсив наш. — Т. Ц.>» (РП 32). В этой формулировке — формула ремизовской *письменной речи*, перестроенной по законам *устной*: «Запись — силуэт, или только скрепленные знаками строчки. Надо разрубить, встряхнуть, перевести на живую речь — выговаривая слова всем голосом и заменяя книжное разговорным» (К 134).²¹

Эту формулу он повторяет и развивает: «Перебрасываю слова и строю фразу как во мне звучит» (К 42); надо «слышать и видеть отдельные слова и соотношения слов» (ОВ 143); «Искусство начинается, когда вы по написанному СОБИРАЕТЕ звуки (слова) <...>» (РП 204); «Слова приходят на ум гурьбой, не одно. Искусство не только выбор слов, а и сочетание — сложение» (К 110); «За три года я научил вас словесному порядку и вы достигли ступени не только "рассмотрения дела", но и "рассуждения", по ученому *инверсии* — переворачиванию, перестановки слов <...>» (РП 138); «Буду мучиться не над словами и как их разместить — слова и порядок слов, все у Гоголя — а построением из этих слов» (РП 200); «В "Учителе музыки" я делаю всякие опыты со словом. (Все это возможно, только владея языком). <...> Например: постройте фразу "одним духом" без остановки — 1/2 страницы <...>» (РП 112); «И мне ли не знать, что музыка как и литературное произведение — "математика". И вы это хорошо знаете по себе и что такое переброска слов, как не алгебраическое решение уравнений» (РП 193), и т.д.

И вот подбор примеров, ремизовская теория на его же практике (чтобы проникнуть в синтаксический строй, читать надо вслух):

Выхожу на кухню, прислушиваюсь, как ветер поет, но это в сумерки. Лампа в 60 так ярко осветила и что-то не слышать. А я люблю слушать его песни, — его песни отзвук — и земли не будет, а Он останется, то, что было до создания мира и будет, когда все разрушится (РП 85);

<...> да у нас жгли без затей, ничего с инквизицией, лишали причастия, а просто "чтобы впредь не повадно было воровать" <...>» (РП 86);

Бедность моя, сегодня на прогулке гумал, может быть из 60-и 3, 4, 5 не больше, все остальное хочу взлететь, а земля тянет (РП 143; речь идет о собрании записанных Ремизовым снов);

Моя жизнь шла кувырком, но я свой за зеленой оградой, а она только через меня сюда, и вся жизнь ее была пронизана горечью жить у чужих (РБ 309);

<...> я очень «физический», «предметный», «образный», и чистая мысль — у меня нет рук схватить ее и подчинить себе (И 26);

<...> и я угу крепко, не хоронясь, и если в метро, не растерянно, а как полагается всякому, прежде чем углубляться, рассматриваю и замечаю направление, чтобы туда попасть, куда нужно, а не в другую сторону ехать, а по утрам из булочной с «фиселью», такой глиняный и узкий хлеб-палка, несу не горбясь, человеком по рогу и кости — русский (В 158–159);

И вечером на кухне слушаю — гудит ветер. В его песне — куда мы все уходим и в свой срок там найду свой угол (РП 340);

И как мои игрушки существуют, потому что я, так и эти печати, потому что есть еще на белом свете такой чудак, есть вера его в их неподдельность (ВР 357).

Но Манилов — с природной чистотой мысли и чистым сердцем — Чичиков выкрутится — Манилов кончит плохо: такие по своей доверчивости непременно впутаются в грязную историю, и ошельмуют: «дурак, туда же <Т.е. ошельмуют их, а не они, как выходило бы по нормативному синтаксису. — Т. Ц.>!» (ОВ 66);

А в наше время — война: каких только городов и местечек не узнали мы нынче, под боком у нас лежащих, а о которых и слыхом не слыхивали, ну, война, что беда, всему научит, и географии, и не тому еще, — дурака-то валять, видно, конец пришел! (РВП 130).

На содержательном уровне эта структура может быть сопоставлена со структурой и соответственно записью сна (ср.: «<...> мои сны пронизаны словами и фразами» — РП 333; «Этот первый мой и единственный рассказ

написан «куроляпкой» без связи в почерке и в словах, как бывает во сне» — И 20), и к этому изложение снов:

Конь мимо меня, какая доброта, приветливость, а у меня в руках ведро — сверкает луной <...> И этот конь после вчерашних (в сне) серых жерновов и теплого камня с блеском — камень Лермонтова — роковой — на пороге (РП 356);

И далеко отошли, а я все вижу, как движется он на своих обрубках и какой это через силу усталый от безчувственной (не вызывающей сочувствия) мольбы взгляд (РП 101) и т. п.

Разумеется, обнаружить в произведениях Ремизова приемы и обороты устной речи — в определенном смысле ломиться в открытую дверь; это не раз отмечалось в литературе и особенно подробно изложено в работе О. Раевской-Хьюз, значимо озаглавленной «Защита Ремизовым русского языка». ²² Нам бы хотелось показать, что речь идет о планомерной и последовательной перестройке языка в принципиально иной лаг (если пользоваться музыкальной метафорой, которую, как мы видели, использовал Ремизов для обозначения своей «грамматики»), об актуализации *устно-разговорной разновидности русского литературного языка* и о стремлении сделать ее равноправной (а в понимании Ремизова — истинной) ипостасью литературного языка.

Мы опираемся на известную книгу О. А. Лаптевой о русском разговорном синтаксисе. ²³ Название книги уже ее содержания, о чем свидетельствуют выводы, по сути дела описывающие «случай Ремизова»: «Современный русский литературный язык наряду с компонентами стилевого характера располагает своей устно-разговорной разновидностью <...>» (363). Устно-разговорная разновидность обладает собственным набором средств со своей внутренней синтагматикой и парадигматикой. В то же время этот набор входит в системные отношения с общелитературными средствами (см. 364); в этом языковом варианте действуют совокупно строевой синтаксис, актуальное членение и ритм, а изменения касаются сферы словорасположения и сферы структурно-грамматической; словорасположение становится участником организации синтаксической модели и обретает способность отличать устно-разговорное синтаксическое средство от общелитературного (см. 365). Словорасположение, поддержива-

емое свободным характером порядка членов в русском предложении, основывается на *трех* главных принципах: стремлении к инициальному положению информативно более значимого члена; добавлении в конце высказывания информативно малозначимого члена, отсутствующего в первоначальных коммуникативных установках высказывания; ритмически организованном чередовании ударных и безударных звеньев (см. 183—184); актуализируются конструкции с именительным темы (и происходит вообще экспансия именительного падежа); состав, который представляет основную информацию, дробится (185, 189); порядок слов подчиняется порядку ассоциативного нанизывания (196); свободное размещение энклитик и проклитик (198) и т. д. и чрезвычайно важное: порядок слов «выступает в качестве равноправного грамматического средства и становится элементом структуры модели <...> из "сопроводителя" он становится участником синтаксических отношений» (203). Высокая по сравнению с письменным вариантом литературного языка свобода, затрагивающая и элементарные синтаксические конструкции, и более крупные единицы, от предложения до текста, не означает хаотического безразличия, как и не означает подчинения формы содержанию: выделяются не только отдельные клише, но и закономерности, тяготеющие к правилам, т.е. в конце концов — к грамматике устно-разговорного варианта литературного языка, потому что именно законам своей грамматики он и подчиняется. В изобилии приводимые в книге примеры по структуре идентичны ремизовским опытам (ср. случайную выборку:

А где мой шнурок держала ты; Там «Березка» магазин; Чисто чтобы было; «Уран» уже кинотеатр проехали; Там семеро было москвичей и еще один; Пусть там как хотят критики смотрят; Что же это, мои отстают часы, что ли, да?; — Ты это наверно еще Гудзию сгавала выучила?; Вообще очень досадно, что ни один сегодня педагог к нам не пришел; Две копейки не у вас; Я лежала их и считала; Туда далеко там турник где стоит; Я вот ходила за молоком через дом к старушке-то вот глаз кривой и т. д.).

Это примеры бытовые, они выглядят стилистически заниженными, но именно на их фоне прекрасно видно богатство художественных возможностей (прежде всего, конечно, это большая эмоциональная напряженность), скрытых в устно-разговорном варианте литера-

турного языка и «вытягиваемых» из его глубин Ремизовым. То, что Ремизов писал не спонтанно, а на основе грамматики устно-разговорного варианта русского литературного языка, видно хотя бы из следующего примера: «Единственный Бунин обратил вниманье не на слова, а на слог — связь слов. Мой синтаксис приводил его в ярость: безграмотно. Пример — последняя фраза в рассказе о Шмелеве ("Мышкина дудочка"): «И не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару, центурион — повернул за угол. И пропал». (По Бунину надо было: "И не палкой, не посохом, клюкой. . .")» (К 300) — классический пример экспансии именительного падежа.²⁴

Этот пример возвращает к противопоставлению (противостоянию — открытому, со стороны Бунина, и подраживающему, со стороны Ремизова) *двух первых прозаиков* первой эмиграции, раскрывая его как противопоставление двух вариантов русского литературного языка, письменного и устного. Сейчас становится особенно очевидной ненужность этого противопоставления и более того, своего рода *contradictio in adjecto*: выбор Бунина (конечно, при его мастерстве) — надежность материала и гарантия успеха; выбор Ремизова — заведомый риск, предусматривающий условность, почти искусственность результатов. В определенном смысле Ремизов — экспериментатор, ставящий опыт на самом себе и вполне сознающий опасность, которой он себя подвергает. Пожалуй, только теперь (да и то не в полной мере) мы можем оценить его упорную смелость в «перетряхивании» русского литературного языка, так же как планомерность и лингвистическую обоснованность его реформаторской деятельности.²⁵

В заключение — несколько слов о темах, которые здесь не были затронуты, но которые стбит хотя бы обозначить — на будущее. Говоря о русской речи, о «русском выборе» Ремизова, нельзя не затронуть и столь занимавшую его проблему «иноязычия». Она может быть рассмотрена в нескольких аспектах, которые мы здесь лишь упомянем. **Первый:** неоднократно высказываемые Ремизовым суждения о внедрении в русскую речь чуждого ей «европейского» синтаксиса, что привело к тому, что родной язык стал звучать для русского уха как латынь, сравним хотя бы известное «русский во французской упряжке» (о синтаксисе Толстого — ОВ 59) или: «<Достоевский> продолжает традицию книжной искусственной речи по немецким образцам (Карамзин) и переводам с французского (Пуш-

кин) <...> дух природного слова, его лад, жив, и русскому <...> будет ближе и понятнее всякой выглаженной по французским правилам тургеневской речи» (ОБ 218); «<...> и только потом и не скоро понял, что вина не во мне, а в искусственном, на немецкий лад, синтаксисе литературной "книжной" речи» (И 32); «В слова и обороты "писцовых книг" и всякой археологии вмякивалась английская речь. Российское благородное дворянство принесло в Россию Париж, а островское купечество — Лондон» (И 42—43) и др.

Своего рода компендиумом взглядов Ремизова на русский лад, искаженный иностранными моделями литературного языка, является раздел «На русский лад» (с рефреном «Заговорит ли Россия по-русски?») в недавно опубликованной А. Грачевой его «Рабочей тетради» 50-х гг. (АР 213—217): «Над русской природной речью <...> мудрвали. И в веках разнообразно создавалась русская книжная речь. XVIII век порвал всякую связь со своим исконным русским началом, заговорил и книги пишет на свой лад. В конце концов через сатирические журналы, с лубочной пробивкой, заслуга Новикова, через немецкое Карамзина, французское Пушкина—Лермонтова, и "роскошное" польское — Марлинский и Гоголь, а за ними Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Дружинин, Лесков, Слепцов, Чехов, выработалась русская проза. Все это русское, но лад природной русской речи отделил от этой словесности, изображающей, мудрой и действующей на человеческую душу.

Всю русскую литературу можно перевести на любой иностранный язык: движение русского слова втиснуто в синтаксис по иностранным образцам, "корректировано" по Гречу и Гроту. Подлинно русское непереводаемо: можно изложить "своими словами", и только так случилось с Аввакумом. <...> Россия достойна выражаться на своем языке — русским ладом, а не на мешанине иностранных стилей. <...> Оживить русскую прозу может только свойственный русской речи русский лад. <...> Как по земле идут, надо пройти по словесной земле в веках, прикоснуться к живой русской речи» (АР 215—217).

Второй аспект — чрезвычайно важная для Ремизова проблема перевода, которая начиналась с «приноравливания чужих сказаний к своей национальности: перевода чужого понятия на современный язык» (К 132), т.е., по сути дела, рассматривалась в контексте гумбольдтовско-

потребнианских (и сэпировских) идей, которые получили сейчас такое развитие при описании и анализе лингвистической модели и/или лингвистической картины мира. **Что и как** звучит на своем языке и на чужом, как объединить свое и чужое («пусть прозвучит наше родное через чужие звуки» — РП 173), — к этому Ремизов возвращается постоянно.²⁶ Ср. о чтении Каляевым перевода «Тоски» Пшибышевского: «В его чтении русских звуков я не слышу: Варшава и его мать полька» и далее, о восприятии Словацкого, Красиньского, Норвида — «тянет любопытно, но у самих у нас, в нашей душе затаено, беззвучно» (И 200); «Во француз. тексте приключения, но для меня незвучны» (РП 303);²⁷ «Сличая тексты Тристана, я понял, что такое переводить <...> гнаться за каким-нибудь переводом зря: надо воссоздавать словом чувство, а это может только автор, если знает иностранный как свой» (РП 186); к этому же — «интернациональная» звукопись: «<...> если русские для вселенной усвоили греческое слово — освященный благоухающий елей «муро» надо найти русское слово, по французски *sonore* и выразить звучное благоухание вселенной» (РП 289)²⁸ и т.д.²⁹

И, наконец, **третий** аспект — эксперимент Ремизова с включением в текст иноязычного слоя, блестяще проведенный в «Учителе музыки»: «В языковой ткани *Учителя музыки* <...> особенно заметен один прием: текст насыщен французскими словами в русской транскрипции и французскими выражениями, набранными курсивом. <...> Ремизов, употребляя русифицированные французские слова и непереведенные французские выражения, стремился с наибольшей точностью передать разговорную речь и стиль мышления русских эмигрантов во Франции» (А. д'Амелия УМ ХХХ). Добавим к этому, что Ремизов включает в текст большие французские фрагменты с переводом (письмо Жана Дора) и без перевода (ломбардная квитанция, переписка Корнетова с соседом и т. п.). Особая тема — выбор языка общения и выбор слова (см. название для интервью — юнёр = *une heure* или *в гостях, визит*³⁰, ср. конфликты из-за незнания французского, постоянные ослышки и среди них драматический эпизод с *zut*). Можно сказать, что «Учитель музыки» написан на «*frarusse*», предвосхищающем возникший позже *franglais*, и что это первый (или один из первых) «эмигрантских» опытов создания текста на новом, «местном» языке. Причем, как представляется, сама регистрация соответствующего язы-

кового состояния при всей ее важности — только первый, поверхностный слой. Главное — тот же эксперимент над языком, проверка его границ, его возможностей к выходу за собственные пределы и одновременному сохранению тождества самому себе. Но об этом — отдельно.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АР — Алексей Ремизов: Исследования и материалы. — СПб, 1994
 В — Ремизов А. М. Встречи: Петербургский буерак. — Paris, 1981
 ВР — Ремизов А. М. Взвихренная Русь. — London, 1990
 И — Ремизов А. М. Иверень. — Berkeley, 1986
 К — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. — Париж, <1959>
 КР — Ремизов А. М. Крашенные рыла. — Берлин, 1922.
 М — Ремизов А. М. Незданный «Мерлог» // Минувшее. — М., 1991. — Вып. 3
 ОВ — Ремизов А. М. Огонь вещей. — М., 1989
 ПД — Ремизов А. М. Пляшущий демон. — Танец и слово // ОВ
 РБ — Ремизов А. М. В розовом блеске. — Letchworth, 1969
 РвП — Ремизов А. М. Россия в письменах. — New-York, 1982. — Т. I
 РП — Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. — Paris, 1977
 УМ — Ремизов А. М. Учитель музыки. — <Paris>, 1983
 RLT — Russian Literature Triquarterly

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Ср. об этом во вступительной статье А. д'Амелия к УМ («Автобиографическое пространство» Алексея Ремизова): «Отъезд из России воспринимается Ремизовым трагически, как вечная разлука с любимой землей. Как и многие русские интеллигенты в рассеянии, он остро ощущает угрозу потери своей истории, культуры, языка. С этой угрозой писатель борется всю жизнь <...>» (III).
- 2 Обе эти задачи соединены в известном рассказе Аверченко «Трагедия русского писателя»: автор объясняет, что он не уезжает из Константинополя, потому что боится потерять связь с родным языком («Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал: — А что, ребятаж, нет ли у кого прикурить цигарки!») и приводит в пример историю писателя, который после года жизни в Париже (тогда еще не «русском городе»), писал «Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм!».

- 3 Приведем здесь только один пример — ядовитый пассаж из мемуаров Яновского: «Вообще, русский язык — это живая болячка отечественных писателей: все поминутно упрекают друг друга в безграмотности. Когда-нибудь я соберу и издам антологию отзывов одних знаменитых сочинителей относительно грамматики, синтаксиса и даже орфографии других не менее удачных современников. Это будет воистину грустная и поучительная книга. Начиная с Пушкина, утверждавшего, что Державин писал по-татарски, вплоть до Ремизова, подчеркивавшего острым карандашом в журнале очередные ошибки Бунина и Сирина, — в русской словесности тянулась сплошная и безобразная междоусобица, напоминающая лучшую пору смутного времени» (Яновский В. С. Поля Елисейские: Кн. памяти. — СПб., 1993. — С. 182).
- 4 Ср. ремизовскую историю русской литературы в одном абзаце: «История русского слова: Епифаний Премудрый — XIV в. — и наше время: Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, совершенно неважно, какая тема — жития святых, сатира. <...> К именам можно прибавить: Розанов, Пастернак. Русская речь вывернута — новое восприятие» (РП 394).
- 5 Ржевский Л. Встречи и письма // Грани. — 1990. — N 156. — С. 73, 82–83. — Ржевский так комментирует отношение Бунина к Ремизову: «В одно из моих посещений Бунина я спросил его осторожно <...> о причинах такого отрицания Ремизова. "На каком языке это написано?" — спросил он вместо ответа, процитировав наизусть несколько ремизовских строк. Именно любовь к русскому языку лежала в основе бунинской критики. В области языка Бунин был, по-моему, наиболее "классичен"; здесь он весь в границах классических речевых традиций, и ему чужды, даже враждебны поиски языковых причуд, хотя бы и "из старины"». См. еще: Карлова М. Осуд и сон писателя // Русская литература в эмиграции. — Питтсбург, 1972. — С. 193 («Почти легендарным противником Ремизова стал в истории литературы И. А. Бунин <...> их идеи и представления о литературном творчестве были противоположными <...> Бунин — представитель верхушки стилевого канона прошлого столетия — никак не мог принять формальные эксперименты писателей XX века; особенно — Ремизова, над которыми он часто смеялся, утверждая, что Алексей Михайлович притворяется»).
- 6 «Она меня учила моей любимой словесной грамоте: слова, корни слов, история языка. Она была моим учителем — сорок лет, — и цензором в литературе» (РБ 308).
- 7 Ср. хотя бы его проницательные суждения о внутренней форме слова (слияние значений «покой» и «вселенная» в слав. *мир/мір*, такие же слияния значений в *воля, правда* и т.п. — РП 285), его отношение к этимологии, гораздо более осторожное, чем случается сейчас, когда этимология становится служанкой идей

пишущего. Один пример: «<...> мне так всегда стыдно, — холодно; это слово от холода стыд

студ (по славянски)

студеный "студныя дела"

стужа

а отсюда туга-печаль

и туча-темнота

"Г"

перелединев "Г"

"дж" "-" "ж" "Г"

Серафима Павловна подробно и "научно" могла бы рассказать о этих превращениях, а я ведь ничего не смыслю, только люблю слово» (Из письма Н. В. Резниковой от 9/II/1944 // RLT. — 1986. — N 19. — С. 272). Ср. его вопросы к востоковеду В. П. Никитину, который для него был высшим авторитетом в области этимологии. Немного забавно, что приведенный в недавней работе пример никитинской консультации как раз классически неверен. Ремизова интересуется происхождение слова *чан*, и Никитин отвечает: «<...> конечно, наш ЧАН слово тюркское. По-турецки ЧАН — колокол. Опрокинутый он и есть чан!» (Грякалова Н. Ю. А. Ремизов в работе над книгой «Павлиньим пером» (новые материалы) // AP 118); см. у Фасмера s. v.: «чан <...> восходит к *гъщань* <...> (от *доска*); <...> Неверно предположение о тюркском происхождении».

8 К ремизовской игре с читателем: *цапля* здесь не птица, а инструмент для подцепляния.

9 Ср. совет Ремизова Кодрянской: «Вам надо оживлять вашу словесную память вот почему я повторяю о словаре Даля <...> Мне еще ничего, большой запас слов, но и то я чувствую понижение словесного уровня, а вам — за год в Америке должно быть очень чувствительно.

Стихия языка рассеивается» (РП 261).

10 Сам Ремизов говорит об этом так: (в начале писательских опытов) «<...> глухая борьба между школьным синтаксисом и ладом природной речи. По чутью я выбирал природное, но смелости отказаться от книжного у меня не было» (И 151).

11 «Сказовый стиль» в литературе — особая тема, которой мы здесь не касаемся.

12 См. об этом работу автора: О концепте слова у позднего Ремизова (В печ.).

13 «Сочетание слов проверять на слух» (К 140); «думай вслух и читай на́ голос, прислушиваясь к словам» (И 160) и т.д. — Примечательно, что эту необходимость «проверки на слух» ощущают и читатели: «<...> Ф. Степун правильно говорил, что Реми-

зова самого нужно читать только вслух, очень медленно. При обычном торопливом чтении вся прелесть ремизовской прозы, узорный подбор его слов, особая конструкция фразы, — все это теряется для читателя» (Седых А. Далекие, близкие. — <Нью-Йорк, 1962>. — С. 116).

- 14 Ср. в том же «Щупе и цапле»: «"Опытные" и неопытные писатели! Во имя русского слова остерегайтесь музыки! Не ассонируйте, не рифмуйте в прозе. . . » (С. 212).
- 15 Ср. любопытную аналогию: «Слова не образуют язык; образуют его интонации слов. В аналогии с музыкой, звук сам по себе ничего не значит: он получает музыкальное содержание только тогда, когда он интонирован. Звуковая интонация есть первооснова музыкального языка. Структура музыкальной фразы определяется интонацией. . . » (Лурье А. Чешуя в неводе // Воздушные пути. — 1961. — N 2. — С. 205).
- 16 Более чем индивидуальная пунктуация Ремизова заслуживает специального анализа. Что ее цель — максимально точно передать интонацию, более или менее очевидно. Однако можно предположить еще и самостоятельное, графическое ее значение, и тогда знаки перпинания начинают играть типологически ту же роль, что и рисунки в графических дневниках, когда, как говорил Ремизов, ему (например, для записи снов) не хватало слов. Не случайно Ремизов уподобляет свою рукопись партитуре — хорошо известно, что музыкальная партитура не только «слушается», но и «сматрится».
- 17 Об этом же пишет Антонелла д'Амелия («"Автобиографическое пространство" Алексея Михайловича Ремизова» УМ XVIII): «Как музыкальная партитура пишется для исполнения, так и проза *Взвихренной Руси* со своими интонационными знаками, подчеркивающими фактуру языка, написана для чтения вслух — отчаянная попытка избежать судьбы печатного слова, лишенного голоса и жеста!».
- 18 Ср. экспликацию этих терминов: «построение сложенных слов — "уклад"» (ОВ 141); в применении к литературе/литературоведению: «Элементы, анализ литературного произведения: язык, стиль (лад), композиция (уклад), образы, жанр (литературный тип), идейность» (К 135).
- 19 Возможно, именно эту свободу имеет в виду Ремизов, когда пишет: «Пушкина привлекал "базар" — русский склад речи (а в матерьялах история склада этой речи) <... >» (М 223).
- 20 Ср.: «На соединение слов надо наострить ухо: чтоб избежать рубки, каши» (К 130).
- 21 К этому же почти оксюморно: «Я вслушиваюсь в живую речь и следил за речью по документам и письменным памятникам <Курсив наш. — Т. Ц.>» (К 42) и «Для меня особенно любопытно — документы. Только так я проникаю в сердцевину природного склада речи» (К 312). Ср. и приводимый Ремизовым

образец, который откликается в его собственных *укладах*: «Чтение русского воздуха. "Так танцовали что и сорочки хоть выжми от поту их". Замечание простой речи о танцах (XVIII в.)» (РП 262).

- 22 Raevski - Hughes O. Alexej Remizov's Defense of the Russian Language // Language, Literature, Linguistics. — Berkeley, 1987. См. также: Gorlin M. Alexej Remizov // Gorlin M, Bloch-Gorlin R. Etudes littéraires et historiques. — Paris, 1957. — P. 164; Струве Г. Русская литература в изгнании. — Paris, 1984. — С. 259–260; Aronian S. The Russian View of Remizov // RLТ. — 1985. — Vol. 18; Slobin G. Remizov's Fictions 1900–1921. — Illinois, 1991. — P. 153 и др.
- 23 Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. — М., 1976. Далее ссылки на эту книгу даются в основном тексте с указанием страницы в скобках.
- 24 См.: Лаптева О. А. Указ. соч. — С. 160 и след.
- 25 В определенном смысле тот же эксперимент можно видеть и в ремизовской графике, см.: «Словесная графика, графическая словесность, таким образом, проделала у Ремизова обратный путь. От каллиграфии к свободной графике. От беловика к черновику. <...> <Графика Ремизова> не существует отдельно от его, ремизовского, слова. И тогда, когда пересекается с графическим языком своего времени. Или даже опережает его» (Молок Ю. А. По ту сторону умения и неумения (о графических текстах Алексея Ремизова) // АР 156).
- 26 См. в связи с этим публикацию ремизовского перевода «Слепых» Метерлинка и изложение выработанных им принципов перевода в его статье «Театр "Студия"»: «Всякую пьесу надо передавать ее словом <...>» (Алексей Ремизов. Новые материалы (Вступительная заметка и публикация Аллы Грачевой) // АР 193), и к этому: «Плакались и плачутся переводчики, хотя им-то что: все равно, все по-своему сделают, да иначе и невозможно, в языках не совпадает ни интонация, ни узор» (И 13–14).
- 27 Эта незвучность, беззвучность иностранного языка вполне вписывается в русскую модель мира: признание только *своего* языка и, следовательно, только *своей* «способности к говорению»; все иностранцы записываются в категорию *немцев*, т.е. «немых». См. об этом в частности: Цивьян Т. В. К структуре иностранной речи у Достоевского // Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. — Columbus (Ohio), 1988. — P. 425–426. — К этому: для Ремизова вообще характерна конструкция *немота голоса*, для описания случаев непонимания (в ситуации «человек человеку бревно»).
- 28 Ср. выше, об интересе Ремизова к значениям лексем *мир/мір*.
- 29 В мемуарах нередко всплывает интерес к тому, насколько знал Ремизов иностранные языки и особенно французский: действительно ли ему нужен был переводчик в бытовых ситуациях (в

условиях парижской жизни), или это была обычная ремизовская игра.

- 30 Что, в свою очередь, лингвистически обыгрывается — *гвоздях, висит*.

ПЕТЕРБУРГ «С ТОГО БЕРЕГА» (В МЕМУАРАХ ЭМИГРАНТОВ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ»)

АЛЬБИН КОНЕЧНЫЙ

Начало XX в. — эпоха осознания и актуализации петербургской темы. Это было вызвано, прежде всего, новым открытием самого города. Огромная роль в новом видении города принадлежит художникам круга «Мира искусства». В 1902 г. вышла статья Александра Бенуа «Живописный Петербург», в которой он, в частности, говорит: Петербург, «если красив, то именно в целом или, вернее, огромными кусками, большими *ensemble'*ями, широкими панорамами, выдержанными в известном типе — чопорном, но прекрасном и величественном. . . Попробуйте выйти из состояния петербургского автомата, бросьте также на минуту приевшиеся и бестолковые жалобы на гниль, на скуку, посмотрите-ка со стороны, и все же не уходя от жизни Петербурга, на эту его жизнь, на его физиономию — и вам Петербург покажется страшным, безжалостным, но и прекрасным, я настаиваю, *обаятельным*: каким-то каменным, в одно и то же время чудовищным и пленительным колоссом».¹ «Раньше, чем возникла мысль о серьезном изучении Старого Петербурга, — отмечает Г. К. Лукомский, — художники «Мира искусства» стали рисовать его былую красоту, уцелевшую местами от посягания людей и времени».²

Статья Бенуа стала, по свидетельству современников, своеобразным «манифестом» города.³ «После чрезвычайно удачно иллюстрированного очерка Александра Бенуа «Живописный Петербург», — писал Г. К. Лукомский, — люди с хорошим вкусом убедились опять, что Петербург в самом деле — «удивительный город, имеющий мало себе подобных по красоте». Это маленькое «открытие» получило решающее значение. С тех пор увлечение Старым Петербургом непрерывно прогрессирует».⁴

Обострившийся интерес к прошлому города отмечает и Н. П. Андиферов в своем эссе «*Душа Петербурга*»: «Исподволь подготавливалось возрождение любви и понимания северной столицы. Первые годы двадцатого века до мировой катастрофы принесли с собою многообразный интерес к Петербургу. Но в этом подходе к нему не было единства стиля. Есть только одна черта, присущая всем: *признание значительности Петербурга* <...> Город, как таковой, вызывает обострившийся интерес, становится самодовлеющей ценностью». ⁵

Это новое понимание Петербурга нашло свое художественное выражение в литературе (достаточно назвать романы Д. С. Мережковского, Андрея Белого, поэзию символистов и акмеистов), проникло во все сферы искусства. Город становится не только предметом специального изучения (градоведческие семинарии профессора И. М. Гревса, работы Бенуа, В. Я. Кубатова, Г. К. Лукомского, П. Н. Столпянского, И. А. Фомина и др.), но и «наглядного познания» (гуманитарное экскурсиеведение). ⁶

К 1930-м гг. Старый Петербург практически исчезает со страниц произведений, выходящих в Ленинграде и Москве. ⁷ Однако традиция «петербургского текста» ⁸ не была прервана, и с середины 1920-х гг. тема Старого Петербурга вновь зазвучала «с того берега» — Запада, куда был вынужден устремиться значительный поток творческой интеллигенции ⁹ — эмигрантов «первого призыва», по выражению С. Маковского. ¹⁰ С этого времени на Западе было опубликовано внушительное количество мемуаров, дневников и художественных произведений. ¹¹

Для бывших петербуржцев воспоминания о городе связаны прежде всего с детством, с родительским домом, который, как отмечает Александр Бенуа, воспитал «чувство защищенности в отношении всего окружающего» и «был налит атмосферой традиционности и представлял собой какую-то «верность во времени». ¹² А Владимир Набоков, говоря о «гармонии счастливейшего детства», восклицает: «дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, напоминающие Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается». ¹³ «Милый старый Петербург! Потому ли, что я провел в нем детство, или потому, что он неразрывно связан с пушкинской поэзией, но воспоминания о нем всегда вызывают поэтические ощущения, — пишет В. Оболенский. — В причудливой смеси европей-

ской культуры со старым русским бытом и заключалась своеобразная прелесть старого Петербурга». ¹⁴

Сам город наиболее детально предстает в воспоминаниях художников. Любопытно, что большинство мемуаристов видят город глазами «мирискусников» — «ретроспективных мечтателей». ¹⁵ «Бенуа — один из самых блестяще одаренных выразителей русского европейства, создатель нового художественного сознания в России, — пишет С. Маковский, — открыл нам очарование нашей до жути романтической послепетровской иностранщины». ¹⁶ Ю. Анненков утверждает: «Графичность художников «Мира искусства» воспитала в нас даже специфическое отношение к Ленинграду, в котором начали мы видеть город исключительно классический и линейно-четкий в своем архитектурном облике». ¹⁷ «Мы много блуждали лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга, — вспоминает В. Набоков, — встречая на пути все новые видения, — десяток атлантов, или гигантскую урну у чугунной решетки, или тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки <...> опять на улицу, в вертикально падающий крупный снег Мира Искусства». ¹⁸

Пассеист Александр Бенуа всегда смотрел на город из «прекрасного далека»: ¹⁹ «Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем все; позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. <...> Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно «любить» какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды». ²⁰

Для М. Добужинского своеобразие города открывалось постепенно: «Красоты Петербурга, его стройный и строгий вид и державное течение Невы — все это были мои первые, непосредственные и пассивные впечатления детства, которые и остались родными на всю жизнь, но как художник, «активно» я воспринял Петербург гораздо позже <...> по сравнению со всем виденным в Европе, я стал смотреть на него как бы новыми глазами и только тогда впервые понял все величие и гармонию его замечательной архитектуры <...> Но не только эта единствен-

ная красота Петербурга стала открываться моим глазам — может быть, еще более меня уколола изнанка города, его «недра» — своей совсем особенной безысходной печалью, скупой, но крайне своеобразной живописной гаммой и суровой четкостью линий. Эти спящие каналы, бесконечные заборы, глухие задние стены домов, кирпичные брандмауеры без окон, склады черных дров, пустыри, темные колодцы дворов — все поражало меня своими в высшей степени острыми и даже жуткими чертами. Все казалось небывало оригинальным и только тут и существующим, полным горькой поэзии и тайны».²¹

Однако не только воспоминания о доме детства и городе с его неповторимыми панорамами, архитектурными урочищами и колоритными «недрами» и память о «своеобразии этой «нашей», канувшей в Лету столицы на невских берегах, и неповторимой красоте ее, и всего строя тогдашней жизни»²² побудили взяться за перо многих, оставивших навсегда Северную Пальмиру, но и «потребность преемственно связать себя с историческим прошлым».²³

В «петербургском тексте» «с того берега» предстает подробная картина всех сторон жизни и быта (cultural history) Старого Петербурга.

Так, Бенуа детально останавливается на домашнем воспитании и обучении в гимназии, описывает церкви и рынки, похороны и кладбища, проходы войск по городу и майский парад на Марсовом поле, конку и наводнение 1903 г., пригороды (Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Павловск) и дачи (Кушелевка, Мартышкино, Черная речка), зрелища и развлечения (оптические игрушки, выступления уличных актеров, праздничные балаганы, увеселительные сады, фейерверки, балы и т.д.), императорские театры и художественные выставки, события общественной жизни (убийство и похороны Александра II, открытие Русского музея, возникновение «Мира искусства» и Религиозно-философских собраний) и пр.

В памяти Добужинского сохранились в деталях Выборгская сторона, где он провел детские годы, и сама квартира в доме Михайловского артиллерийского училища на Арсенальной набережной. Художник вспоминает Невский и Литейный, Роты Измайловского полка, поездки на конке и прогулки на пароходике по Неве, праздники (масленица и Вербная неделя), детские развлечения (домаш-

ний театр, Зоологический сад), коронацию Александра III, городскую иллюминацию, обучение в гимназии и университете, выставки, сотрудничество в журнале «Мир искусства», встречи с писателями, поэтами и театральными деятелями. Но особенно, как он признается, его «занимали всевозможные мелочи»: фонари, уличные вывески, тумбы, страховые знаки, лавочки, навесы подъездов, торцы мостовых и т. д., а также «уличные персонажи» — военные, дворники, торговцы, извозчики, ремесленники, кормилицы и др. Все это ярко и обстоятельно запечатлено в его мемуарах.

Маковский воссоздает «строй тогдашней жизни» художников и портреты современников, описывает постановки «живых картин» в доме отца и масленицу — «единственное в мире зрелище», которое «внушило» ему «чувство неизъяснимого очарования». Специальная глава «Старый Петербург» посвящена «неповторимой красоте» города его детства.

Для Набокова Старый Петербург связан с родительским домом на Большой Морской (N 47) и имением в Рождествено, с прогулками по «классическим» местам города и с учебой в Тенишевском училище.

В мемуарах кн. В. А. Оболенского предстает дворянско-чиновничий город. Оболенский вспоминает также район Малой Итальянской улицы, где он провел юношеские годы, первые электрические фонари, «экзотической красоты Цепной мост», мороженщика, Ваньку-извозчика, Вербное гулянье, иллюминацию в царские дни, праздничные балаганы и катание на вейках, выкрики разносчиков и говор простонародья. «Петербургское простонародье в своем говоре избегало мягких окончаний, — замечает Оболенский. — Говорили: «Няня пошла гулять с детям», или «принесли корзину с грибам». Даже петербургская интеллигенция в некоторых словах переняла это отвержение окончаний. Только в Петербурге говорили «сем» и «восем» вместо «семь» и «восемь». Впрочем, это были единственные слова, в произношении которых петербуржцы больше отступали от правописания, чем москвичи и другие русские средней России. Вообще же петербургский «интеллигентский» язык ближе следовал написанию слов, чем московский. Петербуржца можно было отличить по произношению слова «что» вместо «што», «гриб» вместо «грыб», и уже, конечно, в петербургском говоре написанному произносились «девки», «канавки», «булавки»,

а не «дефьки», «канафьки», «булафьки», как в московском. Некоторые неправильные обороты русской речи, заимствованные из французского и немецкого языков, были свойственны только петербуржцам. Одни только петербуржцы лежали в «кроватях», тогда как остальные русские ложились в «постель», или «на кровать». Горничные, отворяя дверь, говорили визитерам: «Барыня в кровати и не принимают». В хорошую погоду петербуржцы не гуляли, а «делали большие прогулки» и т. д. Петербург был большим мастером русификации иностранных слов и выражений». ²⁴

Георгий Иванов и Федор Иванов уделяют особое внимание быту литераторов и их развлечениям в артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов». ²⁵ Многие вспоминают и знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова. ²⁶

Если для И. Емельяненко память сохранила только петербургское «дно» ²⁷, то на страницах мемуаров А. Плещеева предстает панорама зрелищ и развлечений бывшего Петербурга. ²⁸

Барон Остен-Дризен пишет о повседневной и праздничной жизни города (и пригородов: Петергоф, Царское Село, Павловск), о развлечениях светского Петербурга, литературных кружках и салонах Я. П. Полонского, К. К. Арсеньева, К. К. Случевского, Ф. Сологуба, Вяч. Иванова, Б. В. Никольского, великого князя Константина Константиновича (К. Р.). ²⁹

Для Зинаиды Гиппиус, Евгении Герцык и Юрия Анненкова город ассоциируется, прежде всего, с галереей «живых лиц». ³⁰

Ирина Одоевцева, Нина Берберова и Владислав Ходасевич вспоминают город первых послереволюционных лет, Институт живого слова, Литературную студию Н. Гумилева, «Дом искусств». ³¹

Все, покидавшие Петербург, увозили с собой тревогу за судьбу преобразившегося, умирающего города. ³² Многим казалось, что наконец сбудется пророчество петровского времени: «Петербургу быть пугу!»

Евгений Замятин, один из последних представителей эмиграции «первой волны» (выехал в 1931 г.), верил, что город не потеряет окончательно облик Старого Петербурга и сохранит свое достойное место в русской культуре:

«Безвкусие последних императоров, к счастью, не успело положить на северную столицу своей печати: к этому времени основная архитектурная композиция Петербурга оказалась уже законченной. Таким он встретил и революцию, и эта его законченность, архитектурная полнота, была причиной и того, что и после революции он сохранил свое прежнее лицо. Для нового — не было уже места почти нигде, кроме петербургских окраин, — писал Замятин в 1933 г. — Красавица Нева и на берегу ее вздыбивший своего коня медный Петр, петербургские каналы и глядящиеся в зеркало их дворцы, призрачные туманы и сумасшедшие белые ночи, и люди, носящие в себе что-то от безумия этих ночей, от разрушительных буйств Невы, внезапно выливающейся из гранитных берегов и сметающей все на своем пути — все это навеки запечатлено в русской литературе, начиная от «золотого» ее века, от Пушкина, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого, вплоть до заканчивающих «серебряный» век Блока, Сологуба, Белого, Ремизова. Москва в окуляр большой литературы попадала изредка и как-то случайно <...> Так весь XIX век рос и строился Петербург в литературе — и строилась в Петербурге русская литература».³³

«Петербургский текст» «с того берега» продолжил традицию русской литературы XIX — начала XX вв., воссоздавая единый — прекрасный и одновременно трагический — образ города. Для многих мемуаристов-петербуржцев город неразрывно связан с именем Пушкина. «Как известно, в культурном сознании начала XX века — «Серебряного века» — сложилось представление о соотношенности современной культуры с началом XIX века — «Золотым веком», или пушкинской эпохой, и с традицией самого Пушкина, — говорит И. Паперно и убедительно демонстрирует в своей работе как «это представление нашло выражение не только в сфере поэзии, но и в сфере «жизни» — поведения и биографии деятеля культуры».³⁴ Б. Гаспаров также отмечает, что в 1920-х годах «в творческом сознании на первый план выступило сходство современной эпохи с началом XIX века <...> формируется образ нового начала».³⁵

Напомним также об обострившемся в начале XX в. в искусстве и литературе интересе к мифу. Особая «мифологизирующая аура» образовалась вокруг пушкинской «петербургской повести». По наблюдению Р. Тименчика, «в эпоху экспансии символизма «Медный всадник» — и

поэма Пушкина и монумент Фальконе, в образ которого неизбежно был инкорпорирован пушкинский сюжет, — воспринимался под знаком «мифа».³⁶ Не случайно «под знаком» Пушкина предстает на страницах воспоминаний «классический» Петербург. Интенсивная и разностилевая (эклектика, модерн) застройка города в начале XX в., искажившая «строгий вид» Петербурга,³⁷ не только отвергается мемуаристами, но и вызывает у них чувство «причастности к этой вине».³⁸

Символизм возродил романтический принцип «жизнетворчества», породивший «коллективные устремления к мифизации обыденного бытия, человеческих отношений, художественной деятельности»³⁷ «В этой атмосфере в культурном сознании выработалась особая система многослойных «соответствий» — приравнивания современных реалий реалиям иных эпох, — пишет И. Паперно, — данное явление получило выражение не только в сфере биографии, но и в сфере общей «культурной топографии». Так, существовало приравнивание современного Петербурга — и пушкинскому Петербургу, и Александрии (или, шире, Египту). Большую роль здесь сыграли тексты Пушкина, связанные с образом Клеопатры, в которых происходит взаимная проекция Петербурга и Египта / Александрии <...> В культуре Серебряного века эти ассоциации получают дальнейшее развитие; в связи с идеей конца («умирания») петербургской культуры возникает образ Петербурга как египетского города мертвых — некрополя».⁴⁰

«Миф» о «классическом» Петербурге, очертания которого проявляются в ряде мемуаров не только на тематическом, но и на стилистическом уровне, получил свое завершение в «петербургском тексте» с «того берега».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Мир искусства. — 1902. — N 1. — С. 2–3.
- 2 Лукомский Г. К. Старый Петербург. — Пг., <1918>. — С. 27.
- 3 Лукомский Г. К. Указ. соч. — С. 28; Рославлев М. И. «Старый Петербург» — «Новый Ленинград». — Л., 1925. — С. 95.

- 4 Лукомский Г. К. Современный Петербург. — Пг., 1917. — С. 32.
- 5 Андиферов Н. П. Душа Петербурга. — Пб., 1922. — С. 155, 160.
- 6 См.: Конечный А. М. К истории Гуманитарного отдела Петроградского научно-исследовательского экскурсионного института (1921–1924 гг.) // Этнография Петербурга — Ленинграда. — СПб., 1994. — Вып. 3. — С. 50–63.
- 7 Обзор петербургской темы в литературе советского периода приведен в книге: Филиппов Б. Ленинградский Петербург в русской поэзии и прозе. — La Presse Libre, 1974.
- 8 См.: Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение в тему) // Семиотика города и городской культуры: Петербург: Тр. по знаковым системам XVIII. — Тарту, 1984. — С. 4–29.
- 9 Список эмигрантов из России приведен в кн.: Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. 2-е изд. — Paris, 1984. — С. 16–19. См. также: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин: 1921–1923. — Paris, 1983.
- 10 Маковский С. Портреты современников. — Нью-Йорк, 1955. — С. 75.
- 11 См., например, библиографии зарубежной литературы: Bibliography of Russian emigre literature 1918–1968 / Comp. by L. A. Foster. — Boston, 1970. — Vol. 1, 2; L'emigration russe: Revues et recueils. 1920–1980: Index des articles. Paris, 1988 (25260 наименований); Алексеев А. Д. Литература русского зарубежья: Книги 1917–1940. — СПб., 1993 (2601 наименований); Russian Emigre Literature: A Bibliography of Titles Held by The University of California, Berkeley Library / Comp. by A. Urbanic. — Berkeley, 1993 (4811 наименований). См. также: Литература русского зарубежья: 1920–1940. — М., 1993. Не претендуя на полноту, приводим в Приложении библиографию «Петербург — Петроград в воспоминаниях эмигрантов «первой волны».
- 12 Бенуа А. Мои воспоминания. — М., 1980. — Кн. I–III. — С. 183.
- 13 Набоков В. Другие берега. — Л., 1991. — С. 29, 171.
- 14 Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. — Paris, 1988. — С. 11–12, 16.
- 15 Маковский С. Указ. соч. — С. 404.
- 16 Там же. — С. 403–404, 409.
- 17 Анненков Ю. Дневник моих встреч: Цикл трагедий. — Л., 1991. — Т. 2. — С. 180.
- 18 Набоков В. Указ. соч. — С. 162–163.
- 19 Слова Н. В. Гоголя (Мертвые души. Т. I. — Глава XI).

- 20 Бенуа А. Мои воспоминания. — Кн. I—III. — С. 11—12.
- 21 Добужинский М. В. Воспоминания. — М., 1987. — С. 22—23.
- 22 Маковский С. Указ. соч. — С. 68.
- 23 Там же. — С. 75.
- 24 Оболенский В. А. Указ. соч. — С. 16.
- 25 Иванов Г. Петербургские зимы. — Нью-Йорк, 1952; Иванов Ф. Старому Петербургу (Что вспомнилось) // Жизнь. — Берлин, 1920. — N 9. О «Бродячей собаке» и «Привале комедиантов» см. также: Адамович Г. Рукопись // Последние новости. — Париж, 1934. — 26 июля; Аш. <Шайкевич А. Е.> Петербургские катакомбы // Театр. — Берлин, 1922. — N 14; Бутковская А. «Бродячая собака» // Возрождение. — Париж, 1962. — N 130; Волконский С. Последний день: Роман-хроника. — Берлин, 1925; Темирязов Б. <Анненков Ю.> Повесть о путях. — Берлин, 1934.
- 26 См.: Волошина М. (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея: История одной жизни. — М., 1993; Герцык Е. Воспоминания. — Paris, 1973; Добужинский М. В. Указ. соч.; Иванов Г. Указ. соч.; Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. — Paris, 1990; Маковский С. Указ. соч.
- 27 Емельянченко И. Бездомные: Из жизни в петербургских трущобах. — Нью-Йорк, 1919.
- 28 Плещеев А. А. Мое время. — Париж, 1939; Плещеев А. А. Под сенью кулис... — Париж, 1936; Плещеев А. А. Что вспомнилось. За 50 лет: Театральные воспоминания. — Париж, 1931.
- 29 Дризен Н. В. Прогулки по Санкт-Петербургу (Из воспоминаний старожила) // Возрождение. — Париж, 1925. — 13 и 20 июля, 3 и 17 авг.; Дризен Н. В. Санкт-Петербург: Из воспоминаний старожила // Возрождение. — 1925. — 17 и 24 авг.; Дризен Н. В. Светский Петербург: Из воспоминаний старожила // Возрождение. — 1925. — 24 февр.
- 30 Гиппиус З. Живые лица. — Прага, 1925; Герцык Е. Указ. соч.; Анненков Ю. Указ. соч. См. также: Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». — Мюнхен, 1962; Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. — Paris, 1976.
- 31 Одоевцева И. На берегах Невы. — Вашингтон, 1967; Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. — New-York, 1983; Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. — Нью-Йорк, 1954.
- 32 Одеструкции города писали: Богданов Е. <Федотов Г. П.> Три столицы // Версты. — Париж, 1926. — N 1. — С. 148, 150; Добужинский М. В. Указ. соч. — С. 23; Иванов Г. В.

- Закат над Петербургом // Возрождение. — 1953. — N 27; Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. — С. 399–400, и др.
- 33 Замятин Е. Москва — Петербург // Новый журнал. — Нью-Йорк, 1963. — N 72. — С. 116, 126. Ср.: «Старая Москва не могла художественно осмыслить свое призвание» (Богданов Е. Три столицы. — С. 158).
- 34 Паперно И. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Cultural Mythologies of Russian Modernism. — University of California Press, 1992. — P. 19.
- 35 Гаспаров Б. Тридцатые годы — железный век // Ibid. — P. 151–152.
- 36 Тименчик Р. Д. «Медный всадник» в литературном сознании начала XX века // Проблемы пушкиноведения. — Рига, 1983. — С. 82–83. Ср.: «"Медный всадник" Пушкина передает как никакое другое произведение поэта или писателя красоту Петербурга» (Лукомский Г. К. Санкт-Петербург: Исторический очерк архитектуры и развития города. — Мюнхен, 1923. — С. 23).
- 37 «Хаос самый безвкусный царит в отношении формирования общего вида столицы, — говорит Г. К. Лукомский в своем обзоре строительства начала XX в., — современные постройки-модерн всегда будут резко выделяться в Петербурге, напоминая собою потомкам о нашей безвкусной эпохе» (Лукомский Г. К. Современный Петербург. — С. 12, 34).
- 38 «Из-за выгоды позволили отцы города застроить доходными домами всю набережную между павильонами, загородив невский фасад Адмиралтейства, исключительный по красоте, испортив и обесмыслив это творение Захарова, кусок подлинного Санкт-Петербурга. И живя в одном из этих новых домов, помню еще в юности, мы чувствовали какую-то тень причастности к этой вине» (Маковский С. Портреты современников. — С. 71).
- 39 Лавров А. В. Мифотворчество «аргонатов» // Миф — фольклор — литература. — Л., 1978. — С. 137. См. также: Ходасевич В. Ф. Некрополь. — С. 8.
- 40 Паперно И. Ibid. — P. 39. «Петрополь — превращается в Некрополь» (Анциферов Н. П. Душа Петербурга. — С. 224).

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Петербург — Петроград в воспоминаниях
эмигрантов «первой волны»**

- Адамович Г. В. Комментарии. — Вашингтон, 1967.
- Адамович Г. В. Рукопись // Последние новости. — Париж, 1934. — 26 июля.
- Айхенвальд Ю. И. Дай оглянусь // Сегодня. — Рига, 1923. — N 226, 261, 271, 279.
- Александр Михайлович (Великий князь). Книга воспоминаний. — Париж, 1933.
- Алексинская Т. И. Русские художники-эмигранты (Русская эмиграция 1920—1939 годов) // Возрождение: Литературно-политическая тетради. — Париж, 1958. — N 76.
- Альманах «Революция в Петрограде»: Впечатления, рассказы, очерки, стихотворения. — Пг., 1917.
- Амфитеатров А. В. Горестные заметки: Очерки красного Петрограда. — Берлин, 1922.
- Андоленко С. П. Тени прошлого: Преображенцы александровских времен // Возрождение. — 1967. — N 182.
- Анненков Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий: В 2 т. — Международное литературное сотрудничество, 1966. (Л., 1991).
- Аш. <Шайкевич А. Е.> Петербургские катакомбы // Театр. — Берлин, 1922. — N 14.
- Барятинский В. В. Догоревшие огни. — Париж, 1934.
- Башилов Б. Массонские и интеллигентские мифы о петербургском периоде русской истории. — Villa Ballester (Argentina), 1957.
- Бебутова О. М. Под властью сердца (Опять «Бриллианты»!): Роман из жизни опереточных артистов дореволюционного Петрограда. — Рига, 1932. — Кн. 1—2.
- Белобородов А. Я. В Академии Художеств // Новый журнал. — New York, 1963. — N 73.
- Белобородов А. Я. Работа во дворце князя Ф. Юсупова // Новый журнал. — 1962. — N 70.
- Беннигсен Э. Первые дни революции 1917 года // Возрождение. — 1954. — N 33.
- Бенуа А. Н. Александр Яковлев // Русские записки. — Париж, 1938. — N 6.
- Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 5 кн. — М., 1980 (впервые, частично: London, 1960—1964).

- Берберова Н. Н. Из петербургских воспоминаний // Опыты. — Нью-Йорк, 1953. — N 1.
- Берберова Н. Н. Курсив мой: Автобиография. — München, 1972 (2-е изд., исправ. и доп.: New York, 1983).
- Богданов Е. <Федотов Г. П.> Три столицы // Версты. — Париж, 1926. — N 1.
- Бразоль А. Николаевское Кавалерийское училище // Новый журнал. — 1975. — N 120.
- Будберг А. П. Дневник. — <Берлин, 1924>.
- Будберг А. П. Дневник 1917–1918 // Архив русской революции. — Берлин, 1923. — N 12; 1924. — N 13–15.
- Булгаков В. Ф. Революция на автомобилях (Петроград в феврале 1917 г.) // На чужой стороне: Историко-литературный сб. — Берлин; Прага, 1924. — N 6.
- Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. — Париж, 1946.
- Бунин И. А. Воспоминания. — Париж, 1950.
- Бунин И. А. Окаянные дни. — London (Канада), 1982.
- Бурлюк Д. Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. — Письма. — Стихотворения. — СПб., 1994.
- Бутковская А. «Бродячая собака» // Возрождение. — 1962. — N 130.
- Валентинов <Вольский> Н. В. Два года с символистами. — Stanford, 1969.
- Васильев В. Стопятидесятилетие Императорского Александровского Лицея // Современник. — Торонто, 1961. — N 4.
- Вейдле В. В. Зимнее солнце: Из ранних воспоминаний. — Вашингтон, 1976.
- Вейдле В. В. Мир искусства // Звено. — Париж, 1927. — N 1.
- Вейдле В. В. Петербургские открытки. — Возвращение на родину // Воздушные пути. — Нью-Йорк, 1963. — N 3.
- Вейдле В. В. Петербургские пророчества // Современные записки. — Париж, 1939. — N 69.
- Верещагин В. А. В Мраморном Дворце: Великий Князь Гавриил Константинович // Возрождение. — 1955. — N 42.
- Верин <Башкиров> Б. Петроград // Возрождение. — 1956. — N 54.
- Вернадский Г. В. Из воспоминаний // Новый журнал. — 1970. — N 100.
- Вертинский А. Н. Записки русского Пьеро. — Нью-Йорк, 1982.
- Волков-Муромцев Н. В. Юность от Вязьмы до Феодосии: Воспоминания. — Париж, 1983 (о Петербурге: С. 31–37, 54–59).
- Волконская С. А. Горе побежденным — *vae victis*: Воспоминания. — Paris, 1934.

- Волконский С. М. Быт и бытие: Из прошлого, настоящего, вечного. — Берлин, 1924.
- Волконский С. М. Васильевский остров // Современные записки. — 1926. — N 29.
- Волконский С. М. Мои воспоминания. — Берлин, 1923. — Т. 1: Родина. 1860—1922; Т. 2.: Лавры. — Странствия.
- Волконский С. М. Последний день: Роман-хроника. — Берлин, 1925.
- Волошина (Сабашникова) М. В. Зеленая Змея: История одной жизни. — М., 1993.
- Воронов С. Петроград — Вятка в 1919—1920 гг. // Архив русской революции. — 1921. — N 1.
- Врангель Л. С. Воспоминания и стародавние времена. — Вашингтон, 1964.
- Вырубова <Танеева> А. А. Неопубликованные воспоминания // Новый журнал. — 1978. — N 130, 131.
- Гавриил Константинович (Вел. кн.). В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. — Нью-Йорк, 1955.
- Газданов <Гайто> Г. И. Воспоминания // Современные записки. — 1937. — N 64.
- Герцык Е. К. Воспоминания. — Paris, 1973.
- Гиппиус З. Н. Дмитрий Мережковский. — Париж, 1951.
- Гиппиус З. Н. Живые лица. — Прага, 1925. — Т. 1—2.
- Гиппиус З. Н. Петербургские дневники (1914—1919). — <Нью-Йорк>, 1982 (Впервые: Гиппиус З. Синяя книга: Петербургский дневник. 1914—1918. — Белград, 1929).
- <Гиппиус З. Н.> «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус // Звенья: Историч. альманах. — М.; СПб., 1992. — Вып. 2.
- Голлербах Э. Ф. Дары поэтов (Из петербургских впечатлений) // Веретено. — Берлин, 1922. — Кн. 1.
- Голлербах Э. Ф. М. В. Добужинский (К 25-летию художественной деятельности) // Балтийский альманах. — Каунас, 1923. — Вып. 1 (Декабрь).
- Горный Сергей <Оцуп А. А.>. Всякое бывало. — Берлин, 1927.
- Горный Сергей. Вывески: По русской улице // Жар-птица. — Берлин, 1922. — N 9.
- Горный Сергей. Молельня в Питере // Возрождение. — 1926. — N 223 (Пушкинский семинарий С. А. Венгерова и пр.).
- Горный Сергей. На родине // Веретено. — 1922. — Кн. 1.
- Горный Сергей. Санкт-Петербург: (Видения). — Мюнхен, 1925.
- Гофман М. Л. Петербургские воспоминания // Новый журнал. — 1955. — N 43.
- Гречанинов А. Т. Моя жизнь. — <New-York, 1951>.
- Григорьев Б. Д. Расея. — Берлин; Потсдам, 1922.

- Грузенберг О. О. Вчера: Воспоминания. — Париж, 1938.
- Даманская А. Ф. Дом искусств в Петрограде // Народное дело. — Ревель, 1921. — 14 янв.
- Демкин Д. И. Петроградская Городская Дума в первые дни смуты // Русская летопись. — Париж, 1924. — N 6.
- Дерюжинский Г. В. В Академии Художеств // Новый журнал. — 1946. — N 13.
- Дерюжинский Г. В. Воспоминания о Петербурге // Новый журнал. — 1989. — N 176.
- Дистерло Ю. Царский смотр: Мысли и воспоминания // Возрождение. — 1965. — N 163.
- Добужинский М. В. Воспоминания. — Нью-Йорк, 1976 (М., 1987).
- Добужинский М. В. Облик Петербурга // Новоселье. — New York, 1943. — N 2.
- Дризен Н. В. Из записной книжки цензора: Литературные воспоминания // Иллюстрированная Россия. — Париж, 1926. — N 38.
- Дризен Н. В. Политические салоны Петербурга // Возрождение. — 1935. — 15 марта. — N 3572.
- Дризен Н. В. Прогулки по Санкт-Петербургу (Из воспоминаний старожила) // Возрождение. — 1925. — 13 июля. — N 41; 20 июля. — N 48; 3 авг. — N 62; 17 авг. — N 76.
- Дризен Н. В. Санкт-Петербург: Из воспоминаний старожила // Возрождение. — 1925. — 17 авг. — N 76; 24 авг. — N 83.
- Дризен Н. В. Светский Петербург: Из воспоминаний старожила // Возрождение. — 1925. — 24 авг. — N 83.
- Дризен Н. В. Старый Петербург: Литературные кружки // Возрождение. — 1935. — 15 февр. — N 3544.
- Дризен Н. В. Театральные воспоминания // Иллюстрированная Россия. — 1926. — N 43, 47, 48, 59, 69, 71, 73, 76.
- Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления. Материалы для истории моего времени. — Рига, 1934. — Т. 1 (до 1903 г.); Рига, 1935. — Т. 2 (1903—1922); Рига, 1940. — Т. 3 (1922—1933).
- Евреинов Н. Н. Живопись и театр (С. Судейкин) // Грани. — München, 1958. — N 39; 1959. — N 41.
- Евреинов Н. Н. «Кривое зеркало» в Царском Селе // Возрождение. — 1951. — N 13.
- Евреинов Н. Н. «Кривое зеркало»: Мое знакомство с ним // Возрождение. — 1956. — N 56, 57.
- Евреинов Н. Н. О «Кривом зеркале» // Новый журнал. — 1953. — N 35.
- Еленев Н. А. Мир искусства и его круг // Грани. — 1963. — N 53.

Еленевская И. Э. Воспоминания: Петербург. — Жизнь русской эмиграции в Финляндии и Швеции. — Стокгольм, 1968.

Емельяненко И. Бездомные: Из жизни в петербургских трущобах. — Нью-Йорк, 1919.

Зайцев Б. К. Мои современники. — London, 1988.

Замятин Е. И. Лица. — Нью-Йорк, 1955.

Замятин Е. И. Москва — Петербург // Новый журнал. — 1963. — N 72.

Зритель. В Петрограде. — Москва. — В провинции // Воля России. — 1923. — N 15.

Зубов В. П. Институт истории искусств // Мосты. — Мюнхен, 1963. — N 10.

Зубов В. П. Страдные годы России: Воспоминания о революции (1917—1925). — München, 1968.

Зуров Л. Ф. Воспоминания // Новый журнал. — 1961. — N 69.

Иванов Г. В. Из воспоминаний // Иванов Г. В. Собр. соч.: В 3 т. — М., 1994. — Т. 3 (Невский проспект. — «Бродячая собака». — Закат над Петербургом и др.). Иванов Г. В. Закат над Петербургом // Возрождение. — 1953. — N 27 (Согласие. — Москва, 1994. N 2).

Иванов Г. В. Петербургские зимы. — Париж, 1928 (Нью-Йорк, 1952).

Иванов Ф. В. Старому Петербургу (что вспомнилось) // Жизнь. — Берлин, 1920. — N 9.

Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. — Нью-Йорк, 1953.

Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце. — Paris, 1990.

Каменский С. Век минувший: Воспоминания о России, о моей жизни в России. 1883—1921. — Париж, 1958 (Париж, 1967).

Каменский С. Три года: Воспоминания о годах 1918—1920 в Петербурге. — Париж, 1921.

Камышников Л. М. Литературные силуэты (Петербург до революции) // Новоселье. — 1943. — N 2.

Клейгельс А. Мойка 84 // Возрождение. — 1953. — N 26.

Кленовский <Крачковский> Д. И. Поэты Царскосельской гимназии // Новый журнал. — 1952. — N 29.

Кленовский Д. И. Царскосельская гимназия // Новый журнал. — 1957. — N 49.

Крымов В. П. За миллионами (Сидорово учение). — Хорошо жили в Петербурге! — Дьяволенок под столом: Роман — трилогия. — Берлин, 1933 (Быт русской провинции, светского, делового и чиновничьего Петербурга).

Ксюнин А. И. Цыганка: Из петербургских былей // Иллюстрированная Россия. — 1933. — N 423.

- Ларин Г. <Римский-Корсаков Г. М.> Очерки безвременья (Впечатления и воспоминания об эвакуации ученых, журналистов и писателей. Февраль — апрель 1920 г.). — Париж, 1922.
- Ломоносов Ю. Воспоминания о мартовской революции 1917 года. — Stokgolm, 1921.
- Лосский Б. Н. Наша семья в пору лихолетья 1914—1922 годов // Минувшее. — М.; СПб., 1991. — Т. 11; М.; СПб., 1993. — Т. 12.
- Лосский Н. О. Воспоминания: Жизнь и философский путь. — München, 1968 (СПб., 1994).
- Лукомский Г. К. Воспоминания о русских усадьбах // Сполохи. — Берлин, 1922. — N 10; 1923. — N 4.
- Лукомский Г. К. Старые годы. — Берлин, 1923. — Т. 1—2.
- Лурье А. С. Чешуя в неводе (Памяти М.А.Кузмина) // Воздушные пути. — 1961. — N 2.
- Маклаков В. А. Из воспоминаний. — Нью-Йорк, 1954.
- Маковский С. К. На Парнасе «Серебряного века». — München, 1962.
- Маковский С. К. Портреты современников. — Нью-Йорк, 1955.
- Маковский С. К. Силуэты русских художников. — Прага, 1922.
- Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. — Париж, 1964.
- Милюков П. Н. Воспоминания. 1859—1917. — Нью-Йорк, 1955.
- Минцлов С. Р. Далекие дни: Воспоминания. — 1870—1890 гг. — Берлин, <1925>.
- Минцлов С. Р. Петербург в 1903—1910 годах: Дневник. — Рига, 1931.
- Минцлов С. Р. Петербургский дневник // На чужой стороне: Историко-литературный сб. — Берлин; Прага, 1924. — N 8; 1925. — N 9, 10.
- Могиланский Н. М. На рубеже столетий: Из воспоминаний о Петербурге конца XIX и начала XX века // Голос минувшего на чужой стороне. — Париж, 1926. — N 4.
- Мякотин В. А. Из недалекого прошлого // На чужой стороне. — Берлин; Прага, 1923. — N 2, 3; 1924. — N 5, 6; 1925. — N 9, 11, 13.
- Набоков В. В. Воспоминания // Опыты. — 1954. — N 3.
- Набоков В. В. Другие берега. — Нью-Йорк, 1954.
- Набоков В. В. Петербургская гимназия сорок лет тому назад (Страничка воспоминаний) // Молодая Россия. — Берлин, <1923>. — Вып. 1.
- Нагель А. П. На улицах старого Петербурга: Обыденные картины // Возрождение. — 1956. — N 54.
- Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. — Париж, 1988 (сокр. вар.: Очерки минувшего. — Белград, 1931).
- Одоевцева Ирина <Гейнике И. Г.>. На берегах Невы. — Вашингтон, 1967.

- Охотников Ф. Серебряный век // Числа: Сборник. — Париж, 1933. — N 7/8.
- Охотников Ф. Царское Село // Современные записки. — 1926. — N 28.
- Оцуп Н. А. Современники. — Paris, 1961.
- Панина С. В. На Петербургской окраине // Новый журнал. — 1957. — N 48, 49.
- Пильский П. М. Литературные края // Последние известия. — Ревель, 1923. — 12 и 19 февр.
- Плещеев А. А. Мое время. — Париж, 1939.
- Плещеев А. А. Под сенью кулис... Воспоминания. — Париж, 1936.
- Плещеев А. А. Что вспомнилось. За 50 лет: Театральные воспоминания. — Париж, 1931.
- Плотников С. Е. Михайловский инженерный замок: Эпоха Петербурга // Возрождение. — 1956. — N 54.
- Познер С. В. Дела и дни Петрограда. 1917—1921: Воспоминания-размышления. — Берлин, 1923.
- Половцов А. А. Воспоминания // Возрождение. — 1949. — N 2.
- Ремизов А. М. Взвихренная Русь. — Париж, 1927 (London, 1990).
- Ремизов А. М. Встречи: Петербургский буерак. — Paris, 1981.
- Ремизов А. М. Крюк: Память петербургская // Новая русская книга. — Берлин, 1922. — N 1.
- Романов Б. Г. Александринский театр и балетные воспоминания // Новоселье. — 1944. — N 7/8.
- Романов Б. Г. На масленой в Петербурге // Новоселье. — 1943. — N 2.
- Романов Б. Г. Театральное училище // Новоселье. — 1943. — N 3.
- Сазонова <Слонимская> Ю. Л. Новогоднее // Последние новости. — 1938. — 2 янв. — N 6126.
- Сазонова Ю. Л. Слово о Петербурге // Новоселье. — 1943. — N 2.
- Сборник памяти Великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р.: Воспоминания. — Paris, 1962.
- Слоним М. Л. Серапионовы братья // Воля России. — 1922. — N 1.
- Станкевич В. Б. Воспоминания 1914—1919 гг. — Берлин, 1920.
- Старый Петербург: Юбилейный сборник воспоминаний Е. И. В. Великого князя Гавриила Константиновича и др. — Париж, 1953.
- Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. — Нью-Йорк, 1956. — Т. 1—2.
- Степун Ф. А. Встречи. — München, 1962.

Степун Ф. А. Москва и Петербург накануне войны 1914 года // Новый журнал. — 1951. — N 27.

Струве П. Б. Москва и С.-Петербург (Сопоставление, характеристики и размышления) // Записки русской академической группы США. — Нью-Йорк, 1976. — Т. 10.

Темирязов Б. <Анненков Ю. П.> Домик на 5-ой Рождественской // Современные записки. — 1928. — N 37.

Темирязов Б. Повесть о пустяках. — Берлин, 1934.

Терапиано Ю. К. Встречи: Воспоминания и статьи. — Нью-Йорк, 1953.

Терне А. А. Императорский Александровский Лицей // Возрождение. — 1962. — N 121.

Трубецкой Ю. П. Из записных книжек (О петербургских поэтах) // Мосты. — 1959. — N 2.

Тургенева А. А. По поводу Института истории искусств // Мосты. — 1966. — N 12.

Тыркова А. В. Петроградский дневник // Звенья: Историч. альм.. — М.; СПб., 1992. — Вып. 2.

Тыркова-Вильямс А. То, чего больше не будет. — Париж, 1954.

Тэффи Н. А. Воспоминания. — Париж, 1931 (Париж, 1980).

Ходасевич В. Ф. Белый коридор. — Воспоминания. — Серебряный век. — Нью-Йорк, 1982.

Ходасевич В. Ф. Литературные статьи и воспоминания. — Нью-Йорк, 1954.

Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. — Bruxelles, 1939 (Paris, 1976).

Шайкевич А. А. Петербургская богема (М. А. Кузмин) // Орион: Литературный альм. — Париж, 1947.

Шульгин В. В. Три столицы: Путешествие в красную Россию. — Берлин, <1927> (М., 1991).

Элькан Анна. «Дом искусств» // Мосты. — 1960. — N 5.

О СМЕЩЕНИИ ГРАНИЦ В ЛИТЕРАТУРЕ ПОСЛЕ 1917 г. (ФИЛОЛОГИЯ, ПОЭТИКА, НАЦИЯ)

ГРЕТА Н. СЛОБИН

При изучении истории русской литературы пореволюционного периода, когда осознание «кризиса» и боязнь за будущее связывали писателей метрополии и диаспоры, нельзя не вспомнить одного из крупнейших немецких филологов XX в., Эриха Ауэрбаха. Судьба и творчество этого ученого тесно связаны с историей Европы — он писал свой известный труд «Мимесис» во время 2-ой мировой войны с 1942 по 1945 гг. в изгнании, в Стамбуле.¹ В этой книге, написанной вдалеке от библиотек, в городе, находящемся на скрещении путей Запада и Востока, Ауэрбах, знаток поэзии европейского Средневековья и Данте, исследует традицию повествовательной прозы Западной Европы. Он рассматривает связь этой традиции с переходом от религиозного к секулярному, историческому мировоззрению по известным памятникам европейской культуры, начиная от «Одиссеи» и Библии до наших дней (Вирджиния Вульф).² В страшные годы насилия в истории любимой им Европы и истребления его народа (евреев) Ауэрбах настаивал на правде филологии, любви к слову. Он верил в способность культуры пережить взрывы цивилизации и ее инстинкт саморазрушения.

В одной из последних статей, напечатанной в 1952 г., «*Philologia und Weltliteratur*», Ауэрбах поясняет термин «всемирная литература»: Гете использовал его после 1827 г. в значении «универсальной литературы», выражающей **Humanität**, как ее высшую цель. Это понятие относится не столько к памятникам литературы, сколько ко всей всемирной литературе, созданной человечеством, которая превосходит границы национальных литератур, не посягая на их индивидуальность. В конце XVIII — начале XIX вв. в Германии появляется течение Гердера,

братьев Гримм и Шлегеля, которое вводит в практику филологию — историческое изучение словесного творчества. В середине XX в. Ауэрбаха волнует а-историзм послевоенной культуры, и он настаивает на том, что «только в истории мы можем остаться самими собой и продолжать наше развитие: **задача и цель филолога** заключаются в том, чтобы показать это так, чтобы это сознание неизбежно проникло в нашу жизнь».³ Ауэрбах заключает: «Во всяком случае, наш филологический дом — это земля, нация. Самым бесценным и необходимым наследием филолога являются все-таки язык и культура его нации».⁴

Заключение этой статьи, написанной после 2-ой мировой войны, не поразит русского читателя своей новизной. Размышления о судьбах национальной культуры и языка занимают русских писателей в России и за рубежом на протяжении 20–30-х гг. Здесь невозможно не заметить совпадения идей Ауэрбаха с ранними высказываниями Осипа Мандельштама. Это единомыслие не удивительно — Мандельштам и Ауэрбах являются наследниками европейской филологической традиции XIX в. В статье 1921 г. «Слово и культура» Мандельштам приходит к выводу, что «отделение культуры от государства — наиболее значительное событие нашей революции». Но, как известно, эта надежда поэта-филолога на независимость культуры нации от государства не была реализована в советской России точно так же, как и в России царской.⁵ Мандельштам с характерной для него остротой отмечает, что на этом раннем этапе революции «социальные различия и классовые противоположности бледнеют перед разделением нынче людей на друзей и врагов слова».⁶ Роль этого принципа «разделения» как изоглоссы (isogloss) в русском литературном сознании после революции является главной темой настоящей работы.

Русский поэт как бы предвосхищает Ауэрбаха в своем эссе «О природе слова», написанном на тридцать лет раньше: «Европа без филологии <...> это — цивилизованная Сахара <...>».⁷ Мандельштам указывает на роль слова в русской культуре в противовес Чаадаеву, который «утверждая <...>, что у России нет истории, <...> упустил одно обстоятельство — именно: язык». Далее следует фраза, ставшая афоризмом: «<...> язык не только — дверь в историю, но и сама история».⁸ Здесь же Мандельштам выражает тревогу поэта-филолога, который понимает и опасность, грозящую слову в настоящий исто-

рический момент, и свое назначение: «Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории».⁹

В борьбе за язык и культурную традицию в период потери истории и государства разыгрывается драма, в которой участвуют поэты, писатели и критики по обе стороны границы советского государства. Вопрос: «Едина ли русская литература?», открывающий статью Мандельштама «О природе слова», касается связи современной литературы с ее прошлым, но он также актуален по отношению к литературе метрополии и диаспоры. В обоих случаях ответ на вопрос: «чем именно определяется ее единство, каков ее принцип и каков критерий этого единства?» — один: отношение к языку.

Сознание тождества языка и истории в национальной культуре разделяли те современники Мандельштама, которые вместе с ним являлись наследниками поэтической и филологической традиции прошлого века. Это сознание приобретает особую остроту после революции 1917 г. в России, и в последующие годы становится центром полемики в литературе эмиграции. В эссе 1932 г. «Поэт и время» Марина Цветаева лаконично заявляет: «<...> из истории не выскочишь».¹⁰ В своих дневниках и записях первых лет революции, собранных под названием «Земные приметы», она бросает поэтический вызов истории и политике: «Я неистощимый источник ересей».¹¹ В эти же годы Ремизов работает над «Временником» революции (опубликованным под заглавием «Взвихренная Русь», 1927) и, одновременно, «по обрывкам документов» пишет «Россию в письменах», «воссоздавая старую Россию», без которой он не может осознать ее настоящее.¹²

После 1917 г., когда прерывается история русской империи, культуре нации угрожают политический раскол, распад и рассеяние народа и его поэтов, носителей Логоса. Борьба за русскую культуру идет в Советской России и в эмиграции — в Праге, Берлине, Париже. В начале 20-х гг. советская и зарубежная Россия еще связаны группировками, издательствами, а также визитами советских писателей за границу, поэтому «даты возникновения «русской зарубежной литературы» и «эмигрантской литературы» не идентичны».¹³ Разграничение метрополии и диаспоры в 1925 г. сопровождается обострением полемики о литературе во второй половине 20-х гг. Сознание опасности,

грозящей языку, приобретает особую остроту в России, где история как бы предъявляет требования языку, тогда как в литературе эмиграции история оказывается ответственной перед языком.

Особое значение приобретает роль критика — посредника в сложной цепи революция/язык/нация. Интересно заметить, что к середине 20-х гг. осознание «кризиса» становится главным рычагом литературной полемики по обе стороны границы. В советском контексте это «кризисное» сознание признается критиками различных убеждений. В своей статье 1924 г. «В ожидании литературы» Борис Эйхенбаум как бы ставит диагноз кризиса: «У нас есть какая-то литература, но никто ее не читает. Есть, кажется, и читатель, но литература просто не может его найти, а что касается критики, у нас ее просто нет».¹⁴ Юрий Тынянов продолжает дискуссию в статье «Журнал, критик, читатель и писатель», в которой он констатирует, что «Читатель стал очень сложным, почти неуловимым», «Литература бьется сейчас, пытаясь <...> нащупать новый жанр». В этих условиях «Критика должна осознать себя литературным жанром, прежде всего».¹⁵

Но если сравнительная независимость литературной критики от политики была еще возможна в середине 20-х гг., то к концу первого советского десятилетия в книге «Формальный метод в литературоведении», напечатанной в 1928 г., Павел Медведев заключает следующее: «<...> марксистская критика <...> отклонилась от встречи с формализмом на настоящей территории, на территории проблем спецификации и конструктивного значения».¹⁶ Эйхенбаум подводит итог дискуссии о кризисе 20-х гг. в статье «Литературный быт», где он настаивает на том, что «социальный заказ не всегда совпадает с литературным, а классовая борьба с литературной борьбой».¹⁷

В то время, когда в послереволюционной России идет поиск «красного Толстого» и критики-марксисты, такие как Г. Горбачев, произносят далеко не литературные приговоры: «Пильняк, глядя на революцию, становится слеп на левый глаз»,¹⁸ — в Париже проявляется культ Льва Толстого и Пушкина. Ревнители русской словесности в эмиграции, в эпоху потери государственности, становятся на стражу культурных ценностей и литературной традиции, отвергнутых большевиками, и видят свой долг в борьбе за охрану канона классической русской литературы, ста-

новящейся для них одним из главных символов нации. Это почти сакральное отношение эмигрантов к русской культуре выражает Дмитрий Мережковский в речи на заседании парижского литературного общества «Зеленая Лампа» (1927—1939): «Русская литература — наше священное писание, наша Библия — не книги, а Книги, не слова, а Слово. Логос народного духа. Слово есть дело. "Вначале было Слово"». ¹⁹

Эта категорическая формулировка «кризиса» русской культуры у таких представителей русского модернизма, как Мережковский и Гиппиус, выражает **angst** всей консервативной эмиграции. Хотя, как пишет современный ученый М. Раев, отношение эмигрантов как к самому модернизму и Серебряному Веку, так и к анархизму было амбивалентным. ²⁰

По отношению к главным вопросам времени — едины ли русская литература и где именно представляются возможности для ее дальнейшего развития — эмигрантские журналы занимают различные позиции. Более свободомыслящие критики выражают опасение, что «консерваторы» русской традиции сами слепнут не только на «левый глаз», но и на литературный процесс и его законы, где неизбежна борьба «архаистов и новаторов». В статье «Там или здесь», вышедшей в парижской газете «Дни» (1925. — 25 сент. — N 804), Владислав Ходасевич критикует эмигрантское отрицание советской литературы по политическим соображениям: «<...> как за РКП не видят они России, так за большевистской накипью не хотят видеть русской литературы». Рассматривая различные трудности в условиях развития литературы в Советской России и в диаспоре, Ходасевич находит, что «она тяжело болеет и там и здесь, хотя проявления болезни различны». Несмотря на свое заключение, что «литература русская расчленена на двое», Ходасевич выражает надежду, что «Бог даст — обе выживут». ²¹ Его усилия занять сравнительно уравновешенную позицию тем более замечательны, что в марте того же года окончательно распался журнал «Беседа» (1923—1925), в редакции которого состояли Ходасевич и Максим Горький, а с ним — и последняя надежда на литературное сотрудничество писателей Советской России и эмиграции. ²²

Журнал «Благонамеренный», вышедший в Бельгии в двух номерах в 1926 г., также считал необходимым от-

стаивать независимость литературы от политики. В статье «О нынешнем состоянии русской литературы» в первом номере журнала Д. Святополк-Мирский прямо заявляет: «Но «Благонамеренный», мне кажется, для того и выходит в свет, чтобы отстаивать право литературной критики судить по литературным признакам».²³ В более резкой форме, чем Ходасевич, Мирский бросает вызов критикам в России и эмиграции: «Подходить к литературе с политическими мерками, как подходят к ней «Русское время», «Возрождение», «Красная новь», «Звезда» и Зинаида Николаевна Гиппиус, конечно, просто бессмысленно и даже вовсе не литературно бессмысленно, а, прежде всего, политически бессмысленно».²⁴

Полемика обостряется после появления в 1926 г. евразийского журнала «Версты» под редакцией кн. Д. Святополк-Мирского. В своей рецензии на выход журнала В. Ходасевич резко критикует просоветскую позицию Мирского. Он пишет, что если раньше евразийцы пытались перенести «русскую проблему из области политики в область культуры» (см. «Скифы», «Инония»), то теперь они стараются показать, «сколь благоприятны политические условия СССР для развития и процветания талантов».²⁵ Здесь Ходасевич ставит под вопрос не только критическое отношение Мирского к литературной деятельности эмиграции, но и справедливость его позиции, близкой к отнюдь не объективной точке зрения левых советских критиков, равно как и его готовность игнорировать «невыносимые страдания писателей и интеллигенции в Советской России».

Литературный консерватизм и политический национализм эмиграции вызывают скептические высказывания Мирского и Слонима о возможности литературного процесса в диаспоре, и, напротив, оптимистические — относительно его динамики в России. В своей книге «Русская литература в изгнании» Глеб Струве пишет о предпочтении Слонимом всего советского — эмигрантскому: «Слоним не раз нападал на эмигрантскую критику как таковую, обвиняя ее в кумовстве, в отсутствии метода, в полном и сознательном пренебрежении к советской литературе <...>».²⁶ Однако Святополк-Мирский считал, что пражский журнал «Воля России» (1922—1932), редактируемый Слонимом, — самый живой и свободный из эмигрантских журналов.

В своей статье «О нынешнем состоянии русской литературы» в первом номере журнала «Благонамеренный» Мирский писал, что «русская литература находит больше радости в жизни после Революции, чем находила до Революции». ²⁷ А в 1928 г. Марк Слоним выразил пессимизм и раздражение, утверждая, что «эмигрантской литературы как целого, живущего собственной жизнью, органически растущего и развивающегося, творящего свой стиль, создающего свои школы и направления, отличающиеся формальным идейным своеобразием — такой литературы у нас нет. Хорошо это или дурно, но это неопровержимый факт, и что бы ни говорили Кнуты, Париж остается не столицей, а уездом русской литературы». ²⁸

Роль критика в литературной жизни эмиграции становится все более сложной во второй половине 20-х гг. Глеб Струве указывает на выход «Благонамеренного» как на начало серьезных критических дискуссий в эмиграции, одной из которых явилась полемика Г. Адамовича с Ходасевичем в 1926—1928 гг. В своей биографии Ходасевича Давид Бетеа подтверждает значение этой полемики в литературе русской эмиграции междувоенного периода. ²⁹ Для Ходасевича самое важное — это поэтическое мастерство и место поэта в традиции, Адамович же считает, что для молодого писателя важнее всего оригинальность и независимость. ³⁰ В одной из своих рецензий на поэзию Ходасевича Адамович утверждает, что самое главное — что, а не как пишут молодые поэты. ³¹

Проблемы поэтического мастерства и преемственности поэтической культуры продолжали волновать Ходасевича, как и Мандельштама в начале 20-х гг. ³² Позиция Ходасевича остается независимой как от левой эмиграции, так и от консерваторов. Один из самых ярких примеров этой полемики — публикация Святополка-Мирского «О консерватизме. Диалог» во втором номере журнала «Благонамеренный»:

«— Скажите, следует ли русскому человеку, любящему отечественную культуру, быть в наши дни литературным и культурным консерватором?

— Нет, не следует.

— Почему?

— Потому что нечего сохранять». ³³

Для Мирского важен литературный процесс с его непрестанной динамикой: «Реставрации не бывает, ни в политике, ни в культуре»; «Искусство — создание новых ценностей». ³⁴ Это высказывание близко к позиции русского авангарда и критике формалистов.

Острые перемены, происходившие в политическом положении России в конце 20-х — начале 30-х гг., и провозглашение соцреализма единственным методом советского искусства знаменуют эпоху сталинизма, когда «советская литература объявляет себя монопольным хранителем национальных классических традиций». ³⁵ Этот советский «классицизм», парадоксально близкий к эмигрантскому консерватизму, возвещает конец авангарда в Советском Союзе. Мрачное сознание трагической судьбы русской литературы, которая теперь действительно «разделена надвое», а также чувство ответственности за ее будущее пронизывают блестящую статью Ходасевича 1933 г. «Литература в изгнании».

Как Мирский и Слоним в 20-е гг., Ходасевич отвергает консерватизм эмиграции, который для него равнозначен «равнодушию к общему ходу литературы». Несмотря на то, что еще в России, в ранние годы революции, Ходасевич относился к формалистам критически, в его подходе к истории литературы есть много общего с ними. ³⁶ В своей статье «Литература в изгнании» Ходасевич поддерживает формалистскую теорию динамики литературного процесса: «Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления». ³⁷ Как поэт и критик Ходасевич настаивал на значении преемственности в литературе, но в отличие от консерваторов он пишет: «<... > нельзя учиться у людей, смотрящих лишь на прошлое и решительно не интересующихся теоретическими вопросами литературы». ^{37а}

Здесь же Ходасевич выдвигает проблему, которая станет одной из главных тем литературной критики в конце XX в. на Западе и в странах бывшего Советского Союза, — тему диаспоры: «История знает ряд случаев, когда именно в эмиграциях создавались произведения, не только прекрасные сами по себе, но и послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур». ^{37б} В своих примерах он ссылается на «Божественную комедию» Данте как на «величайшее создание мировой литературы», а также на новую еврейскую поэзию начала века. Сюда Хо-

дасевич мог бы включить и своего современника Джеймса Джойса, писавшего вдалеке от родной Ирландии шедевр современной прозы «Улисс», герой которого, Стефан Дедалюс, пробует «проснуться от кошмара истории».

В «Литературе в изгнании» Ходасевич выражает мысль, близкую к идее Ауэрбаха, приведенной в начале нашей работы: «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным».^{37с} Именно это сознание служило залогом продолжения и единства русской литературы, на которые Ходасевич выразил надежду в вышеупомянутой статье 1925 г. «Там или здесь».

Как специалист по Данте и автор книги «Данте, поэт секулярного мира», опубликованной в 1929 г., Ауэрбах глубоко осознал значение национального языка в литературной традиции, особенно в диаспоре. Одно из самых замечательных высказываний на эту тему в истории русской литературной диаспоры содержится в рецензии Ходасевича на поэму Цветаевой «Молодец», написанную в 1925 г. и посвященную Борису Пастернаку. Рецензия, напечатанная в парижской газете «Последние новости» 11 июня того же года, свидетельствует не только о высокой оценке произведения, но и выражает взгляды Ходасевича на возможности литературного творчества в эмиграции.³⁸ О том, насколько программна эта рецензия, свидетельствуют ее темы: преемственность (связь поэмы с пушкинской традицией литературной сказки); память слова (язык русского фольклора); творческие возможности в эмиграции. Ходасевич напоминает читателю, что литературная традиция народной сказки соблюдала пушкинскую «дозировку», в которой литературный стиль преобладал перед народным. С точки зрения критика, Цветаева «нарушает традицию» и «изменяет пушкинскую "дозировку"», т. к. в ее поэме «народный стиль резко преобладает над книжным: отношение «народности» к «литературности» дано в обратной пропорции».

Ходасевич посвящает особое внимание словесному мастерству Цветаевой: «<...> сказка представляет собой настоящую россыпь словесных и звуковых богатств.

Конечно, никакая попытка воссоздать лад народной песни невозможна без больших знаний и верного чутья в области языка. Цветаева выходит победительницей и в этом. Ее словарь и богат и цветет, и обращается она с ним

мастерски. Разнообразие, порой редкостность ее словаря таковы, что **при забвении русского языка**, которое ныне обще и эмиграции и советской России, можно, пожалуй, опасаться, как бы иные места в ее сказке не оказались для некоторых непонятностями и там, и здесь».

В заключении рецензии автор подчеркивает, что оригинальность и новаторство «Молодца» не только продолжают традицию русского авангарда, но также служат доказательством творческих возможностей поэзии в эмиграции: «Восхваление внутри советской литературы и уверения в мертвенности литературы зарубежной стали признаками хорошего тона и эмигрантского шика. Восхитительная сказка М. Цветаевой, конечно, представляет собой явление, по значительности и красоте не имеющее во внутри советской поэзии ничего не только равного, но и хоть могущего по чести сравниться с нею».³⁹

Проблема «русского стиля», роль фольклора в поэтике Цветаевой и ее современника Алексея Ремизова станет точкой преткновения для «консервативной» эмигрантской критики. Это важная часть дискуссии о преемственности литературной и национальной традиции, об осознании ее «языка и духа» в эмиграции. В дарственной надписи на поэме «Молодец», посланной Ремизову, Цветаева замечает, что он также писатель, «прозванный современниками».⁴⁰

Вопрос о поэтическом языке и его внелитературных источниках занимал Цветаеву еще до революции, как это видно из ее сборника 1916 г. «Версты 1», где в стихах о Москве ее героем становится «московский сброд — юродивый, воровской, хлыстовский». Через несколько лет, будучи в эмиграции в Праге, Цветаева писала молодому критику Александру Бахраху 9 июля 1923 г.: «Спасибо сердечное и бесконечное, что не сделали из меня **style russe**, не обманувшись видимостью, что, единственный за последнее время обо мне писавший, удостоили, наконец, внимания, сущность, то, что **вне нации**, то, что над нацией, то, что (ибо все пройдет) — пребудет».⁴¹

Цветаева находит возможность ответить критикам своего **style russe** на страницах «Благонамеренного», где она публикует «Цветник. Звено за 1925 г. "Литературные беседы" Г. Адамовича», который состоит из цитат, выбранных из его статей, с ее острым, ироничным комментарием:

«**Victoria Regina** (О лже-народном искусстве)

«Гой еси», «за лучами за зелеными» было, может быть, очень хорошо у Толстого, но вообще-то это совершенно невыносимо после романов в «Историческом Вестнике», после бояр К. Маковского и Самокиш-Судовской, после всей трескучей фальши подложно-народного искусства (кстати сказать и сейчас еще процветающего: Цветаева, например, посвящает свою сказку Пастернаку в благодарность «за игру твою за ненужную».)

Во-первых:

Эти строки не мои, а взяты мною из былины «Садко и Морской царь»: благодарность Морского царя — Садку. (См. любую хрестоматию).^{41a}

В последнем колком замечании, брошенном Адамовичу, Цветаева указывает именно на опасность «забвения русского языка, которое обще и эмиграции и советской России», о которой предупреждал Ходасевич в своей рецензии на «Молодца».

«Забвение языка» волнует и Алексея Ремизова. В своем комментарии к документу из русского прошлого — «Купчей 1742—1746», из серии «Россия в письменах», он настаивает на необходимости связи с прошлым в языковой памяти: «Чтобы знать свой язык, мало знать, как пишется слово и выговаривается, надо знать, как писалось и выговаривалось. А для этого необходимо ходить по письменным русским векам — читать старинные грамоты и изучать памятники русской литературы. Это и для России, где живут русские люди, и для заграницы, куда попали жить русские люди». Ремизов подчеркивает, что важен «диалог не только из-за границы, но и по заграницей времени», так как «русскому человеку нужно беречь эту "старинную память"». ⁴²

В этом же номере «Благонамеренного» публикуется статья Цветаевой «Поэт о критике», где она продолжает полемику с современниками, указывая на их несправедливость по отношению к себе и Ремизову и в сноске замечает, что эта проблема ожидает будущего историка литературы эмиграции: «Статья, которая еще будет написана. Не мной — так другим. Не сейчас — так через сто лет». ⁴³ О непонимании современниками Цветаевой пишет в своих воспоминаниях Ю. Терапиано: «Несмотря на весь свой поэтический талант и на значительность своей личности, Марина Цветаева в эмиграции пришлось не ко двору. Дело здесь не только в сложности и малодоступно-

сти ее поэзии; как раз в те годы, когда Цветаева жила во Франции, в зарубежной литературе начало утверждаться другое течение, стремившееся к ясности и простоте, отвергшее всякую "левизну" и "заумность".⁴⁴

Высказывания русских поэтов и писателей в изгнании, приведенные выше, звучат как предвестие послевоенных размышлений Эриха Ауэрбаха. В статье «Philologie und Weltliteratur» Ауэрбах заключает: «Самым бесценным, необходимым наследием филолога является язык. Но только когда он (филолог) оторван от этого наследия и переходит за его пределы, только тогда переход за его пределы (*transcendence*) становится по-настоящему действительным». ⁴⁵ (Only when he is separated from its heritage, however, and then transcends it, does it become truly effective.)

В конце XX в. читатель Мандельштама, Цветаевой, Ремизова и их современников безусловно найдет бесчисленные примеры *transcendence*. Вместе с Мандельштамом Марина Цветаева верит, что поэзия независима от государства, что это «третье царство со своими законами». В статье 1932 г. «Искусство при свете совести» Цветаева пишет о поэзии как о кощунстве: «Когда я пишу «Молодца» — любовь упыря к девушке и девушки к упырю — я никакому Богу не служу: знаю, какому Богу служу». Для нее «искусство — искус, может быть самый неодолимый соблазн земли». ⁴⁶ В статье «Поэт и Время» Цветаева продолжает мысль о независимости жизни слова, близкую Ходасевичу и Ауэрбаху: «Россия только *pregel* земной понимаемости, за пределом земной понимаемости России — беспредельная понимаемость не-земли». Россия становится поэтическим символом, и Цветаева цитирует Рильке: «Есть такая страна — Бог, Россия *граничит* с ней, так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России, по России, всю жизнь. С этой страной — Бог, Россия по сей день *граничит*».

Эта идентификация поэта с нацией и ее языком связана с традицией мировой литературы: «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России». ⁴⁷ Для Цветаевой как поэта не существует запретов — ни границ, ни цензуры, ни правил грамматики и синтаксиса. Подобной идее было подчинено и утопическое литературное общество Ремизова — Обезьянья Палата, которая «уничтожила всякие границы, заставы, пропуски и визы — иди куда хочешь,

живи, как знаешь. И как она безгранична, палатка-то, границ не имеет, так и значения, увы! никакого в ограниченном мире». ⁴⁸

Что означает это стремление к неограниченной свободе, которая может быть осуществлена в слове? Развитие русской литературы отличается от европейской, т.к. до нашего времени оно неотъемлемо связано с историей церкви и государства. Несмотря на это, в начале XX в. Манделъштам настаивает на «эллинизме» русского языка, его независимости, указывая на исторические особенности его развития: «Русский язык — язык эллинистический. В силу целого ряда исторических условий, живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи <...> русская культура и история со всех сторон омыты и опоясаны безбрежной стихией русской речи <...>». ⁴⁹

Самое существенное в связи «стихийного русского языка» и древнегреческого — это «принцип внутренней свободы». Манделъштам проводит особую линию преемственности, в которой Россия оказывается подлинной наследницей Древней Греции.

В своих размышлениях о «стихийности русского языка» и его независимости Манделъштам также намечает связь современной русской поэзии с Данте. Новаторская идея великого итальянского поэта о риторике новой поэзии на разговорном итальянском языке, — вместо традиционной латыни, языка церкви и Империи, — представлена в его труде «*De Vulgari Eloquentia*» (ок. 1305 г.), написанном в изгнании, вдали от его любимой Флоренции. Как замечает критик конца XX в., это «один из многих ответов поэта на непрощаемую боль изгнания». ⁵⁰ Данте определяет просторечие как язык, «которому учатся дети от их окружения, когда они начинают выговаривать слова; короче, это язык, которому мы учимся без каких-либо правил, имитируя нянь». ⁵¹ «*De Vulgari Eloquentia*» — это «апология европейской любовной лирики, написанной просторечием», глубина и форма которой способны выразить боль и тоску изгнания. ⁵² По словам современного нам критика, «*De Vulgari Eloquentia*» становится базисным текстом романской филологии, в котором определена роль просторечия в любовной лирике, а также ее национальное значение, не зависимое от авторитета государства и

церкви, от борьбы за власть в истории нации.⁵³ Поэма Цветаевой «Молодец» продолжает эту традицию европейской поэзии в изгнании.

Мандельштам ссылается на Данте в своем призыве к «просторечию» в статье «Заметки о поэзии», первая половина которой вышла в 1923 г. под названием «Vulgata. Заметки о поэзии». Это время ранней революционной эпохи, когда «безбрежной стихии» русского языка угрожает новое государство: «Давайте нам вульгату, не хотим латинской библии».⁵⁴ Примером такой речи для Мандельштама служит язык поэзии Велимира Хлебникова: «Речь Хлебникова до того обмирщена, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии <...>. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за все время существования русской книжной грамоты».⁵⁵

Если в статье 1921 г. «Слово и культура» Мандельштам делил людей на «друзей или врагов слова», то в своем произведении «Четвертая проза», написанном через десять лет, в 1930–1931 гг., незадолго до начала его преследования властями, когда он разделит судьбу Данте, Мандельштам сознает опасность, грозящую «стихийному русскому языку»: «Чем была матушка филология и чем стала... Была вся кровь, вся непримиримость, а стала псякречь, стала нетерпимость».⁵⁶

Как упоминалось в начале статьи, Эрих Ауэрбах посвятил свой монументальный труд «Мимесис», написанный в изгнании, развитию повествовательной прозы и традиции реализма. Реализм XX в. представлен Бальзаком и Флобером, и отсутствие здесь русских реалистов поражает читателя. Причина этого пробела проста — Ауэрбах писал только о произведениях, которые он мог читать в оригинале. В конце послесловия к «Мимесису» Ауэрбах выражает уверенность, что его труд найдет своего читателя среди «друзей прошлых лет, если они еще живы, а также других, кому предназначена эта книга...»⁵⁷ Ауэрбах не мог знать, что русские поэты 20-х и 30-х гг. в России и за рубежом, которым не привелось быть его читателями, оказались, однако, его идеальными собеседниками.

После написания статьи Ходасевича «Литература в изгнании» прошло полвека. В предисловии к сборнику

«Русское культурное Возрождение» (1981), посвященному литературе эмиграции. Темира Пахмусс пишет, что собранные в нем тексты свидетельствуют о преемственности русской литературы и об усилиях эмиграции в деле продолжения традиции русской культуры за границей. Редактор сборника также обращает внимание на «современность литературы русской эмиграции, ее стилистические эксперименты», а также на ее значение в контексте международного авангарда XX в.⁵⁸ К подобному же заключению ранее пришли и авторы статьи «Проблемы изучения литературы русской эмиграции первой трети XX века», рассматривавшие этот период в контексте возникновения «транснациональных культурных образований»: «<...> послереволюционная русская литература обоими своими полюсами захватывает культурно-семиотическое пространство, порожденное глубинными сдвигами европейского искусства XX века».⁵⁹ Более того, добавим, что поэзия и поэтика изгнания в русской литературе двадцатого века продолжают наследие замечательной поэтической традиции европейского Средневековья.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Первое изд.: Auerbach E. Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. — Bern, 1946. См. изд. на русск. яз.: Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. — М., 1976.
- 2 О связи идей Э. Ауэрбаха с современной ему литературной критикой см.: Холквист М. «The Last European: Erich Auerbach as Precursor in the History of Cultural Criticism» (In: Modern Language Quarterly. — 1993. — Т. 54. — N 3. — P. 371–391).
- 3 Auerbach E. Philology and Weltliteratur / Transl. M. and E. Saud // The Centennial Review. — 1969. — Т. 13. — P. 6.
- 4 Ibid. — P. 17.
- 5 Здесь интересно вспомнить взгляды славянофилов на народность, независимую от самодержавия, — см.: Миллюков П. Славянофильство... // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — СПб., 1900. — Т. 30. — С. 309.
- 6 Мандельштам О. Собр. соч. — Мюнхен, 1971. — Т. 2. — С. 223.
- 7 Там же. — С. 250.
- 8 Там же. — С. 247.

- 9 Там же. — С. 248.
- 10 Цветаева М. Избранная проза: В 2 т. — New York, 1979. — Т. 2. — С. 370.
- 11 Там же. — С. 120.
- 12 Ремизов А. Взвихренная Русь. Изд. 2-ое. — <London>, 1979. — С. 228.
- 13 Больдт Ф., Сегал Д., Флейшман Л. Проблемы изучения литературы русской эмиграции первой трети XX века: Тезисы // Slavica Hierosolymitana. — Jerusalem, 1978. — Vol. III. — P. 84.
- 14 Эйхенбаум Б. Литература: Теория; Критика; Полемика. — Л., 1927. — С. 132.
- 15 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. — С. 147–149.
- 16 Медведев П. Формальный метод в литературоведении. — М., 1928. — С. 94.
- 17 Статья появилась в 1927 г. в журн. «На литературном посту»; вошла затем в кн.: Эйхенбаум Б. Мой современник. — Л., 1928.
- 18 Горбачев Г. Творческие пути Б. Пильняка // Бор. Пильняк: Ст. и материалы. — Л., 1928. — С. 65.
- 19 Цит. по: Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, статьи. — Париж; Нью-Йорк, 1987. — С. 48.
- 20 Raefff M. Russia Abroad: A Cultural History of the Russia Emigration: 1919–1939. — New-York; Oxford, 1990. — P. 102–103.
- 21 Ходасевич В. Собр. соч.: В 5 т. — Ann Arbor, 1992. — Т. 2. — С. 368.
- 22 Об этом см.: Ходасевич В. «Беседа» // Возрождение. — Париж, 1938. — 14 янв. — N 4114; Ходасевич В. Горький // Ходасевич В. Некрополь. — Париж, 1976. — С. 228–277 (см. также переиздание: Ходасевич В. Ф. Некрополь: Воспоминания. — М., 1991. — С. 155–187); а также: Ватhea D. M. Khodasevich: His Life and Art. — Princeton, 1983. — P. 268–272.
- 23 Благонамеренный — Брюссель, 1926. — N 1. — С. 90.
- 24 Там же. — С. 94.
- 25 Ходасевич В. О «Верстах» // Современные записки. — Париж, 1926. — N 29. — С. 433–441.
- 26 Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. — Нью-Йорк, 1956. — С. 69.
- 27 Благонамеренный. — 1926. — N 1. — С. 97.

- 28 Цит. по: Струве Г. Указ. соч. — С. 69. (Цитата из «Литературного дневника» М. Л. Слонима в N 7 «Воли России» за 1928 г.)
- 29 *Bath e a D. M.* Ibid. — P. 118.
- 30 См. об этом: *На g g l u n d R.* The Adamovich — Khodasevich Polemics // *Slavic and East-European Journal.* — 1976. — Т. 20. — N 3. — P. 241. (подразумевается выступление Адамовича в номере парижского журн. «Звено» за 8 окт. 1923 г.)
- 31 См.: Ibid. (подразумевается статья Адамовича в «Звене» за 27 июля 1925 г.).
- 32 См.: *Т е р а п и а н о Ю.* Об одной литературной войне // *Мосты.* — 1966. — N 12. — С. 363 - 375; *Ф е д о т о в Г. О* парижской поэзии // *Ковчег.* — Нью-Йорк, 1942.
- 33 *Благонамеренный.* — 1926. — N 2. — С. 87.
- 34 Там же. — С. 88; 92.
- 35 *Б о л ь д т Ф., С е г а л Д., Ф л е й ш м а н Л.* Указ. соч. — P. 79.
- 36 См.: *М а l m s t a d J. E.* Khodasevich and Formalism: A Poet's Dissent // *Russian Formalism: A Retrospective Glance.* — New Haven, 1985. — P. 74.
- 37 *Х о д а с е в и ч В.* Литературные статьи и воспоминания. — Нью-Йорк, 1954. С. 262.
- 37a Там же. — С. 267.
- 37b Там же. — С. 259.
- 37c Там же. — С. 258.
- 38 Об отношениях поэтов см.: *К а р л и н с к и й С.* Письма Цветаевой к Ходасевичу // *Новый журнал.* — Нью-Йорк, 1967. — N 89. — С. 102—114.
- 39 *Х о д а с е в и ч В.* Заметки о стихах (М. Цветаева. «Молодец») // *Последние новости.* — Париж, 1925. — 11 июня.
- 40 См.: *С л о б и н G. N.* Marina Cvetaeva: Story of an Inscription // *To SK: In Celebration of the Life and Career of Simon Karlinsky.* — Berkeley, 1994. — P. 281—296.
- 41 Письма М. Цветаевой к А. Бахраху // *Мосты.* — <Мюнхен>, 1960. — N 5.
- 41a *Благонамеренный.* — 1926. — N 1.
- 42 Там же. — С. 136.
- 43 Цит. по: *Ц в е т а е в а М.* Избранная проза: В 2 т. — Нью-Йорк, 1979. — Т. 1. — С. 236—237.
- 44 *Т е р а п и а н о Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). — С. 9.
- 45 Цит. по: *А u e r b a c h E.* Philology and Weltliteratur // *The Centennial Review.* — 1969. — Т. 13. — P. 17.
- 46 *Ц в е т а е в а М.* Избранная проза: В 2 т. — Нью-Йорк, 1979. — Т. 1. — С. 395.

- 47 Там же. — С. 372.
- 48 Ремизов А. Кукха: Розановы письма. — <Берлин>, 1923. — С. 66.
- 49 Мандельштам О. Собр. соч. — Мюнхен, 1971. — Т. 2. — С. 245.
- 50 Menocal M. R. Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric. — Durham; London, 1994. — P. 92.
- 51 De Vulgari Eloquentia / Entr. and transl. by M. Shapiro. — Lincoln, 1990. — P. 47.
- 52 Menocal M. R. Ibid. — P. 93.
- 53 Ibid. — P. 96.
- 54 Мандельштам О. Собр. соч. — Мюнхен, 1971. — Т. 2. — С. 263.
- 55 Там же.
- 56 Там же. — С. 222.
- 57 Auerbach E. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature. — New York, 1957. — P. 557.
- 58 Pachmuss T. <Entrod.> // A Russian Cultural Revival: A Critical Anthology of Emigre Literature Before 1939 / Ed. and transl. by T. Pachmuss. — Noxvill, Tennessee, 1981. — P. XII–XIII.
- 59 Slavica Hierosolymitana. — Jerusalem, 1978. — N 3. — P. 88.

Э. К. МЕТНЕР: МЕТАМОРФОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ¹

КИРИЛЛ ПОСТОУТЕНКО

16 июня 1931 г. постановлением цюрихского градоначальника «Эмиль Карлович Метнер, писатель, <...> без гражданства, родившийся 19 декабря 1872 г. в Москве (Россия)», который «приехал в Цюрих в ноябре 1914 г. и, за исключением пребывания в Женеве и с июня 1917 г. жил там непрерывно», был удостоен гражданства Швейцарии (Цюриха).² Была поставлена долгожданная точка в затяжном³ юридическом процессе, который со стороны казался привычным эпизодом эмигрантской биографии XX века («первая родина» — «скитания» — «вторая родина»). Но для новоявленного цюрихского *Stadtburger*'а эта триада стала актуальной задолго до того, как он покинул Россию.

Немецкая купеческая семья, в которой родился Э. К. Метнер, соединила в себе две немецкие традиции: фермерскую (К. П. Метнер) и музыкальную (А. Ф. Гедике). Интересней, однако, не различие, а сходство: «Приблизительно одновременно с эмиграцией в Россию Гебгардов и Гедике, т.е. в конце XVIII столетия, или в начале XIX века, переселилась фамилия Метнеров, сначала в Финляндию, где приобрела права гражданства в Пернаве (Пярну)».⁴ При этом в семье Гедике, поколениями укоренившейся в Москве, культивировалось незнание русского языка: «Тетя Минна (моя *Grosstante*) сама ничего не рассказывала, а на вопросы скупилась ответами <...>. Говорила она по-немецки, иногда по-французски; русским языком она владела очень плохо и пользовалась им не лучше своего отца⁵ лишь в случаях крайней необходимости и к нам, детям, она обращалась всегда с немецкой речью, а к отдельным русским словам и выражениям прибегала тогда, когда замечала, что мы ее не поняли».⁶ Культурная самоценность расовой автономности стала для Метнера осно-

вой его жизненной стратегии в России: «Лишь в Цюрихе, занимаясь аналитической психологией и познакомившись лично с главою Цюрихской школы К. Г. Юнгом, я получил от последнего объяснение, основанное на неоднократно проверенном эмпирическом материале: сохранившие свою расу в течении нескольких поколений сохраняют в своей душе и элементы психологии своих предков, каковою она успела сложиться в момент эмиграции. Таким образом, русский немец (т.е. оставшийся немцем потомок эмигранта из немецких стран), сохраняет в своей душе черты "германского" немца XVIII столетия, раз его предок покинул родину в эту именно эпоху».⁷

По мере развития военных и социальных катаклизмов, разбредивших национальное сознание многих, Метнер все меньше ощущал себя русским. 16 февраля 1904 г. он писал А. С. Петровскому: «Напрасно вы думаете, я вообще не решился бы на эмиграцию. Признаюсь Вам, что у меня с Анютой <А. М. Метнер. — К. П.> (она может засвидетельствовать это лично), было решено, когда о войне не было еще и речи, что в ноябре 1904 г. я беру двухмесячный отпуск и в конце онаго пишу Звереву, что, если меня нельзя перевести в Москву, то я прошу об отставке.⁸ У нас с Анютой было решено, что в таком случае мы остаемся навсегда в Германии <...>. Теперь же эмигрировать нравственно тяжелее... <...> Я — немец! Гораздо более немец, нежели русский. Я должен признать, что, к величайшему моему удивлению и даже огорчению, прилизительно во второй половине девяностых годов я стал ощущать это. Огорчен я этим, разумеется, только потому, что лишен возможности помочь этому процессу дойти до конца, для чего необходимо или быть гораздо моложе, здоровее, работоспособнее, или же обладать хотя бы небольшими денежными средствами, чтобы сразу утвердиться в новом отечестве... 10 лет тому назад я бы с восторгом пошел на войну; в 1899—1900 гг., когда я отбывал повинность, я пошел бы, если и не с восторгом, то и не с неудовольствием...»⁹ Долгожданная поездка в Германию в конце 1904 г. (вместе с А. М. и Н. К. Метнерами) дала Метнеру ощущение обретения утраченной исторической и культурной родины: «Огромное значение имело для меня путешествие. В особенности та часть его, от Дрездена через Лейпциг, Веймар, Иену, Нюрнберг, Мюнхен, Франкфурт на Майне в Кельн, которую я совершил один. <...> Точно я вспомнил что-то такое, что силился

и не мог извлечь из закоулков памяти всю жизнь. — В Веймарском парке и в доме Гете я испытал то... что Вы вероятно ощутили в Сарове. — В Нюрнберге — ... вероятно в Нюрнберге я родился; может быть жил в конце XV и начале XVI столетия, недалеко от дома Дюрера.¹⁰ Германия стала для Метнера «первой родиной», Россия — «второй»: «Стал я еще западнее, еще более онемечился; нижегородское пленение, московская толчея и вообще российская безалаберность отходят в моей памяти и воображении все более и более на задний план; равнодушно читаю я об ужасах, которые творятся ежедневно на родине, жалею о времени, потраченном на пустяки в роде цензурства, с удовольствием отмечаю, что меня более не волнует и не беспокоит то, что как русского возмущало и обессиливало».¹¹

Предпринимая неоднократные попытки эмиграции в Германию, Метнер тем не менее не без гордости играл свою роль «русского немца»: в 1909 г., поддавшись уговорам друзей — А. Белого, Элиса (Л. Л. Кобылинского), А. С. Петровского, он организовал в Москве издательство «Мусажет», призванное синтезировать новый русский символизм и германскую культуру. Однако активность «Мусажета», выпустившего два десятка философских, прозаических, критических книг (среди них — сочинения А. Белого, Я. Беме, А. Блока, З. Гиппиус, И. Рейсбрука) не продлилась и пяти лет: за идейным расколом между главными участниками последовало начало первой мировой войны, навсегда похоронившей культуртрегерский германизм Метнера.¹² И русское, и немецкое общество, охваченные патриотизмом, оказались Метнеру враждебными, и он нашел для себя спасение в нейтральной Швейцарии.

Барьер, отгородивший Советский Союз от Европы, вполне соответствовал тому настроению, с которым Метнер устраивался на жительство в Швейцарии, где, «годами не имея известий из России (даже от самых близких)», он «мысленно простился со всеми навсегда».¹³ Отказ от культуры вольно или невольно совпал с отказом от языка: если раньше Метнер мог завидовать отцу, знавшему немецкий язык лучше, чем он,¹⁴ то теперь он выражает сомнения в правильности своей русской речи: «Моя статья «от редактора» начинается непростительным германизмом, свидетельствующим об утрате чувства русской речи <...>: я говорю вместо сердце бьется <—> сердце бьет нормально!! О

стыд и позор!»¹⁵ Тем любопытнее характеристика языковой компетенции Метнера, содержащаяся в его «деле о гражданстве» и принадлежащая перу Х. Берчингера и П. Пфеннингера, чиновников цюрихской городской канцелярии: «An unsere Verhaeltnisse scheint er sich durchaus gewoehnt zu haben, wenn er auch unsern Zuercherdialekt nicht spricht und auch nie sprechen wird. Er bedient sich jedoch eines fehlerlosen, akzent freien Schriftdeutsch».¹⁶

Круг жизни Метнера замкнулся, подтвердив неизменность его культурной позиции. Поклоняясь мифу о Германии и говоря на его языке, он так и не стал своим ни в России, ни в Швейцарии.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Работа выполнена при поддержке Швейцарского фонда содействия культуре PRO HELVETIA (Цюрих). На разных ее этапах совершенно необходимую помощь оказали также д-р Б. Шницлер (Stadtarchiv Zuerich) и М. Г. Ратгауз.
- 2 Veruegung des Stadtpraesidenten vom 16. Juni 1931. — Protokoll des Stadtrates von Zuerich (Buergerliche Abteilung) vom Jahre 1931. — <Zuerich, 1931>. — S. 98–99.
- 3 15 апреля 1930 г. Э. К. Метнер писал Н. К. и А. М. Метнерам: «Я снова <курсив наш. — К. П.> сделал попытку натурализоваться» (Архив Государственного Музея Музыкальной культуры им. Глинки (ГММК). — Ф. 132. N 4368).
- 4 Э. К. Метнер — П. Д. Эттингеру <1921 г., копия В. К. Тарасовой> — ОР РГБ. Ф. 167. Карт. 16. Ед. хр. 11. — Л. 22–23.
- 5 О нем рассказывали московские остряки, будто он знал лишь два русских слова: извозчик и гривенник.
- 6 Э. К. Метнер — П. Д. Эттингеру <1921 г., копия В. К. Тарасовой> — ОР РГБ. Ф. 167. Карт. 16. Ед. хр. 11. — Л. 2.
- 7 Там же. — Л. 17.
- 8 Н. А. Зверев в 1902–1904 гг. возглавлял Главное управление по делам печати Министерства Внутренних дел, при котором в 1903–1906 гг. Метнер состоял отдельным цензором в Нижнем Новгороде.
- 9 ОР РГБ. Ф. 167. Карт. 16. Ед. хр. 8. — Л. 5 об. — 6.
- 10 Э. К. Метнер — А. С. Петровскому <15.5.1905 г., копия> — ОР РГБ. Ф. 167. Карт. 24. Ед. хр. 28. — Л. 5.
- 11 Э. К. Метнер — Элису <5.9.1906 г.> — ОР РГБ. — Ф. 167.

- 12 «Вы знаете, что для меня Россия и Германия два отечества, равно любимые. Вот почему эта в полном смысле слова братоубийственная война является для меня самым ужасным событием моей жизни», — писал Э. К. Метнер А. М. Метнер 20 июля 1914 г. (Архив ГММК. — Ф. 132. N 4882).
- 13 Э. К. Метнер — В. И. Иванову <6 мая 1925 г.> — Архив В. И. Иванова (собрание Д. В. Иванова, Рим).
- 14 «Если бы я владел так <...> немецким языком, как ты, я бы знал, как избавиться от нижегородского плена, от провинциально-чеховской тоски: я бы эмигрировал в Германию и писал бы там в немецких газетах о русской жизни и литературе». (Э. К. Метнер — К. П. Метнеру <24 декабря 1903 г.> — Архив ГММК. — Ф. 132. N 3592).
- 15 Э. К. Метнер — В. Иванову <23 октября 1929 г.> — Архив В. И. Иванова (собрание Д. В. Иванова, Рим). Действительно, упомянутая Метнером фраза («Подобно тому, как не ощущают сердца, пока оно бьёт нормально <...>» — Метнер Э. К. От редактора // Юнг К. Г. Психологические типы / Пер. С. А. Лорие. — <Цюрих>, 1929. — С. III) неестественно точно копирует немецкое *Das Herz schlaegt normal*.
- 16 Перевод: «К нашим условиям он, кажется, совершенно привык, хотя не говорит на нашем цюрихском диалекте и никогда не будет говорить на нем. Однако он безукоризненно владеет грамматикой и произношением литературного немецкого языка (*Schriftdeutsch*)» (Medtner, Emil Karlovitch <личное дело>. — Stadtarchiv (Цюрих), Buergerliche Abteilung, Auten 1931. — Prot. N 548.)

ХОДАСЕВИЧ:
ОДА РУССКОМУ ЧЕТЫРЕХСТОПНОМУ ЯМБУ*

РОБЕРТ ХЬЮЗ

Стихотворение, в котором В. Ф. Ходасевич воспел двухсотлетие самого продуктивного размера в русской поэзии, было посмертно напечатано в 1939 г.¹ Написанное меньше чем за год до смерти, стихотворение отличается исключительным мастерством и знанием традиции. Ходасевич становится своего рода специалистом по Державину, русской литературе 18-го в.,² по творчеству Пушкина и литературе пушкинского периода,³ а также по истории русской поэзии. В тексте оды, предположительно, отражается его знание литературных памятников Киевской Руси. Стихотворение Ходасевича прославляет некоторые вершины русской литературной традиции и блестяще воплощает ритмические возможности метрической модели, установленной в середине 18-го века.⁴ Его прославление русской литературной культуры охватывает период с 11-го по 20-й вв.:

Не ямбом ли четырехстопным,
Заветным ямбом, допотопным?
О чем, как не о нем самом —
О благодатном ямбе том?

С высот надзвездной Музики
К нам ангелами занесен,
Он крепче всех твердынь России,
Славнее всех ее знамен.

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал —
Но первый звук Хотинской оды

*Английский вариант этой работы опубликован в сб.: *O Rus! Studia litteraria slavica in honorem Hugh Mclean* / Ed. S. Karlinsky, L. Rice, B. Scherr. — <Berkeley, 1995>. — P. 470–484.

Нам первым криком жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала.

С тех пор, в разнообразьи строгом,
Как оный славный *Vogonag*,
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.

И чем сильнее спадают с кручи,
Тем пенистей водоворот,
Тем сокровенный лад певучей
И выше светлых брызгов взлет —
Тех брызгов, где, как сон, повисла,
Сияя счастьем высоты,
Играя переливом смысла, —
Живая радуга мечты.

.....

.....

.....

.....

Таинственна его природа,
В нем спит спондей, поет пэон,
Ему один закон — свобода,
В его свободе есть закон.

1938

Первым «младенческим криком» была торжественная ода М. В. Ломоносова «Ода блаженные памяти государыне Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года». Эта ода заложила твердый фундамент для реформы русского стихосложения, начатой старшим современником Ломоносова, В. К. Тредиаковским. В «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735) Тредиаковский впервые предложил основывать построение стихотворной строки не только на традиционном силлабическом принципе, но и на регулярном чередовании ударений. В 1736 г., отправляясь из Петербурга в Германию, Ломоносов взял с собой и «Способ» Тредиаковского. История ответа Ломоносова Тредиаковскому хорошо известна. В своем «Письме о правилах российского стихотворства» (1739) Ломоносов принял чередование ударных и безударных слогов, но отверг правила силлабической версификации, кото-

рые сохранялись в системе Третьяковского. Ломоносов признал трехсложные размеры (за исключением амфибрахия), узаконил мужскую и дактилическую рифму и допустил варианты стихотворной строки от двух до шести стоп. Он отверг утверждение, что хорей — это естественная стопа для русской просодии, и выбрал ямб как размер наиболее соответствующий торжественной оде: «Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимая тихо вверх, материи благородство, великолепие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах...» (Ломоносов 1986: 150).

Отправляя свой теоретический трактат в комиссию Российской Академии Наук, занимавшуюся вопросами русского языка и литературы, Ломоносов приложил к нему «Оду на взятие Хотина» как иллюстрацию принципов, изложенных в «Письме»:

Восторг внезапный ум пленил,
 Ведет на верх горы высокой,
 Где ветер в лесах шуметь забыл;
 В долине тишина глубокой.
 Внимая некто, ключ молчит,
 Которой завсегда журчит
 И с шумом в низ с холмов стремится.
 Лавровы вьются там венцы,
 Там слух спешит во все концы;
 Далече дым в полях курится.
 Не Пинд ли под ногами зрю?
 Я слышу чистых сестр Музыку!
 Пермесским жаром я горю,
 Теку поспешно к оных лику.
 Врачебной дали мне воды:
 Испей и все забудь труды;
 Умой росой Кастальской очи,
 Через степь и горы взор прости
 И дух свой к тем странам впериди,
 Где всходит день по темной ночи.

Обращение к этой первой торжественной оде Ломоносова 1739-го года предоставляет Ходасевичу возможность употребить необычные, сильные образы во 2-ой, 3-ей и 4-ой строфах. Можно услышать отзвуки резких подъемов и спадов с вершины горы в 1-ой строфе у Ломоносова в «высотах» и «холмах снеговых» у Ходасевича. «Надзвездная Музика» Ходасевича, а также образ русской Музы,

подающей свой «дивный голос» своим сестрам (IV, 2–4), как бы предсказаны Ломоносовым во второй строке второй строфы: «Я слышу чистых сестр Музыку!» Выбор Ходасевичем слова «Камена» для обозначения Музы мог быть навеян тем, что римские богини *Сатенае* традиционно ассоциировались с водой.⁵ Классическое представление источника поэтического вдохновения, Кастальский ключ на Парнасе, сакральное место для Аполлона и муз, дважды упоминается Ломоносовым (I, 5–7; II, 5–7).⁶ Образ воды, водной стихии, играющий значительную роль у Ломоносова, Державина и Ходасевича, является основным для нашего прочтения текста. (Напомню, что мифологема воды — частый элемент мифических повествований о сотворении мира из хаоса. Об этом ниже.)

«Вода» ломоносовской оды как бы подготавливает появление «Водопада» Державина в русской поэзии — буквально⁷ и переносно в оде Ходасевича. Новаторство в области ритмики и лексики позволило Державину сделать значительный шаг за пределы нормативной поэтики Ломоносова. Начало оды «Водопад», в свою очередь, дает Ходасевичу основные образы «спуска с высот» (II, 1; VI, 1), четырех стоп-порогов четырехстопного ямба (V, 1–4), разрушения памяти временем (III, 1–2) и водных брызг (VI, 4):

Алмазна сышлется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и серебра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.

<...>

О водопад! в твоём жерле
Все утопает в бездне, в мгле!

В своей современной оде Ходасевич произносит похвалу родоначальникам новой русской литературы. Он прославляет культуру, из которой они вышли, и ту поэтическую традицию, которой они дали начало. Он подражает неоклассическому поэтическому декоруму (величию и порядку), а также барочной образности, дикции и лексике. С одним нереализованным иктом «ломоносовская строфа» (III) выдерживает метрическую норму. «Державинская строфа» (V) имитирует более свободную вариативность, присущую этому метру.

Неназванный, но «вездесущий» Пушкин, как можно ожидать, парит над всем текстом стихотворения. Строка, открывающая стихотворение — это шуточный вызов знаменитому вступлению к «Домику в Коломне» (1830):

Четырехстопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. . .

Черновики Ходасевича подтверждают эту догадку (Ходасевич 1983: 390–393). Среди отвергнутых фрагментов подразумеваемый диалог с Пушкиным выявляют следующие строки:

Эй, мальчики, посторонитесь!

- - - - -

Ну, доскакали . . . и в нем
Я вам, м[альчишки], бью челом

Текстологически тщательная публикация поэмы Пушкина М. Л. Гофманом в начале 1920-х гг. вновь обратила на нее внимание как раз в то время, когда Ходасевич стал заметен в пушкинистике.⁸ До того времени был широко известен устаревший текст, соединявший несколько вариантов. Полный обзор черновиков текста, сделанный Гофманом (1922б: 27–121), показал, что 14 вступительных строф в изданиях начала века искажали авторскую редакцию 1833 г. Эти строфы касались литературных ссор времени написания поэмы, т.е. осени 1830 г., и почти исключительно имели дело с метапоэтическими вопросами. Через три года Пушкин решил их опустить. Среди прочего они продолжали разговор о стихотворных метрах:

Но возвратиться все ж я не могу
К четырехстопным ямам, мере низкой.
С Гекзаметром. . . О с ним я не шучу. . .
Он мне не в мочь. А стих Александрийской? . . .

Таким образом, по-видимому, первый ход Ходасевича в оде был вызван метапоэтическими соображениями Пушкина и анализом их в работе Гофмана.

Другой явный «диалог» Ходасевича с пушкинским приемом — отсутствие 8-ой строфы. Этот пропуск быть может был вызван знаменитым примером «Евгения Онегина», а также основополагающей работой Гофмана, основанной на изучении рукописи романа Пушкина. (1922а: 1–344; Ходасевич использовал работу Гофмана в своих пушкинских штудиях). Место пропущенной строфы указывает, что сделано это Ходасевичем не случайно. Пропуск в оде

Ходасевича функционально соответствует «опущенной» главе у Пушкина, которая теперь печатается со своими опущенными строфами, как «Отрывки из путешествия Онегина». Ходасевич мог также обратиться к этому приему по соображениям, высказанным Тыняновым в статье, опубликованной позднее (1977: 60–61): пропуски — это композиционный прием, значение которого зависит от словесной динамики произведения и, в свою очередь, эту динамику усиливает. По Тынянову, отсутствующие стихи или строфы могут быть заполнены любым содержанием, так как они не играют роли в общем плане произведения. Ходасевич применяет этот прием, чтобы *без слов* — хронологически — отметить богатейшее развитие русского четырехстопного ямба со времен Пушкина до нашего времени.

Одна из черновых строф Ходасевича (1983: 392) семантически связана с «петербургским текстом» и интертекстуально родственна другому пушкинскому тексту, написанному четырехстопным ямбом — «Медному всаднику»⁹:

[На этом пире

Хоть на посл<еднем> месте быть]

Хоть на посл<еднем> месте

Мной незаслуж<енная> честь

Покуда конь Петров стоит

И слышится ям<б> 4-ст<стопный>

Коснуться

Изогнут и вьется

Мед<ный> змий Россию

Учителей моих

Дотоле б<удет> жить Россия

[Покуда мед<ный>]

Доколе конь П<етров> стоит —

До

Возможно, что эти наброски были бы 8-ой строфой, но пропущенная — она отдает должное «Евгению Онегину» и указывает, хотя и не прямо, на достойную историю, частью которой она является. Еще один текст Пушкина, его ода «Вольность» 1817 г., воспевающая идеал свободы в рамках закона, могла быть поэтическим подтекстом — ис-

точником взаимозависимых понятий «закона» и «свободы», которые Ходасевич выдвигает как определяющие качества русского четырехстопного ямба.

Таким образом, множественная интертекстуальность оды Ходасевича идет от явного — ломоносовского предвестника великой традиции и державинской великолепно своеобразной элегической оды — к Пушкину, более глубоко упрятанному в текст, и еще глубже, к чему-то более скрытному, к древним текстам, почти невидимым.

С самого начала работы над одой Ходасевич несколько преувеличенно связывал истоки русской поэзии с началом всемирной и русской истории. Он охватывает взглядом века и события, которые, кажется, имеют мало общего с его темой. Ранние наброски черновиков и в этом случае указывают на направление его мысли. Среди отвергнутых стихов для строфы о Ное (Ходасевич 1983: 390), неизвестно для какого места в стихотворении предназначавшейся, есть строки:

Воистину — в потоке нашем
Он уцелел как древний Ной.

Эти стихи о человеке, «обретшем благодать в очах Господа», соотносятся с книгой Бытия (гл. 6 — 7; см.: Аверинцев 1982). Однако их отношение к истории новой русской поэзии и «выживания» четырехстопного ямба на первый взгляд непонятно. В «Повести временных лет» пересказ этого эпизода начинается следующими словами (в упрощенной орфографии): «Се начнем повесть сию. По потоке три сынове ноеви разделиша землю, Сим, Хам, Афет».

Используя образ потопа, Ходасевич хотел обратить внимание не только на «приливы» и «отливы» истории и катастрофические события прошлого России, включая, без сомнения, такие апокалиптические происшествия, как разрушительные наводнения Санкт-Петербурга и «потоп» 1917 г. и его последствия — и, с точки зрения Ходасевича, уничтожение русской культуры, какой он ее знал, — но и для того, чтобы напомнить, что Ной и его потомки пережили потоп, и что, Божией милостью, после библейского потопа наступило возрождение человечества (см.: Топоров 1982). Для Ходасевича русская поэзия — представленная в его тексте метонимически четырехстопным ямбом, — тоже пережила потоп и выжила. Хотя Ной и потоп не появляются в окончательном тексте, этот образ

непосредственно связан для Ходасевича с образом древности и использованием в тексте мифологемы воды.

Продолжим рассмотрение возможных дальнейших параллелей с «Повестью...» у Ходасевича. Превращение державинской строки «С высот четыремя скалами» (I, 2) в «По четырем его порогам» (V, 3) у Ходасевича, как образа четырех метрических стоп в четырехстопном ямбе, могло быть навеяно Днепровскими порогами, местом значительных поворотов в древней русской истории. По легенде в «Повести временных лет» апостол Андрей прибывает в земли, ставшие древней Русью, проходит эти пороги и указывает на место будущей столицы Киевской Руси: «И по приключая приде и ста под горами на березе. И завтра вьстав и рече к сущим с ним учеником: Видите ли горы сия? — яко на сих горах восият благодать Божья; имать град велик быти и церкви многи Бог въздвигнути имать». Изображение подъема, водного пути, высот, начала традиции и Божьей благодати — перечисленных в тексте «Повести временных лет» — центральны для образной системы Ходасевича.

В конце концов Ходасевич отказался от строфы о Ное и потопе. Однако иными средствами он включил библейский фон и уходящую в глубь веков историческую перспективу. Вслед за вызовом Пушкину в первой строке, Ветхий Завет косвенно вводится полисемантическим вторым стихом первой строфы с двумя метафорическими определениями «заветный» и «допотопный» (кстати, оба — с пушкинскими ассоциациями). Ветхий Завет служит связью с легендарным началом человеческой истории, заветами с Ноем и Авраамом и напоминает об установлении Закона Моисеева, т.е. о самых истоках иудео-христианской традиции. Второй яркий эпитет «допотопный» указывает не только на древнейший период человеческой истории, эпоху до Потопа, но, семантически, также привносит образ самого всемирного потопа. И в этой же связи образ радуги у Ходасевича (VII, 4) может быть связан с библейской радугой и обещанием-заветом Бога с Ноем (Бытие, гл. 9, стихи 11–17) и с последующим новым началом для человечества.

Развертывание Ходасевичем мотивов, связанных с водой — потоп (I, 2), Муза как водное божество (IV, 2), державинский водопад (V, 1–4), речные пороги (V, 3), пенящийся водоворот (VI, 2), «светлый брызгов взлет» (VI, 4; VII, 1), — может показаться немного навязчивым, но эти

образы указывают на почти универсальное мифическое повествование о сотворении мира как новом рождении из водного хаоса: «Вода — первоначало, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного хаоса... Вода — это среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения <...> С мотивом воды как первоначала соотносится значение воды для акта омовения, возвращающего человека к исходной чистоте. Ритуальное омовение — как бы второе рождение, новый выход из материнской утробы (аспект мифологемы воды, удержанный в христианской символической крещения). <...> Наконец, являя собой начало всех вещей, вода знаменует их финал, ибо с ней связан (в эсхатологических мифах) мотив потопа» (Аверинцев 1980: 240).

От библейских образов, усиленных (уже предсказанных) эпитетами «заветный» и «допотошный», Ходасевич неотвратно движется к следующему эпитету в 4-ом стихе 1-ой строфы — «благодатный» — и, тем самым, к отрывку об основании Киева в «Повести временных лет», уже цитированному, и к уникальному памятнику средневековой письменности, стоящему у истоков русской литературы и культуры. Имеется в виду «Слово» митрополита Илариона (11 век) «О законе и благодати» — то есть, в упрощенной орфографии, «О законе Моисеем данеем; и о благодети и истине Иисус Христом бывшии; како закон отиде; благодеть же и истина всю землю исполни; и вера в вся языки простресея и до нашего языка рускаго; и похвала кагану нашему Влодимеру; от него же крещени быхом, и молитва к Богу от всеа земля нашеа» (ок. 1037 — 1050).¹⁰ Это — произведение в византийской традиции, положившее начало литературе на Руси, подобно тому, как автор стал первым русским митрополитом.

Заглавие и сам текст семантически ориентированы на Евангелие от Иоанна (гл. 1, стих 17), на стих, в котором Слово, ставшее плотью, упоминается в первый раз: «<...> закон дан был чрез Моисея, благодать и истина явились чрез Иисуса Христа». Богословский дискурс, открывающий «Слово», построен на контрастах между Ветхим Заветом и Новым и детально развивает идею соответствия Ветхого Завета закону, а Нового — благодати. По Илариону, закон Ветхого Завета связан с рабством, а благодать Нового Завета — со свободой. Ветхозаветные времена символизируются рабыней Агарью, а новозаветные Саррой, свободной женой Авраама. (Между прочим,

символика Илариона находит отклик у Ломоносова в оде 1739 года [V, 5], где турецко-татарские враги России метафорически названы потомками Агари: «род отверженной рабы»).

Иларион неоднократно использует мифологему воды, особенно в первой части «Слова», где идет речь об универсальности христианства. Ритуальное омовение и обряд крещения готовят пришествие благодати; «как вода морская» — образ пришествия благодати: «<Бог> сыном своим вся языки спасе евангелиемъ и крещениемъ въводя в обновление пакубытия в жизнь вечную.

<...> да яко съсудъ скверненъ человечество, помовень водою закономъ и обрезаниемъ приметъ млеко благодеть и крещениа.

И Христова благодеть всю землю обять, и ако вода морскаяа покры ю.»

Во второй части (о русском христианстве) и третьей (похвала князьям Владимиру и Ярославу) образ воды — и миф о новом начале — продолжает занимать центральное положение. Как апостолы Иоанн, Фома и Марк, обратившие разные страны в христианство, князь Владимир достоин похвалы за крещение Руси. Этим сравнением Иларион подчеркивает равенство старых и новых народов, поздних пришельцев в христианскую цивилизацию. Это параллель к восприятию Ходасевичем русской поэзии как позднего пришельца, быстро достигающего равенства: русская Муза присоединяется к Музам других народов (IV, 2–4).

Если совпадение мифологемы воды у Илариона и Ходасевича не вызывает удивления, т.к. это универсальный символ, то развитие Ходасевичем понятий закона, благодати и свободы указывает, думается, на прямую связь с Иларионом. В основе хвалебного обзора истоков и традиции русского четырехстопного ямба лежит библейская модель символического сопоставления, разработанная в тексте Илариона. Лексические совпадения, во всяком случае, более чем показательны, можно сказать — решающи для установления этой связи.

Назвав размер «благодатным» (I, 4; Ходасевич предпочел этот эпитет слову «незакатный», которое находим в черновиках), поэт заключает свою похвалу, определяя загадочную сущность русского ямба как уникальный сплав закона и благодати (IX, 3–4). Неразрывность благодати и

свободы — это основной момент для Илариона, для Ходасевича же ни та, ни другая не возможны вне рамок закона. Как человечество должно быть очищено посредством воды и закона — утверждением Ветхого Завета — до получения благодати в крещении, свобода для четырехстопного ямба существует только в пределах закона. Ода Ходасевича утверждает, что свобода и закон в русском четырехстопном ямбе соединены нераздельно.

Строгая нормативная модель абстрактной метрической схемы получает ритмическую жизнь, когда реализованы свобода, гибкость и вариативность, развивавшиеся в течение двух веков существования русского четырехстопного ямба. Основное понятие, определяющее сущность формы для Ходасевича, выражено парадоксальным словосочетанием в строке, стоящей в самой середине стихотворения («В разнообразьи строгом», V, 1). Этот оксюморон — риторическая фигура, дающая точнейшее определение русского четырехстопного ямба.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Современные записки. — Париж, 1939. — N 69. — С. 254–255. Замечание Н. Берберовой (Ходасевич 1961: 224), что стихотворение не окончено, представляется ошибочным. Ср. замечания Н. А. Богомолова (С. 44) в его вступлении к: Ходасевич 1989. Полный беловой текст воспроизведен в: Ходасевич 1983: 219–220. Опущенная 8-ая строфа, в моей интерпретации, — композиционный прием.
- 2 «Державин» (1931) был перепечатан в России только в 1988 г. (Ходасевич 1988). Вступление А. Зорина «Начало» (С. 5–28), а также его аннотации (С. 317–327) дают ценную информацию о занятиях Ходасевича Державиным и 18-м в. См. также статью к столетию смерти Державина (1916) и прим. в: Ходасевич 1990: 246–256; 512.
- 3 Исследования, рецензии и эссе Ходасевича, посвященные Пушкину и Золотому Веку в русской поэзии, насчитывают свыше 140 единиц. Они будут собраны (под моей редакцией) в пятом томе «Собрания сочинений» (ред. Д. Малмстад и Р. Хьюз) в изд. «Ардис». При жизни Ходасевича вышло два тома его избранных работ по Пушкину: «Поэтическое хозяйство Пушкина» (Л., 1924; отвергнутое автором); «О Пушкине» (Берлин, 1937).
- 4 Процесс ритмического экспериментирования ускорился в начале 20-го в. (Гаспаров 1984: 224–228). Андрей Белый, в

то время близкий друг Ходасевича, был первым, применившим формальное описание ритмических вариантов четырехстопного ямба («Символизм», 1910; ср.: Хьюз 1987: 149—151). Его слова «ритм есть норма свободы в пределах версификации» (Белый 1910: 394), очень точно предсказывает концовку в оде Ходасевича.

- 5 Можно предположить, что следующие строки из шуточного послания Пушкина «К Языкову» (1826) повлияли на выбор Ходасевича:

«Нет, не кастальскою водой
Ты воспоил свою камену;
Пегас иную Иппокрену
Копытом вышиб пред тобой».

Пушкин употребил то же самое название для муз в строфе пропущенной восьмой главы «Евгения Онегина» в описании путешествия Онегина:

«Пора: перо покоя просит;

Я девять песен написал.

На берег радостный выносит

Мою ладью девятый вал —

Хвала вам, девяти каменам», и проч.

См. ниже о пропущенной 8-ой строфе у Ходасевича.

- 6 Исправляю явную ошибку в II, 7 в тексте Ломоносова 1986: «Умой росой Кастильской очи» (С. 204).

- 7 Ср. знаменитое описание (под датой: Эглизау, 14 августа <1789>) рейхенбахского водопада у Карамзина в «Письмах русского путешественника» (местонахождение фатальной схватки между Шерлоком Холмсом и злодеем Мориарти). Последующие «поэтические водопады» включают: «Там, где гремячая Нарова / С утеса падает крутова» Бестужева-Марлинского (в кн.: «Поездка в Ревель», 1821), «Водопад» (1821) Баратынского («Шуми, шуми с крутой вершины»), «Нарвский водопад» (1825) Вяземского («Несись с неукротимым гневом») и «Водопад» (1830) Языкова («Море блеска, гул, удары»). См. модернистскую вариацию на ту же тему у Анненского «То было на Валлен-Коски». В подтексте VII, 1 у Ходасевича находим еще одного поэта, связанного с Золотым Веком: см. «Весеннюю грозу» Тютчева, 11, 2—4: «Вот дождик брызнул, пыль летит, / Повисли перлы дождевые, / И солнце нити золотит».

- 8 Данные об отношениях Ходасевича и Гофмана в 1920-30-е гг., до и после эмиграции обоих, с чередующимися эпизодами дружбы и вражды см. в: Шур Л. Письма В. Ф. Ходасевича М. Л. Гофману // Russian Literature and History / Ed. W. Moskovich et al. — Jerusalem, 1989. — P. 154—163. Другая —

методологически значительная для развития Ходасевича как пушкиниста — работа Гофмана, «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине» (1922с).

- 9 В своей речи «Колеблемый треножник» на пушкинских торжествах в феврале 1921 г. Ходасевич указал на «Медного всадника» как на лучший пример пушкинской гармонии и безошибочного «балансирования» нескольких тематических линий в одном произведении (см. текст и прим. в: Ходасевич 1990: 309—316; 520—522; ср.: Хьюз 1992). Противоречивое и сложное изображение города в русской культурной традиции достигло высшего развития для поколения Ходасевича в «Петербурге» Белого. (О взаимоотношениях Ходасевича и Белого см.: Хьюз 1987). Исследование Белого «Ритм как диалектика и "Медный всадник"» было напечатано в Москве в 1929 г. и, без сомнения, повлияло на размышления Ходасевича о ритмическом потенциале четырехстопного ямба, хотя его опубликованный отклик на эту работу был негативным (см. его «Литературную хронику», подписанную «Гулливер», в парижской газете «Возрождение» от 28 ноября 1929 г.).
- 10 В цитатах из Илариона здесь и далее нормализация Феннелом и Оболенским (1969) текста Розова (1963) упрощена и транслитерирована; этому соответствует: Молдован 1984, первая редакция «Слова» (список С—591), С. 78—100. «Ять» последовательно заменено на «е». Источники, указанные в скобках, следуют нумерации Розова в его издании Синодального списка рукописи. Возможно, что внимание Ходасевича к «Слову» Илариона было привлечено дискуссией о влиянии этого текста на древнерусскую литературу, опубликованной в пражском журнале «Slavia» в конце 1920-х гг. (Никольская 1928—29). Этот явно религиозно окрашенный текст не был напечатан в СССР до середины 1980-х гг. (Молдован 1984) в Киеве; единственная публикация заново отредактированного текста после 1917 г. в странах «восточного блока» была напечатана тоже в журнале «Slavia» (Розов 1963). «Слово» было включено в серию «Памятники литературы древней Руси» (Москва, 1979—1994) только как приложение к последнему тому (12, литература XVII в.). Укажем на более значительные комментарии к «Слову»: Феннелл 1975; Лихачев 1975; Топоров 1983; Якобсон 1985 (перв. публ. 1975). См. также публикацию текста и перевода «Слова», где примечания и ряд содержательных статей о нем в сб.: Альманах библиофила. — М., 1989. — Вып. 26. — С. 24—133; 154—226;

БИБЛИОГРАФИЯ

- АВЕРИНЦЕВ 1980: А в е р и н ц е в С. С. Вода // Мифы народов мира. — М., 1980. — Т. 1. — С. 240.
- АВЕРИНЦЕВ 1982: А в е р и н ц е в С. С. Ной // Мифы народов мира. — М., 1982. — Т. 2. — С. 224–226.
- БЕЛЫЙ АНДРЕЙ 1910: Б е л ы й А н д р е й Сравнительная мифологема ритма русских лириков в ямбическом диметре // Белый Андрей. Символизм. — М., 1910. — С. 331–395.
- ДЕРЖАВИН 1957: Д е р ж а в и н Г. Р. Стихотворения. — Л., 1957.
- FENNELL and OBOLENSKY 1969: Fennell J. and Obolensky D. Metropolitan Ilarion: Sermon on Law and Grace // A Historical Russian Reader. — Oxford, 1969. — P. 1–20.
- FENNELL 1974: Fennell J. Literature of the Kievan Period (Eleventh-Twelfth Centuries) // Early Russian Literature / Ed. J. Fennell and A. Stokes. Berkeley; Los Angeles, 1974. — P. 11–79.
- ГАСПАРОВ 1984: Г а с п а р о в М. Л. Очерк истории русского стиха. — М., 1984.
- ГОФМАН 1922а: Г о ф м а н М. Л. Пропущенные строки «Евгения Онегина» // Пушкин и его современники. — 1922. — Вып. 33–35. — С. 1–344.
- ГОФМАН 1922б: Г о ф м а н М. Л. История создания и истории текста «Домика в Коломне» // Пушкин. Домик в Коломне. — Пб., 1922. — С. 29–121.
- ГОФМАН 1922с: Г о ф м а н М. Л. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. — Пб., 1922.
- HUGHES 1987: H u g h e s R. Белый и Ходасевич: к истории отношений // Вестник РХД. — 1987. — N 151 (III). — С. 144–165.
- HUGHES 1992: H u g h e s R. Pushkin in Petrograd, February 1921 // Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age / Ed. B. Gasparov et al. — Berkeley; Los Angeles; Oxford. — P. 204–213.
- ЯКОБСОН 1985: Я к о б с о н R. Гимн в «Слове» Илариона "О законе и благодати" // Jakobson R. Selected Writings / Ed. S. Rudy. — Berlin; New York; Amsterdam, 1985. — Т. 6. — Part 2. — P. 402–414.
- ХОДАСЕВИЧ 1961: Х о д а с е в и ч В. Ф. Собрание стихов / Ред. Нина Берберова. — New Haven, 1961.

ХОДАСЕВИЧ 1983: Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений / Ред. J. Malmstad и R. Hughes. — Ann Arbor, 1983. — Т. 1: Стихотворения.

ХОДАСЕВИЧ 1988: Ходасевич В. Ф. Державин / Ред. А. Л. Зорин. — М., 1988.

ХОДАСЕВИЧ 1989: Ходасевич В. Ф. Стихотворения / Ред. Н. А. Богомолов и Д. В. Волчек. — Л., 1989.

ХОДАСЕВИЧ 1990: Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений. / Ред. J. Malmstad и R. Hughes. — Ann Arbor, 1990. — Т. 2: Ст. и рец.

ЛИХАЧЕВ 1975: Лихачев Д. С. «Слово о законе и благодати» Илариона // Великое наследие. — М., 1975. — С. 10–22.

ЛОМОНОСОВ 1986: Ломоносов М. В. Письмо о правилах российского стихотворства // Ломоносов М. В. Избранные произведения / Ред. Г. В. Степанов и др. — М., 1986. — Т. 2. — С. 146–153.

МОЛДОВАН 1984: Молдован А. М. «Слово о законе и благодати» Илариона. — Киев, 1984.

НИКОЛЬСКАЯ 1928–1929: Никольская А. Б. «Слово» митр. Киевского Илариона в позднейшей литературной традиции // *Slavia*. — 1928–1929. — N 7. — С. 549–562, 853–870.

РОЗОВ 1963: Розов Н. Н. Синодальный список сочинений Илариона — русского писателя XI в. // *Slavia*. — 1963. — N 32. — С. 141–175.

ТОПОРОВ 1982: Топоров В. Н. Потоп // Мифы народов мира. — М., 1982. — Т. 2. — С. 324–326.

ТОПОРОВ 1983: Топоров В. Н. «Слово о законе и благодати» и истоки древнерусской литературы // *Wiener slavistisches Jahrbuch*. — 1983. — Bd. 29. — S. 91–104.

ТЫНЯНОВ 1977: Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977. — С. 52–77.

«БУДЕТ, БУДЕТ ВЕЛИКОЕ УПРОЩЕНИЕ!...»
(МАРК АЛДАНОВ И ДОСТОЕВСКИЙ)*

СЕРГЕЙ МИТЮРЕВ

Романы Алданова при несомненной достоверности бытовых и исторических реалий, в рамках которых оправлены вымышленные события и персонажи, отличает высокий уровень цитатности. В произведениях так называемого русского цикла — в первую очередь, в трилогии («Ключ», «Бегство», «Пещера») и в тесно примыкающих к ним по своей проблематике «Начале конца», «Истоках», «Самоубийстве» — ее источником является обширный корпус русских романов от Пушкина до Боборыкина. Функции и значение этих скрытых и явных цитат и аллюзий достаточно разнообразны.

Исследователи творчества писателя обычно указывают на толстовское начало его романов. Нам представляется, что эта зависимость от Толстого проявляется у Алданова главным образом в самой манере повествования, «бытописательной» стороне его творчества, отчасти — в изображении «диалектики души». В идейном же плане воздействие Достоевского на Алданова значительно более ощутимо, чем влияние толстовства.

В свое время параллель между Алдановым и Достоевским наметил еще Г. Адамович, писавший: «Замечательно, однако, что при внутреннем безразличии Алданова к Достоевскому он кое в чем ближе к нему, чем к Толстому, которого считает своим учителем. Как у Достоевского, у него отсутствует природа. Как у Достоевского, его герои часто беседуют на отвлеченные темы и даже могут быть поделены на тех, которые больше говорят, и тех, которые больше действуют. Как у Достоевского, у Алданова — особенно

*This result was supported by the Research Support Scheme of the Central European University grant: CEU/RSS N: 352/93.

в его ранних произведениях — фабула (именно фабула: не содержание) окрашена в тона загадочно-двоящиеся... Правда, родство не идет глубоко. Устремление, тон, склад, самый ритм алдановской прозы — все это от Достоевского бесконечно далеко. Но в приемах есть сходство».¹

Исследование судеб русской интеллигенции и русской революции было бы невозможным не только без учета реального исторического контекста, но и без обращения к наследию тех писателей и мыслителей, в творчестве которых эти проблемы занимали центральное место. Появление в этом ряду Достоевского оказывалось неизбежным даже и вне зависимости от личных литературных пристрастий и симпатий писателя.² Речь идет не просто об упоминании отдельных произведений и персонажей Достоевского (хотя и они весьма многочисленны), а о сознательном использовании сюжетных ходов и мотивов его романов, интерпретации ключевых идеологем и проч. Подобного рода проекции расширяют содержательно-смысловое пространство романов Алданова, вписывают их в определенную историко-культурную перспективу, одновременно формируя как бы дополнительное художественное измерение.

Восприятие Алдановым Достоевского в качестве «пророка русской революции» отчетливо сказалось в романе со знаменательным названием «Истоки». В эпизоде беседы с профессором Черняковым Достоевский, выступающий в этом произведении в качестве самостоятельного персонажа, высказывает пророческие суждения о грядущей русской революции, о предстоящем «великом упрощении», об отмене Христа: «У нас все Нечаев на Нечаеве сидит. Или мальчишки только что из гимназии отменяют Христа. Да что об этом говорить! <...> Ох, будет в России революция — и какая страшная! <...> Будет, будет великое упрощение. Это бы еще тоже не беда, да только ох, глупое оно будет!»³ Именно эти пророчества, только уже в осуществленном виде, и были показаны в алдановской трилогии, завершенной писателем еще до начала работы над «Истоками». Таким образом, сам Алданов дает нам «ключ», позволяющий проникнуть в глубокий смысл составляющих трилогию романов.

Уже в первом романе трилогии — «Ключ» — влияние Достоевского ощущается очень мощно, «эстетический, художественный космос Достоевского составляет особую,

неповторимую ауру»⁴ произведения. Сам принцип сюжетостроения — завязка чисто криминального типа, не перерастающая, однако, в сугубо детективное повествование, а служащая лишь отправной точкой для исследования более глубоких процессов, характеризующих духовное состояние общества, — восходит к романам Достоевского. На эту особенность произведений Алданова, никак не соотнося ее, впрочем, с влиянием Достоевского, указывал Ч. Николас Ли, писавший: «Действие алдановских вещей сложное и захватывающее. В романе он видит «самую свободную форму искусства, включающую в себя и поэзию, и драму (диалог), и публицистику, и философию». Занимательность его книг покоится не только на умелом построении, но и на элементе уголовщины, присущем им всем».⁵ Пожалуй, именно у Достоевского — по крайней мере, в русской литературе — синкретизм романной формы достиг наиболее полного выражения, и были кардинальным образом переосмыслены традиционные схемы авантюрного повествования.

Впервые имя Достоевского, «великого правдолюбца и правдоискателя», так хорошо «понявшего и описавшего таинственную и жестокую поступь рока» (3, 27), появляется в романе «Ключ» в речи, которую готовит для произнесения в судебном заседании адвокат Кременецкий. Из самого контекста этой речи совершенно очевидно, что вставлено это упоминание в нее именно «ради красного словца», а вовсе не наоборот, как почему-то полагает Н. Старосельская.⁶ О доведенном до высокой степени изощренности умении украшательства, присущем Кременецкому, говорят в беседе друг с другом и его помощники: « — Он вам и народную мудрость зажарит, он и стишок скажет, и Настасью Филипповну запустит.

— Достоевского знает, как сенатские решения» (3, 29).

Истинную роль рока как в отдельной человеческой жизни, так и в исторической судьбе целого общества Кременецкому, да и многим другим героям трилогии, еще предстоит понять и ощутить, пока, наконец, он, лишившийся и былого положения, и состояния, и вместе с тем самоуспокоенности, не погибнет, подобно Мармеладову, под колесами, — раздавленный, как и тот «пьяненький» герой Достоевского, самой судьбой («Пещера»).

В том-то и дело, что пророчества Достоевского у персонажей алдановской трилогии — это, в основном, ли-

бо неуслышанные, либо непонятые (а познанные суто-бо буквально — «как сенатские решения») пророчества. Это недопонимание хорошо ощущает в себе англичанин Клервилль, далекий от русской стихии и потому способный взглянуть на нее со стороны. Мир писателя представляется ему «чужим, искусственным миром». Холодно-рационалистическое отношение Клервилля ко всему не позволяет ему принять Достоевского: «Клервилль искренно восторгался «Легендой о Великом инквизиторе». Однако его коробило и даже оскорбляло, что высокие философские и религиозные мысли высказывались в каком-то кабаке странным человеком — не то отцеубийцей, не то подстрекателем к убийству. Это чтение досталось Клервиллю нелегко, и он был искренно рад, когда со спокойной совестью, с надлежащей дозой восхищения отложил в сторону обязательные книги Достоевского» (3, 201 — 202).

Характерно и то, что временное проникновение Клервилля в мир Достоевского (или хотя бы приближение к нему) происходит не рассудочным, рациональным, а чувственно-интуитивным путем, через его отношения с Мусей Кременецкой, когда и сам он в вечер чествования Семена Исидоровича неожиданно попадает в призрачную и в то же время сутобо реальную атмосферу «какого-то кабака» на островах.

Муся Кременецкая, для которой Достоевский был «любимым писателем», также находится на своем уровне непонимания и ложной самоидентификации, видя в себе чуть ли не инферналочку в духе Настасьи Филипповны или Грушеньки, а на самом деле оказываясь гораздо ближе к героиням вроде Сонечки Мармеладовой или Дуни, и эта ее готовность к самопожертвованию во имя других особенно отчетливо проявляется в заключительной части трилогии. Позднее и Клервилль, оказавшись вне пределов России и, видимо, охладев к Мусе, вновь приходит к убеждению, что Достоевский — не более чем «экзотика», «самообман: ложная значительность пустых разговоров, вера в глубину балалаечных оркестров и балалаечных чувств» (4, 301). Противопоставление западной и русской души (или, если угодно, менталитета), восходящее к известным размышлениям Достоевского, сформулирует в разговоре с тем же Клервиллем Браун, происходящий, кстати, из обрусевших немцев: «Никакой ненависти к России у вас нет. Правда, вам очень трудно поверить, что на русском горизонте (он подчеркнул эти слова) могут быть

явления покрупнее и поважнее европейских, — все равно, положительные или отрицательные. . . » (4, 139).

Очевидным двойником Порфирия Петровича в романе «Ключ» является умнейший и пронизательнейший Федосьев. Подобно герою Достоевского, он «запросто» принимает у себя Брауна и, ссылаясь на прочитанные главы брауновского труда, при помощи невинных, на первый взгляд, вопросов, пытается загнать подозреваемого в ловушку. Книга, которую пишет Браун, вызывает несомненные ассоциации со статьей Раскольникова или с «поэмой» Ивана Карамазова — и там, и тут герои не просто «философствуют», но объективируют свою идею, созерцают ее со стороны, лишний раз утверждая собственное право **быть** такими, как есть. Однако, несмотря на то, что Федосьев оказывается достойным учеником Порфирия Петровича в усвоении принципов психологической игры с предполагаемым преступником в «кошки-мышки», начальник тайной полиции империи все же уступает приставу следственных дел. Порфирий Петрович, в отличие от Федосьева («Свою собственную задачу Достоевский тоже немного упростил: мальчишка убил ради денег. Интереснее было бы взять богатого Раскольникова» — 3, 223), прекрасно понимает истинные мотивы, толкнувшие Родиона Романовича на преступление, и не удивительно, что «проницательность» Федосьева, проявившаяся в подозрениях в отношении Брауна, будет, в конечном итоге, полностью опровергнута предсмертным письмом последнего («Пещера»).

Да и путь самого Федосьева на страницах трилогии: первое лицо в тайном сыске империи, глава антибольшевистского заговора и, наконец, скромный монах в маленьком нормандском городке, — отражает не столько изменения его внешней биографии, сколько этапы духовной эволюции героя. По сути, это путь постепенного приближения к тем истинам жизни, которые и не могут быть поняты иначе, как ценой горького опыта собственных ошибок и разочарований. Возможно, это и есть одна из самых скрытых и в то же время самых «достоевских» «цитат» у Адданова, поскольку подобной логике подчинены судьбы всех героев Достоевского, стремящихся познать правду.

Не менее важную роль в понимании проблематики «Ключа» и трилогии в целом играет и код «Братьев Карамазовых». Подобно тому, как убийство Федора Павловича получило широкий резонанс далеко за пределами Ското-

пригоньевска, отразив в себе, как «в капле воды», наиболее острые духовные проблемы всего общества, так и убийство (или самоубийство) Фишера, по мнению героев Алданова, является «характерным для упадочной эпохи и для строя, в котором мы живем». Мотив упадка и грядущей гибели цивилизации, намеченный в романе Достоевского (вспомним сравнение Федора Павловича Карамазова с «римским патрицием периода упадка империи»), получает развитие в трилогии Алданова. О грядущей катастрофе, в частности, неоднократно говорит Браун: «Отчего гибнем, не знаю. По совести, я никакого рационального объяснения не вижу. Так в свое время, читая Гиббона, я не мог понять, почему именно погиб великий Рим. Должно быть, и перед его гибелью люди испытывали такое же странное, чарующее чувство. Есть редкое обаяние у великих обреченных цивилизаций» («Ключ» — 3, 96). Упоминание о «римлянах времен упадка» появляется и в рассуждениях Брауна о погибшей России («Пещера»).

Разумеется, аналогии отнюдь не исчерпываются отдельными совпадениями оценок и сравнений. В фигуре самого Фишера есть немало если не от Федора Павловича Карамазова, то от «карамазовщины» во всяком случае, а его оргии на «квартире N 4» весьма напоминают кутежи «старого сладострастника» в Мокром. И хотя «судебной ошибке» в «Ключе», в отличие от «Братьев Карамазовых», случиться не суждено, это мало меняет суть дела, поскольку, по словам того же Брауна, «на скамью подсудимых в уголовном суде в большинстве случаев попадают все же люди весьма невысокого уровня. Преступления, в которых их обвиняют, они, может быть, и не совершили, но особенно жалеть о них тоже нечего» (3, 163).

Диалектика, которой подчинены судьбы героев Алданова, подчас оказывается ничуть не менее трагичной и катастрофичной, чем и судьба России в целом. Это наглядно видно на примере Брауна. Алданов наделяет этого героя и хладнокровным отношением к проливаемой крови, заставляющим вспомнить построения Раскольниковова, и скептическим теоретизмом Ивана Карамазова (ср. также характеристику Брауна как «провинциального демона» и черта — двойника Ивана), и неверием и разочарованием во всем Ставрогина (брауновский «аттилизм»): «Я подвергаю критике разные наши утверждения и догматы. Отношение мое к ним какой-то остроумец назвал аттилическим: я, мол, как Аттила, все предаю мечу и огню. Но

это очень преувеличено. Притом, повторяю, у меня чистая теория» (3, 131). Опасность подобных теорий, однако, хорошо понимает Федосьев, замечающий в ответ: «Но если слушатели ваших лекций начнут бить разные зеркала, то, боюсь, новые будет вставить трудно» (3, 131). Ставшая активнейшей деятельницей большевистского «бесовства» Карова, в свое время прилежно посещавшая лекции Брауна, в такой же мере является его детищем, как Петруша Верховенский — духовным выкормышем Ставрогина. Только вновь, по тому же закону «великого упрощения», предсказанному Достоевским, вселенская скорбь учителей оборачивается глумливой безнравственностью их учеников, а богоборчество вырождается в заурядное богохульство. «Обезьянья идея», лежащая в основе большевизма, не только генетически, но и типологически объединяет их с «бесами» Достоевского, а сама революция предстает со страниц алдановских романов как реализованный кошмар шигалевщины.

Брауну, материалисту и скептику (недаром Алданов делает его химиком), суждено пройти все те этапы разочарования, на которые обречен человек, заключенный в тиски рационально-логического отношения к жизни. Цитаты из речей Ивана Карамазова, постоянно появляющиеся в монологах Брауна, только подчеркивает еще большую, нежели у героя Достоевского, степень утраты веры и смысла существования: «Для меня настало время, когда ничто больше не радует, а все расстраивает и, в особенности, все раздражает. Могу уйти просто, могу уйти с шумом. И разницы большой нет. . . Полная потеря любви и интереса к жизни, только и всего. И «билет почтительно возвращать» не надо: спектакль все равно подходит к концу» (4, 352). Сам того поначалу не осознавая и, скорее всего, нисколько не желая, Браун оказывается вовлеченным в бесчисленные «духовные маскарады», оторвавшие русскую интеллигенцию от «почвы», столкнувшие ее в бездну неверия и губительного скептицизма.

Не случайно, что от романа к роману в Брауне все больше усиливается безысходное ставрогинское начало — «не холоден, не горяч, а только тепл», — ведущее его к самоубийству с той же неизбежной закономерностью, как Кириллова, Ставрогина. Лишь накануне смерти Брауну приоткрывается истинная причина произошедшей с ним духовной катастрофы, и он вспоминает известные слова Шатова о неверии. Будущее русской интеллигенции ри-

суется ему в безрадостных тонах: «Ходить на митинги со стыдливой любовью к России, пережевывать глубины Достоевского... Зарабатывать хлеб, как умеем... Станем бедными родственничками Европы — дальними, такими дальними, что почти даже и не родственники. В душе потеряем веру в свою великодержавность, которую прежде не любили и даже не замечали» (4, 346). Под знаком моральной обреченности той, прошлой России, так и не сумевшей выполнить никакой особой всечеловеческой роли (в позитивном смысле, во всяком случае), проходит и весь последний разговор Муси с Брауном. Произносимый им монолог свидетельствует об окончательном истощении души вчерашнего скептика и рационалиста. «Дьявол водевиль» (вот и опять Браун цитирует героев Достоевского, только на сей раз уже не Ивана Карамазова, а его зловещего двойника — черта) чреват для человека слишком многими искушениями и обманами, и все оказывается подернуто пеленой ирреальности, неправды, — и «люди, на свое несчастье, постоянно принимают метафору за действительность, а действительность за метафору» (4, 353). Ставрогинское начало в Брауне просматривается не только в его духовном изнурении и утрате веры в какие-либо положительные ситуации романа «Пещера», явно восходящих к «Бесам»: последние свидания Муси с Брауном и Лизы со Ставрогиным, визит к монаху Федосьеву — Ставрогин у Тихона (не вошедшая в основной текст романа глава), предсмертное письмо Брауна Федосьеву — исповедь Ставрогина и т.д.

Не раз возникает на страницах алдановской трилогии и важнейшая для Достоевского тема «русских мальчиков». Как известно, в сознании Достоевского 1870-х гг. именно с молодым поколением были связаны надежды на преодоление шатаний и на гармонизацию жизни, особенно усилившиеся в связи с войной на Балканах. В февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский отмечает (глава «О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном»): «Юношество наше ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете: судьбою и жизнью; но ведь все это единственно потому, что считает свой парадокс за истину. Тут лишь непросвещение: подоспеет свет, и сами

собою явятся другие точки зрения, а парадоксы исчезнут, но зато не исчезнет в нем чистота сердца, жажда жертв и подвигов, которая в нем так светится теперь — а вот это-то и всего лучше».⁷

Любопытно, что эта сторона духовного облика позднего Достоевского не нашла практически никакого отражения в связанных с ним эпизодах романа «Истоки» (за исключением, разве что, беглого упоминания Черныкова о «полевлении» писателя, напечатавшего свой последний роман — имеется в виду «Подросток» — в демократических «Отечественных записках»). Мало вероятно, что эти новые черты мировоззрения позднего Достоевского остались Алдановым незамеченными — скорее, они были сознательно вынесены им за скобки создаваемого романного образа в свете исторического опыта, подтвердившего именно мрачные пророчества Достоевского, а никак не его оптимистические прогнозы.

Вот и «русские мальчики» у Алданова — те и не те, и сами они хорошо осознают это (ср. в «Бегстве»: «Мы не «русские мальчики», которыми старательно и непохоже восхищался Достоевский» — 3, 394). Свое сюжетное выражение тема «русских мальчиков» получает в первую очередь в линии Вити Яценко, и важно, что тот постоянно сравнивает себя с героями Достоевского, пусть и констатируя собственную несхожесть с ними: «У Достоевского неправда, будто русские мальчики обычно разговаривают друг с другом о Боге и о бессмертии души и будто, если русскому мальчику дать карту звездного неба, то он на следующий день вернет ее исправленной. Я русский, а почти никогда о Боге с товарищами не говорил. А уж карту звездного неба и не подумал бы исправлять: напротив, благоговел перед чужой ученостью. . . » («Пещера» — 4, 275—276). Цитируя слова Алеши Карамазова, рассказывающего Коле Красоткину об отзыве «одного заграничного немца, жившего в России, об нашей теперешней учащейся молодежи», Витя — сознательно или интуитивно, а скорее, в силу поверхностного знакомства с творчеством Достоевского, — «забывает» о том, какую реакцию они вызвали у участников беседы. Алеша заключает: «Никаких знаний и беззаветное самомнение — вот что хотел сказать немец про русского школьника.

— Ах, да ведь это совершенно верно! — захохотал вдруг Коля, — вернисьмо, точь-в-точь! Bravo, немец! Однако ж чухна не рассмотрел и хорошей стороны, а, как

вы думаете? Самомнение — это пусть, это от молодости, это исправится, если только надо, чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с самого чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а не дух ихнего колбаснического раболепства перед авторитетами. . . Но все-таки немец хорошо сказал! Браво, немец! Хотя все-таки немец надо душить. Пусть они там сильны в науках, а их все-таки надо душить. . . »⁸

Ожидаящие Витю Яценко недоумения, впрочем, вполне предвидит его отец, грустно размышляющий об утрате нравственных ориентиров и основ поколением, к которому принадлежит его сын: «Какой сумбур у него в голове! . . . Вот у Вити уж никакой веры нет и не будет!.. Хорошо же моральное наследство, которое он от меня получит!» (3, 170), а между тем, «без твердой религиозной веры никак не может быть оптимистического миропонимания» (3, 169). Так в трилогии Алданова возникает тема «отцов и детей», решаемая писателем вполне в духе Достоевского — как признание моральной ответственности старшего поколения за безверие и духовный разброд младшего («Бесы», «Подросток»). Разрыв преемственной связи между «отцами» и «детьми» заставляет Брауна скептически прогнозировать будущее человечества: «Каждое из поколений поносит, высмеивает, позорит все, к чему стремилось поколение предыдущее. «Дети» составляют свое духовное добро из того, что считали отбросами «отцы», — как духи готовятся из дурно пахнущих веществ и на такие же вещества со временем распадутся. Кризис отныне вечное состояние человечества» («Пещера» — 4, 351 — 352).

С другой стороны, рассуждения Вити лишний раз подтверждают справедливость прогнозов Достоевского, ибо выводы, к которым приходит, сравнивая себя с устремленными к «проклятым вопросам бытия» героями Достоевского, юный Яценко, — это ведь тоже результат уже произошедшего «великого упрощения». Вот и Браун уверенно заявляет Мусе, что русским суждено отныне стать таким же народом, как англичане, немцы, французы. Идея Святой Руси, призванной возродить Европу и обновить человечество, рушится вместе с самой этой Святой Русью — и, как представляется Алданову, навсегда.

Любопытны и некоторые сюжетные параллели с романом Достоевского «Подросток», особенно отчетливо про-

являющиеся в «Пещере», где линии Вити уделено несколько большее место в сюжетном пространстве, чем в предшествующих произведениях трилогии. Как Аркадий Долгорукий, так и Витя Яценко фактически находятся на содержании (первый — у князя Сережи Сокольского, второй — у Клервиллей), чем в определенный момент начинают сильно тяготиться. Объединяет героев и мотив «жизни в чужих людях». Оба «подростка» испытываются прежде всего через ситуацию влюбленности: Вити в Мусю и Аркадия в Катерину Николаевну, преодоление мук ревности и проч. Средством «искушения» героев на пути к достижению искомой цели является «письмо» (в «Пещере» письмо Вити к Клервиллю не написано, так же, как Подростком «могущественный документ» не пущен в ход). Однако, в отличие от героя Достоевского, преодолевающего в результате сложных испытаний нравственный сумбур и определяющего для себя вполне реальную перспективу, Витя так и остается до последнего момента в плену сомнений и неразрешимых вопросов. Его состояние абсолютно адекватно переживаниям Аркадия в момент наибольшего душевного разлада: «На душе моей было очень смутно, а целого не было; но некоторые ощущения выдавались очень определенно, хотя ни одно не увлекало меня за собою вполне вследствие их обилия. Все как-то мелькало без связи и очереди, а самому мне, помню, совсем не хотелось останавливаться на чем-нибудь или заводить очередь».⁹

Намерение Вити Яценко бежать в армию, чтобы с оружием в руках «драться за правое дело», свидетельствует о том, что юный герой Алданова вполне наделен героизмом и даже подвижничеством, на которые возлагал, рассуждая о всемирной миссии «русских мальчиков», огромные надежды Достоевский, только эти качества не способны ничего изменить и в общем-то никому особенно не нужны. Исчезновение Вити есть столь же логическое завершение его духовных блужданий, как и самоубийство Брауна, бывшего в течение некоторого времени наставником Вити. Мысли о самоубийстве не чужды и самому юному Яценко. Как и в публицистике Достоевского, и в его романах 1870-х гг., тема самоубийства, нарастая в алдановской трилогии от романа к роману, становится последним выражением той нравственной и политической катастрофы, которую потерпела русская интеллигенция. В последнем романе Алданова с одноименным названием самоубийство

предстанет в качестве грандиозной метафоры гибели всей европейской, в том числе и русской, цивилизации.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Адамович Г. Одиночество и свобода: Литературно-критические статьи. — СПб., 1993. — С. 78—79.
- 2 Впрочем, о несомненном интересе Алданова к творчеству Достоевского свидетельствуют его выступления в эмигрантской периодике. В 1928 г. в связи с выходом в Риге полного собрания художественных произведений Достоевского Алданов публикует сочувственную рецензию в «Современных записках» (1928. — N 37), а двумя годами позже в том же журнале печатается его эссе «Из записной тетради: Мысли о Достоевском и Толстом» (Современные записки. — 1930. — N 44).
- 3 Алданов М. Собр. соч.: В 6 т. — М., 1991. — Т. 5. — С. 51—52. Далее ссылки на это издание даются в тексте в скобках, с указанием тома и страницы.
- 4 Старосельская Н. «Волнующая связь времен». Отсвет Достоевского в двух романах Марка Алданова // Литературное обозрение. — 1992. — N 7—9. — С. 29.
- 5 Николас Ли Ч. Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество // Русская литература в эмиграции / Под ред. Н. П. Полторацкого. — Питтсбург, 1972. — С. 101.
- 6 Старосельская Н. Указ. соч. — С. 30.
- 7 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1981. — Т. 22. — С. 41—42.
- 8 Достоевский Ф. М. — Т. 16. — С. 52.
- 9 Достоевский Ф. М. — Т. 13. — С. 140.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕМА
В РОМАНЕ НАБОКОВА «ДАР»

СЕРГЕЙ ДАНИЭЛЬ

Нижеследующий текст не претендует быть специальной набоковедческой штудией; это не более чем наблюдения над текстом романа, рассмотренного под определенным — *петербургским* — углом зрения. Предварительно позволю себе, однако, высказать два соображения относительно набоковского творчества в целом.

Первое — о сквозном мотиве, своего рода *idée fixe* Набокова — *возвращении домой* — разумеется, не реальном (ибо таковое невозможно), но именно невозможностью своей провоцирующем воображение и побуждающем разыгрывать его во всевозможных сослагательных оттенках. Вот один из таких «сценариев» (из первой главы «Дара») с символическим зачином «быть может»:

«Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением, несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком пройду стезжкой вдоль шоссе с десятков верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона, — сядет, оправит сложившееся не так крыло. Погода будет вероятно серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стопа, в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то — или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого (но все-таки кое-что, бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу — хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость), то, после всех

волнений, я испытаю какую-то удовлетворенность страдания — на перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано (только и знаю, что оно будет с пером в руке). Но одного я наверняка не застану — того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов моего детства».¹

Таков один из вариантов инвариантной набоковской темы: ретроспектива, выдающая себя за перспективу. Впрочем, это проект возвращения еще не в город, а в пригород (что не изменяет дела по существу). Варианты той же темы находим в романе «Подвиг» (собственно, весь роман представляет собой ее развертывание, и смысл подвига состоит в осуществлении невозможного проекта), рассказе «Посещение музея» и т. д.²

Второе соображение касается особой роли зрения в поэтике Набокова, его *преизбыточной зоркости* и магической способности выдавать часть за целое, а точнее, *зримо явленной деталью* воссоздавать полноту всех ощущений — слуховых, тактильных, обонятельных, даже вкусовых. В этом смысле можно говорить о преобладании визуально-иконического начала в поэтике Набокова.

«Нам даже думается, — сказано в авторецензии Годунова-Чердынцева, героя «Дара», — что может быть именно живопись, а не литература с детства обещалась ему, и, ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно воображаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками.

Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик —
все в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,
в лучах граненого стекла —
какие краски засверкали,
какая радость расцвела!³

Поэтика Набокова во многом — *оптика*, то есть поэтика отражений, преломлений, рефлексов и т. п.

«Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку, — рецензирует себя герой «Дара». — Слепому на паперти она ничего не может сказать. У, какое у автора зрение <курсив мой. — С. Д.>! Проснувшись спозаранку, он уже знает, каков будет день по щели в ставне, которая

синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
воспоминанию о ней <... >»⁴

Зрение набоковского героя — это памятливое зрение. Создается впечатление, что он вглядывается в прошлое, буквально следуя знаменитому совету Леонардо да Винчи, который предлагал художнику рассматривать запачканные разными пятнами стены, или камни из различной смеси, или пепел, или облака и т.п., извлекая из них изображения, так же как в звоне колокола можно найти «любое имя или слово, какое ты себе вообразишь».⁵

И в установлении своего литературного родства чрезвычайно ревнивый Набоков придавал этой — зрительно-изобразительной — линии особое значение. Напомню фрагмент из эссе «Николай Гоголь».

«Разницу между человеческим зрением и тем, что видит фасеточный глаз насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише, сделанным на тончайшем растре, и тем же изображением, выполненным на самой грубой сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Так же относится зрение Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей. До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы, которые она замечала, были лишь очертаниями, подсказанными рассудком; цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т.д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе солнца может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густо-синим, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-«классика», привыкшего к неизменной общепринятой цветовой гамме французской литературы XVIII века. Показателем того, как развивалось на протяжении веков искусство описа-

ния, могут послужить перемены, которые претерпело художественное зрение; фасеточный глаз становится единым, необычайно сложным органом, а мертвые, тусклые «принятые краски» (как бы «врожденные идеи») постепенно выделяют тонкие оттенки и создают новые чудеса изображения». ⁶

В контексте романа «Дар» обозначенные темы — вращения, памяти, памятливого зрения, художественной зоркости и детства — тесно сопряжены с *петербургской темой*, как если бы своим даром герой обязан этому месту, хотя, конечно же, это более всего «*петербургский текст*» русской литературы. ⁷ Таким образом, речь идет не только о Петербурге как предмете воспоминания и изображения, но о специфическом «петербургском» *способе зрения*, проливающим свет на литературную родословную героя.

И способ включения петербургской темы — специфически-оптический: «Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел — с той быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу — как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад». ⁸ Это мгновенное видение немедленно обращает мысль героя к его книге, только что вышедшему сборнику стихов, а вместе с тем — к потерянному раю детства, к России, к Петербургу. Воображаемая рецензия представляет собой как бы раму для жизнеописания героя; игровое включение этого текста сливается с предметом воспоминания — детскими играми — и сопровождается игрой в прятки между «я» и «он» в авторском самоописании. «Автору приходилось прятаться (речь теперь будет идти об особняке Годуновых-Чердынцевых на Английской Набережной, существующем и поныне) в портьерах, под столами, за спинными подушками шелковых оттоманок <...>» и т.д. ⁹ Далее, по принципу *pars pro toto*: «ватная шапка» («снег, нахлобученный на тумбы, соединенные цепью где-то поблизости памятника Петра»); «дымы, позолота, иней Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам художников наших»; знаме-

нитый «полутропический какой-то, полутаврический сад», куда из Александровского, «волею горячечной мечты, перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михайлович Пржевальский, тут же превращающийся в статую моего отца»; «петербургская весна», полная «волнения и анемонов и первых бабочек» и т.п. — Петербург, представленный метонимически.

Прием этот повторяется, что внушает мысль о некоей скрытой логике. Колебание призрачного отсвета на сыром асфальте служит толчком к возрождению глубинной темы романа. «И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось "Благодарю тебя, отчизна. . .", и тотчас, обратной волной: "за злую даль благодарю. . ."».¹⁰ Здесь важно обратить внимание на сокрытие ключевого слова «дар» (ср. начальные варианты: «Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар»; «Благодарю тебя, Россия, за чистый и крылатый дар»), представленного теперь анаграммой: «за злую даль благодарю».¹¹ Следующая сразу же за этим эпизодом встреча Федора Константиновича с дамой (Маргаритой Львовной, женой гешихтсмалера Лоренца, владелицей упомянутого зеркального шкапа), и живописцем Романовым (которому герой обязан первым упоминанием имени возлюбленной — Зины Мерц) многозначительно отзовется в конце романа, когда судьба, так сказать, откроет карты, и идея романа — уже состоявшегося — предстанет *explicitе*. Герой сам расскажет об этом своей возлюбленной, имя которой извлекается им из имени матери муз Мнемозины. Таким образом, как бы случайная встреча предвещает явление музыки, соотносясь с ключевой темой романа и проливая пока еще призрачный свет в сокровенную глубину текста.

У автора «Дара» и его *alter ego* — Федора Константиновича Годунова-Чердынцева — есть исторический и литературный антагонист, по-своему репрезентирующий *петербургскую тему* романа: это Николай Гаврилович Чернышевский. С первых же строк скандально знаменитой четвертой главы звучит мотив близорукости («в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям»). Далее — о ландшафте, воспетом Гоголем и уклонившемся от очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича по

дороге в Петербург. И еще: «Развивается, замечаем, и тема «близорукости», начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы. Первые, медные, очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум...» и т.д.¹² А вот и Петербург, увиденный набокковским Чернышевским: «Нева ему понравилась своей синевой и прозрачностью <здесь и далее курсив мой. — С. Д.>, — какая многоводная столица, как чиста в ней вода (он ею немедленно испортил себе желудок); но особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов: как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим; из связи вывести благо».¹³ Примеры легко умножить. Петербург Чернышевского — такой же антагонист набокковского Петербурга, и «тема очков» в контексте четвертой главы приобретает явно пародийный характер. Автор «Эстетических отношений искусства к действительности» слеп именно в эстетическом отношении к Петербургу, и «петербургский текст» четвертой главы находится в оппозиции к «петербургскому тексту» героя и автора «Дара». Близорукость здравого смысла противопоставлена изоощренной поэтической оптике наследника Пушкина и Гоголя. Петербург, увиденный сквозь очки Чернышевского, представлен, говоря словами Набокова, «с шутовской тенью подражания — как пародия всегда сопутствует истинной поэзии».

Как бы случайный эпизод с зеркальным шкапом, столь многозначительный в судьбе героя «Дара», отсылает нас к пушкинскому «магическому кристаллу» (который, как показал Ю. М. Лотман, связан с гаданием¹⁴); здесь судьба *naragala* герою его роман. Впрочем, если перейти от героя к автору, не один роман: в «Даре» мы находим идеи, по крайней мере, еще двух романов Набокова — «Лолиты» и «Приглашения на казнь» (что не осталось, конечно, незамеченным¹⁵). Сознательный характер отсылки к «магическому кристаллу» как художественному символу высшего порядка косвенным образом подтверждается в заключительных строках романа: «Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но удалется поэт»...

Если до Пушкина и Гоголя русская литература, по словам Набокова, была подслеповатой, то и после них ясное

зрение не было гарантировано. Набоковский Чернышевский — тому пример. Более того, слепота, воплощаемая его романном образом, служит причиной событий, приведших к реальному и литературному изгнанию автора и его alter ego. «Отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? — размышляет Годунов-Чердынцев. — Или в старом стремлении «к свету» таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот «свет» горит в окне тюремного надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых? И «что делать» теперь? <курсив мой. — С. Д.>». ¹⁶ Это было написано, когда Петербург уже стал Ленинградом.

Разумеется, читатели и критики, видевшие в главе о Чернышевском чуждую романному целому вставку, были абсолютно слепы именно к этому целому, а в особенности к образу набоковского Петербурга.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. / Сост. В. В. Ерофеева. — М., 1990. — Т. 3. — С. 24. В дальнейшем все ссылки на это издание: Набоков, N тома и страницы.
- 2 Ср., напр.: «Нет, я сейчас проснусь», — произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять, — и где-то раздавался, удаляясь, мягкий ленивый и ровный стук копыт, и снег ермолкой сидел на чуть косою тумбе, и он же смутно белел на поленнице из-за забора, и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, казанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. Полупризрак в легком заграничном костюме стоял на равнодушном снегу, октябрьской ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть и на Обводном канале, — и надо было что-то делать, куда-то идти, бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою незаконную жизнь. О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность, было действительным все, — и воздух, как бы просеянный снегом, и еще не замерзший канал, и рыбный садок, и особенная квадратность темных и желтых окон» («Посещение музея»: Набоков, 4, 359).

- 3 Набоков, 3, 26.
- 4 Там же.
- 5 См.: Леонардо да Винчи. Избранные произведения: В 2 т. — М.; Л., 1935. — Т. 2. — С. 107—108.
- 6 Цит. по: Набоков В. Николай Гоголь / Пер. с англ. Е. Гольшевой. Публ. и подгот. текста В. Гольшева // Новый мир. — 1987. — № 4. — С. 204.
- 7 См. об этом в известных работах В. Н. Топорова, в частности: Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы (введение в тему) // Семиотика города и городской культуры. Петербург: Тр. по знаковым системам XVIII. — Тарту, 1984. — С. 4—29.
- 8 Набоков, 3, 7—8.
- 9 Там же, 15.
- 10 Там же, 50.
- 11 См. об этом в известной работе Мих. Лотмана «Некоторые замечания о поэзии и поэтике Ф. К. Годунова-Чердынцева» (Вторичные моделирующие системы. — Тарту, 1979. — С. 47—48).
- 12 Набоков, 3, 193.
- 13 Там же, 194.
- 14 Комментируя пушкинские строки:
И даль свободного романа
я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал, —
Ю. М. Лотман пишет: «*Магический кристалл* — стеклянный шар, служащий прибором при гадании. Освещая его свечой с обратной стороны, гадающий всматривается в появляющиеся в стекле туманные образы и на основании их предсказывает будущее <...>» (Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. — Л., 1980. — С. 370.). В связи с преобразованием этой темы у Набокова уместно вспомнить и о *гадании по зеркалу* (ср. гадание и сон Татьяны в «Евгении Онегине»).
- 15 В качестве сравнительно недавнего примера приведу доклад А. А. Данилевского на конференции в Бергамо (Il Testo Letterario e l'Immaginario Architettonico, 1-3 aprile 1993), где была развита мысль о том, что прототипом Цинцинната (главный герой «Приглашения на казнь») послужил именно Н. Г. Чернышевский (хотя я больше настаивал бы на пародийной стороне дела). Что же касается замысла «Лолиты», то текст «Дара» свидетельствует об этом недвусмысленно: «Однажды, заметив исписанные листочки на столе у Федора Константиновича, он сказал, взяв какой-то новый, прочувственный тон: «Эх, кабы у меня было времячко, я бы такой роман

накатал. . . Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, — но еще в соку, с огнем, с жадной счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдове женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду» и т.д. (Набоков, 3, 167).

- 16 Набоков, 3, 157. Стоит специально обратить внимание на то, что тема отчества в «Даре» сливается с пушкинской: «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца» (Там же, 88). И напротив: «Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не «отделка», а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо знает, что хочет сказать» (Там же, 229). Отсюда понятен смысл поэтического заклинания: «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как *родине*, *будь вымыслу верна* <курсив мой. — С. Д.>» (Там же, 140).

ПОЭТИКА ОДНОЙ ШАХМАТНОЙ ЗАДАЧИ В. НАБОВОКА

ОЛЕГ КОСТАНДИ

Шахматная тема в творчестве В. Набокова уже не раз привлекала внимание исследователей.¹ Несомненно, центральным произведением в ее освоении у В. Набокова стал роман «Защита Лужина», который сам писатель в предисловии к английскому изданию сопоставлял с «ретроградным анализом» шахматной задачи и в котором создается особая шахматная стилистика и шахматная мотивировка действия. Примечательно, что разбирая нарративную структуру «Защиты Лужина», один из исследователей романа упоминает общетеоретическую работу В. Шкловского, сопоставившего структуру литературного произведения с шахматной игрой (Tammi 1985: 231). В. Шкловский тем самым обозначил некоторую крайнюю точку отсчета в разработке шахматной темы в литературе. Но В. Набоков интересен именно целенаправленным и глубоко осознанным включением шахматной проблематики в структуру литературного текста. Его можно назвать «самым шахматным» писателем в истории русской литературы, продолжившим традиции А. Пушкина и Ф. Достоевского. Их описания «бездны» карт и рулетки были дополнены В. Набоковым «бездной» шахмат.

В творческом сознании В. Набокова шахматная игра оказывается связанной с эстетическими переживаниями и несет в себе идеи гармонии. В этом плане неслучайно соединение шахмат с музыкальной темой в «Защите Лужина», которое не исчерпывается лишь указанием на моцартовскую прасюжетную линию романа, или же объединение шахмат со структурой стихотворного языка в «Трех шахматных сонетах».

Но В. Набокова привлекают не столько шахматы вообще, сколько особая область в занятии шахматами — составление шахматных задач, чему, по собственному его

признанию, он уделял массу времени в период 1920–1930-х гг. В «Других берегах» он называет свое увлечение «восхитительным и никчемным искусством» и далее поясняет: «Для этого сочинительства нужен не только изощренный технический опыт, но и вдохновение, и вдохновение это принадлежит к какому-то сборному музыкально-математически-поэтическому типу» (Набоков 1990: 289). Эстетическое восприятие шахматной задачи закономерно проецируется В. Набоковым на законы построения литературного текста: «<...> соревнование в шахматных задачах происходит не между белыми и черными, а между составителем и воображаемым разгадчиком (подобно тому, как в произведениях писательского искусства настоящая борьба ведется не между героями романа, а между романистом и читателем <...>)» (Набоков 1990: 290). Это утверждение как нельзя лучше характеризует творчество самого В. Набокова, в котором довольно часто игровое начало (и не всегда шахматное) направляется умелой рукой автора именно на воображаемого читателя, предлагая ему разгадать ту или иную комбинацию в литературной структуре произведения. При этом такая литературная задача не всегда имеет решение, а может оказаться коварно подстроенной авторской ловушкой (ср.: «<...> значительная часть ценности задачи зависит от числа и качества «иллюзорных решений», — всяких обманчиво-сильных первых ходов, ложных следов и других подвохов, хитро и любовно приготовленных автором, чтобы поддельной нитью лже-Ариадны опутать вошедшего в лабиринт» (Набоков 1990: 290).

В произведениях В. Набокова создается особый игровой пласт, работающий по принципу русской матрешки.² Генезис набоковской поэтики в этом плане, думается, связан с традициями символистской неомифологической прозы и поэзии, ориентированных на постоянную дешифровку образов-символов.³ Этот игровой пласт присутствует и в его автобиографическом романе «Другие берега», в котором он хотя и раскрывает «шахматные» механизмы своего творчества, но тут же применяет их в новой вариации.

Речь идет о двух заключительных главах романа, 13-ой и 14-ой, в которых по-набоковски блистательно выстраивается литературно-шахматная задача. Описав свое увлечение шахматами, В. Набоков постепенно переходит в конце 13-ой главы к финалу пребывания семьи Набоко-

вых в Европе накануне оккупации фашистской Германией Франции, к ночи 19 апреля 1940 г., когда совпадают два события: семья Набоковых получает французскую выездную визу в США, и Набоков наконец составляет долго не удававшуюся шахматную задачу, над которой он бился два месяца и считал лучшим своим шахматным проведением. Задача тут же предлагается читателю с обозначением расстановки всех фигур и заданием: «Белые начинают и дают мат в два хода» (Набоков 1990: 293). Далее В. Набоков сообщает, что решение задачи дано в следующей главе. Такова внешняя схема этой литературно-шахматной задачи.

Бросается в глаза нарочитое пересечение литературного и шахматного планов и тот эффект, который формалисты называли «торможением действия», заставляющий читателя деавтоматизировать свое восприятие текста в поисках развязки. Тем более, что решение задачи в следующей главе перед последним абзацем романа дано достаточно двусмысленно. Прерывая повествование, В. Набоков по-стерниански небрежно сообщает: «Кстати, чтоб не забыть: решение шахматной задачи в предыдущей главе — слон идет на с2» (Набоков 1990: 302). Если говорить о чисто шахматной стороне, то В. Набоков, действительно, показывает нужный ход, но одновременно он отсылает читателя за поиском решения обратно в предыдущую главу, тем самым удостоверяя, что в итоге речь идет именно о литературно-шахматной задаче, ибо чисто шахматное решение в 13-ой главе отсутствует.

Вовлекая читателя в литературно-шахматный лабиринт, В. Набоков одновременно дает и правила прочтения своей задачи: «Те, кто вообще решает шахматные задачи, делятся на простаков, умников и мудрецов <... > Моя задача обращена к изощренному мудрецу. Простак-новичок совершенно бы не заметил ее пуанты и довольно скоро нашел бы ее решение, минуя те замысловатые мучения, которые в ней ожидали опытного умника <... >» (Набоков 1990: 291).

Обратимся вначале к истинному решению задачи В. Набокова, связанному с ходом белого слона на с2. Надо сказать, что в скрытности хода — вся соль предложенной шахматной композиции. Этот ход внешне выглядит очень незаметным и почти ненужным, да и сам белый слон находится в стороне от эпицентра событий на последних линиях доски, где сошлись главные силы белых и черных. Отметим попутно, что на доске большое число фигур, осо-

бенно белых, у которых отсутствует лишь шесть пешек. Однако все решает периферийный ход, открывающий четвертую линию для белой ладьи, которая, впрочем, стоит под ударом черного коня, одной из четырех фигур черных.

Очевидно, что литературный вариант этого решения представлен в конце 13 главы, как на то указывает и сам В. Набоков. Структура решения обыгрывается в истории получения визы для отъезда из Франции в США. Концентрация усилий белых на шахматной доске как бы подчеркивает то обстоятельство, что получение визы потребовало массы хлопот (или, как пишет В. Набоков, «нескольких месяцев ходатайств, просьб и брани»). Но все решает, как и в шахматной задаче, незаметный «ход»: «<...> удалось впрыснуть взятку в нужную крысу в нужном отделе, и этим заставить ее выделить нужную *visa de sortie* <...>» (Набоков 1990: 292). Вслед за этим пассажем В. Набоков почти прямо указывает на связь этого эпизода со своей шахматной задачей: «Глядя на мою шахматную задачу, я вдруг почувствовал, что с окончанием работы над ней целому периоду моей жизни благополучно пришел конец» (Набоков 1990: 292).

Начав игру на пересечении литературного и шахматного рядов, В. Набоков производит еще один «синтезирующий» поворот этого сюжета. Он описывает цензурную проверку французскими чиновниками всех его бумаг и книг, в том числе и диаграммы составленной задачи. Его взгляд выхватывает «круглый пуговичный штемпель», в центре которого «видны две прописные буквы, большое «R» и «F», инициалы Французской Республики». Отметим, что весь эпизод с визой дан с французскими вставками, но выделение «R» и «F» на манер шахматной диаграммы можно считать своеобразной анаграммой литературно-шахматной коллизии, в центре которой оказываются «крыса» (чиновник) и слон или, во французском варианте, «rat» и «fou». На возможность такого символического прочтения указывает и зафиксированный Набоковым запредельный цвет штемпеля: «<...> и цвет его последнее слово спектра: *violet de bureau*» (Набоков 1990: 293). Впрочем, все атрибуты цензурной проверки бумаг В. Набокова настолько естественны, что весь пласт шахматных соответствий можно расценивать как очередной виток игры или ироническое подыгрывание воображаемому читателю-разгадчику.

На этом можно было бы закончить вариант «истинного» решения набоковской задачи. Но он лишь отправная точка к иллюзорным комбинациям, без которых настоящая шахматная задача немислима.

В 13-ой главе В. Набоков довольно много говорит именно об иллюзорных комбинациях: «<...> опытный умник пренебрег бы простотой и попал бы в узор иллюзорного решения, в «блестящую» паутину ходов, основанных на теме, весьма модной и «передовой» в задачном искусстве (состоящей в том, чтобы в процессе победы над черными белый король парадоксально подвергался шаху); но это передовое «решение», которое очень тщательно, со множеством интересных вариантов, автор предложил разгадчику, совершенно уничтожалось скромным до нелепости ходом едва заметной пешки черных» (Набоков 1990: 291). Решение, которое предлагает В. Набоков, на этот раз связано с эпицентром событий на последних линиях доски и вращается вокруг проходной пешки на b7, стоящей в окружении своего ферзя и короля. Возвращаясь еще раз к этой комбинации, В. Набоков поясняет: «<...> пешка идет на b8 и превращается в коня, после чего белые тремя разными, очаровательными матами отвечают на три по-разному раскрытых шаха черных: но черные разрушают всю эту блистательную комбинацию <...>» (Набоков 1990: 293). Именно эта комбинация и становится объектом литературной игры в заключительной 14-ой главе.

На доске в набоковской комбинации выделяются ферзь, проходная пешка и король, вобравшие в себя как всю красоту и эффектные внешне возможности белых, так и красоту ответа черных (встречный шах). В заключительной главе романа в центре событий очень похожее по своей структуре сочетание: сам В. Набоков, его жена и сын накануне отъезда в Америку (ср.: «<...> один последний маленький сквер окружал тебя и меня и шестилетнего сына, идущего между нами, когда мы направлялись к пристани, где еще скрытый домами нас ждал «Шамплен», чтобы унести нас в Америку. Этот последний садик остался у меня в уме, как бесцветный геометрический рисунок или крестословица <...>» (Набоков 1990: 302). Примечательно, что В. Набоков дает на втором плане своего повествования отсылку к условности происходящего. Таких метаописаний в 14-ой главе можно найти в избытке (ср.: «Что-то заставляет меня как можно сознательнее примеривать личную любовь к безличным и

неизмеримым величинам, — к пустотам между звезд, к туманностям <...>» — Набоков 1990: 294). Они дополняют шахматную стилистику главы, напоминая читателю об абстрактной отвлеченности происходящего.

Пожалуй, главное место в последней главе занимает сын В. Набокова, которому посвящена подавляющая часть описаний, что можно расценивать как отражение предложенной В. Набоковым шахматной комбинации, в которой центральную роль играет проходная пешка, идущая на b8. В самом этом ходе заключена главная движущая идея комбинации: достигнув последней линии доски, пешка может стать любой фигурой. Символика этого хода в литературном контексте 14-ой главы очевидна: это отъезд в Америку, в страну открытых возможностей и свободы выбора. Это запредельная страна, схожая с последней «запредельной» линией доски, ее «другим берегом». И тут в комбинацию В. Набокова включается другой мощный контекст, идущий параллельно жизнеописанию семьи, — нацистская Германия 1930-х гг. или «тоталитарное государство полового мифа», по В. Набокову, от власти которого он с семьей скрывается в Америке.

Несомненно, что нацизм для В. Набокова — тема очень личная, ибо его жена еврейка. С нацизмом, как указывает последняя цитата, оказывается в 14-ой главе связан и психоанализ З. Фрейда. «Мы все знаем, конечно, как венский шарлатан объяснял интерес мальчиков к поездкам», — прерзительно замечает В. Набоков (1990: 297). Для него, видимо, важно на фоне собственной иносказательной шахматной символики отграничиться от фрейдистской интерпретации, равно как еще раз подчеркнуть иллюзорность своей комбинации. Тем более, что в шахматном варианте, действительно, возникает «фрейдистская» ситуация: продвижение пешки на b8 следующим ходом черных открывает шах белому королю. Таким образом, упоминание фрейдизма становится еще одним средством фиксации событий на шахматной доске. Напомним, кстати, что в набоковском варианте пешка на последней линии становится конем. Отсюда и определенность выбора темы для полемики с Фрейдом (ср. у Фрейда: «Сотрясение при катании в экипаже и при поездке по железной дороге оказывает такое захватывающее действие <...>, что по крайней мере все мальчики хоть раз в жизни хотят стать кучерами и кондукторами») (Фрейд 1990: 170).

В. Набоков постоянно играет на границе иллюзии и реальности. Притом контаминируются бесконечно далекие вещи: факты автобиографии и истории, а с другой стороны — совершенно абстрактная схема шахматной задачи. Это соединение, подобно заведенному механизму, начинает порождать новый поток информации, приближая нас к новому порогу игрового мира В. Набокова. Без большого труда в 14-ой главе можно найти отсылки к его раннему творчеству, обнаружить осколки «Защиты Лужина», «Короля, дамы, валета», «Машеньки» и даже «Лолиты». Но напомним, что в основе игровой комбинации В. Набокова лежит «иллюзорное» решение. Соответственно, отсылку к Фрейдю, которого В. Набоков прямо и резко не принимает, следует расценивать в конце концов как знак иллюзорности предложенного пути и как авторскую ловушку. Надо сказать, что автор сообщает нам об этом еще в 13-ой главе: «Умник, пройдя через этот адский лабиринт, становился мудрецом и только тогда добирался до простого ключа задачи, вроде того, как если бы кто искал кратчайший путь из Питтсбурга в Нью-Йорк и был шутником послан туда через Канзас, Калифорнию, Азию, Северную Африку и Азорские острова» (Набоков 1990: 291).

Однако, пожалуй, главная шахматная ловушка заключена в самой структуре шахматной задачи, ответ на которую любезно предложен В. Набоковым в 14-ой главе. Как показал компьютерный анализ, «лучшее произведение» В. Набокова имеет двойное решение. Второй вариант истинного решения связан с очень простым ходом белой ладьи на f5. Конечно, сам В. Набоков об этом знает. И не предлагая прямого шахматного решения, он дает его литературную интерпретацию в последнем абзаце 14-ой главы (сразу за прямым указанием на ход белого слона на c2). На первый план выходит морская тематика и обыгрывается достаточно прозрачное по смыслу единство, или (пользуясь терминологией В. Набокова) «остроумный тематический союз» между ладьей и пароходом: «<...> когда мы дошли до конца дорожки, ты и я увидели нечто такое, на что мы не тотчас обратили внимание сына, не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он бывало подталкивал, сидя в ванной» (Набоков 1990: 302).

Закономерно здесь появление ссылок на детское восприятие, с одной стороны, отсылающих к игровой ситуа-

ции, а с другой — подчеркивающих почти детскую примитивность решения задачи. В следующей фразе В. Набоков еще более усиливает игровую сторону, почти прямо предлагая читателю разгадать смысл описанного сюжета: «<...> можно разглядеть среди хаоса косых и прямых углов выставившие из-за белья <...> трубы парохода, несомненные и неотъемлемые, вроде того, как на загадочных картинках, где все нарочно спутано ("Найдите, что спрятал матрос") <...>» (Набоков 1990: 302).

«Многозначность» решения набоковской задачи, равно как ее включение в художественную структуру текста, еще раз указывает на глубокую внутреннюю связь между литературным и шахматным мирами. Игровой универсум В. Набокова раскрывается перед нами как цепь метаописаний текста, бросающих игровой отблеск на весь роман «Другие берега».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См., напр.: Gesari J. K., Wimsatt W. K. Vladimir Nabokov: More Chess problems and the novel // *Yale French Studies*. — 1979. — N 58. — P 102–115. U p d i k e J. Grandmaster Nabokov: Assorted Prose. — New York, 1965. — P 318–327. P u r d y S. B. Solux Rex: Nabokov and the Chess Novell // *Modern Fiction Studies*. — 1968–69. — T. 14. — N 4. — P 379–395.
- 2 См., напр.: Д а в ы д о в С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. — Munich, 1982.
- 3 См., напр.: J o n s o n D. B. Belyi and Nabokov: A Comparative Overview // *Russian Literature*. — 1981. — N 9. — P 379–402.

ЛИТЕРАТУРА

- НАБОКОВ 1990: Набоков В. Собр. соч.: В 4 т. — М., 1990. — Т. 4.
- ФРЕЙД 1990: Фрейд З. Психология бессознательного. — М., 1990.
- ТАММИ 1985: T a m m i R Problems of Nabokov's Poetics. A narratological Analysis. — Helsinki, 1985.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК В 1942 ГОДУ

ОЛЬГА РАЕВСКАЯ-ХЬЮЗ

Восприятие русской литературы как литературы метрополии и диаспоры явление сравнительно позднее. Вероятно, такое понимание, как и сами термины «метрополия» и «диаспора», следует связывать с появлением литературы так называемой «третьей волны», представители которой, оказавшись за пределами СССР, встречались лицом к лицу с литературой эмиграции и ее уже многочисленными представителями. Для большинства писателей метрополии 60—70-х гг. эта эмиграция была настоящей *terra incognita*. Однако разъединение и отчуждение не произошли сразу. В двадцатые годы еще было много личных контактов между писателями, выезжавшими на Запад или возвращавшимися из-за границы. Это относилось в еще большей мере к книгам.¹ Сохранялись значительные контакты и в тридцатые годы. Однако с ужесточением политического контроля ослаблялись не только личные контакты, но и снижалась возможность следить за литературой по другую сторону границы. Если в эмиграции интерес к России сохранялся, как сохранялась и возможность следить за литературой в Советском Союзе,² то другая сторона этого «обмена» фактически быстро свелась на нет; литература русской эмиграции в Советском Союзе доступной не была, как скоро стали небезопасными и личные контакты и переписка с заграницей. К концу тридцатых годов отсутствие информации об эмиграции и эмигрантской литературе стало почти полным. Значительнее незнания отдельных фактов была потеря общей перспективы как результат взаимного непонимания обстоятельств развития литературы по обе стороны границы, и закономерный приход в литературу нового, послевоенного поколения.³

Процесс отчуждения не был равномерным. При изучении отношений между литературой и жизнью эмиграции и метрополии должно принимать во внимание множество различий, как хронологических (в 20—30-е гг. еще

сохранялась живая память о современниках) и географических (Харбин, Прибалтика, а также частично и Польша во многом сохраняли русскую дореволюционную, не эмигрантскую, среду и непосредственную связь с Россией), так и индивидуальных, включая контакты с Россией отдельных писателей или общественных деятелей эмиграции, часто не вписывавшиеся в общие возможности и обстоятельства.

Одним из таких эпизодов — по-видимому единственным в 40-е гг. — была встреча Иванова-Разумника с писателями-эмигрантами и русской литературой в эмиграции. Ситуация была уникальной: не было другого писателя его поколения и известности, кто попал в то время за пределы Советского Союза и установил связь с писателями-эмигрантами.⁴ Когда Иванов-Разумник оказался в лагере в Западной Пруссии, ему удалось очень быстро найти контакты с русскими писателями за границей. Встреча была заочной, но интенсивной и насыщенной обменом информацией о жизни и литературе.

Иванов-Разумник — Разумник Васильевич Иванов — занимает совершенно особое место в истории русской литературы и культуры. Автор двухтомной «Истории русской общественной мысли» (1906), выдержавшей пять изданий до революции, друг Белого и Блока, вдохновитель «Скифов», безоговорочно принявший и поддержавший Октябрь, Иванов-Разумник был тесно связан с левыми эсерами, хотя членом партии не стал, неизменно отстаивая свою независимость от партийной дисциплины. При советской власти он был первый раз арестован в феврале 1919 года в связи с делом так называемого «заговора левых эсеров». В 30-ые гг. был дважды арестован и провел много лет в заключении и ссылке, о чем оставил подробный рассказ в своей, опубликованной в Нью-Йорке в 1953 г. книге «Тюрьмы и ссылки».⁵ В июне 1941 года Иванов-Разумник временно находился в Царском Селе, где не имел постоянной прописки с 1933 года. Ивановы оставались в Царском Селе во время немецкой оккупации и были вывезены оттуда в Западную Пруссию, где провели полтора года в лагере, затем недолгое время прожили у родственников в Литве, а окончили свои дни в Германии в 1946 г.: Варвара Николаевна скончалась 18 марта в Рендсбурге, а Разумник Васильевич 9 июня в Мюнхене, куда переехал к родственникам после смерти жены.

История архива Иванова-Разумника, оставленного в Царском Селе, известна: значительная часть архива погибла во время войны.⁶ В трудном пути в Западную Германию в конце войны были утрачены, по всей видимости безвозвратно, рукописи книг, оконченных за военные годы. В 50-е гг. Литературный фонд в Нью-Йорке издал книгу «Писательские судьбы», сборник очерков Иванова-Разумника, опубликованных в берлинской газете «Новое слово».⁷ Часть архива Иванова-Разумника 40-х гг. (1942—1946 гг.) сохранилась; в основном это письма русских писателей-эмигрантов, с кем ему удалось наладить связь еще будучи в лагере. В этом архиве находится записная книжка-календарь на 1942 год, в которой он дал детальную хронику своей жизни за этот год. Настоящая работа дает обзор жизни Разумника Васильевича и Варвары Николаевны Ивановых в 1942 г. по материалам этого дневника.⁸

Ивановы оставались в Царском Селе, когда город был оккупирован немецкими войсками в сентябре 1941 г., и были вывезены отсюда 5 февраля 1942 г. Через десять дней они прибыли в г. Кониц Западной Пруссии, где находился большой лагерь, так называемый *Veobachtungslager* для *Volksdeutsche*, т.е. лагерь для русских немецкого происхождения, немецких колонистов из России и русских немцев, которых переселяли, главным образом, в Польшу. Целью содержания в лагере, как указывает его название, было «наблюдение» за *Volksdeutsche* перед их выходом на свободу или переселением. Ивановы попали в этот лагерь, так как Варвара Николаевна, урожденная Оттенберг, была отнесена к категории русских немецкого происхождения. Хотя попытки освободиться из лагеря Ивановы начали сразу, как только завязали связь с внешним миром, им удалось освободиться и уехать к родственникам в Литву только летом 1943 г.

Ко времени оккупации Царского Села немцами город был уже значительно разрушен бомбардировками и артиллерийским обстрелом. За продолжавшимся разрушением следовали голод и, с наступлением зимы, недостаток топлива.⁹ Неопубликованные воспоминания царскоселки И. Н. Бушман¹⁰ сохранили ценное свидетельство о деятельности Иванова-Разумника по сохранению русской культуры во время немецкой оккупации, когда стоял вопрос о возможности выжить. Описав разрушенный город и состояние голодающих жите-

лей через несколько недель после взятия города немцами, Бушман пишет: «<В> этих нечеловеческих условиях жизни интеллигенты-энтузиасты во главе с Ивановым-Разумником решили устроить независимую от немцев организацию людей умственного труда, призывая в свои ряды молодежь и стариков, профессуру и студенчество. Их первый призыв был: спасайте книги! Книги в то время валялись просто на улицах около разрушенных снарядами домов или в квартирах, перевернутых вверх дном немецкими обысками. Их поливал дождь, топтали солдатские сапоги, немцы брали их на растопку <...> По инициативе этой группы книги собирались, складывались в ящики и прятались в надежных местах. Распухшие от голода люди, бравшие на себя этот почти непосильный труд, знали, что не им придется воспользоваться его плодами, но торопились спасти книги, пока они не погибли и пока не погибли люди, способные их спасти».

Среди брошенных книг Иванов-Разумник и нашел записную книжку, в которой затем вел дневник 1942 г. Об этом он рассказывает сам, записывая под 1 января: «В старых чужих книгах нашел замечательную золотообрезанную книжку на 1914 год и начинаю». Далее он записывает в дневнике: «В 1914 г. книжка принадлежала Верочке Ковалевской. Замужем — Кабардиной».¹¹ Он использует эту двойную хронологию (1914—1942 гг.) и двойную принадлежность, делая свои записи красными чернилами между черных строк 1914 г. Так под первым январем в 1914 году была переписана новогодняя молитва («Благослови венец лета благодати Твоя, Господи»), а в 1942 г. на верхнем поле этой страницы вписана цитата из евангельского чтения на новолетие, т.е. новогоднего молебна (Лк. 4: 19), что, в свою очередь, является цитатой из пророка Исайи (61: 1—2): «Лето Господне благоприятное!»¹² Этот текст-палимпсест ограничивается всего несколькими записями, так как дневник первой владелицы обрывается в конце января.

Сообщения Иванова-Разумника о жизни в Царском Селе чаще всего не требуют комментариев. В это время много записей о голоде и о смерти знакомых и незнакомых, о невозможности похоронить умерших, о случаях психологических заболеваний на почве голода, отмечен случай каннибализма. Есть записи о немецких репрессиях, например: «Расстрел молочницы Степаниды и ее четырех знакомых (пошли в «запретную зону» за продуктами)». Дана

хронология состояния собственного здоровья: «Здоровье очень плохо. Еле хожу; отеки ног доходят до середины бедра <...> Варя держится бодрее, хотя больна не меньше» (5 января). В середине месяца (16 января) записано подтверждение решения не уезжать: «Веселое сумасшествие; в то время, как все собираются бежать из Царского Села, мы с Варей купили сегодня в комиссионном магазине самовар! (без крана, за 60 руб.<лей> в рассрочку). Символ того, что добровольно не уйдем из Царского Села, даже под угрозой голодной смерти». Заканчивается запись более пессимистично: «Экспедиция за продовольствием запрещена комендантом. Голодная смерть впереди становится не очень невероятной». Через несколько дней следует сообщение о том, что объявлена «добровольная эвакуация», которая очень быстро превращается в обязательную: «<...> немецкая полиция обходила все квартиры и требовала немедленного выселения жителей. Были и у нас». На другой день — запись о том, что кончаются дрова. Последняя запись в январе: «Весь январь медленно умирали». Положение Ивановых быстро становится катастрофическим: 3 февраля запись сделана очень слабым и неверным почерком: «Слег, еле хожу. Варя тоже».

В следующие два дня записи о сборах и отъезде: «В три часа дня неожиданное появление немецкого полицейского, завтра в 12 час. дня отъезд в Гатчино <sic!>»; «Дикие сборы. Взяли все ненужное и оставили все нужное». Даны подробности отправки в нетопленных вагонах и пуганого и медленного следования в г. Кониц в Западной Пруссии. Их багаж — «восемь небольших мест багажа, я девятое место и Варе приходится таскать все девять мест, а сама падает от великой усталости».¹³ В Кониц они прибывают 15 февраля, но выйти из барака находят силы только 26-го. В тот же день упоминается продление карантина, так как в одном из барачков зарегистрирован случай сыпного тифа.

В дневнике много записей о лагерных правилах и быте, очень часто это сообщения об ужесточении режима и наказании отдельных барачков или всего лагеря: «Обход комнат. Отнятие русских книг, патефонов, пластинок» (24 февраля); «Новый приказ: Тушить свет и лежать в кроватях в 9 час. веч.; вставать в 7 час. утра, в 8 час. постели убраны, камера подметена. Камера неисполняющая этого правила, подводит весь барак, который на следующий день наказывается голодным пайком». В марте: «Живем от еды до еды»; «В умывалке пошла вода,

отсутствовавшая полторы недели <...> Можно отмыться добела». В июле выходит запрещение топить печи в камерах, то есть готовить добавочную пищу. Часто после сообщений подобного рода следует запись «лагерь есть лагерь» или «тюрьма есть тюрьма». 15 марта суммируется прошедший месяц: «Месяц нашего прибытия в лагерь. Этот месяц может считаться за год». В марте же отмечена вторая за месяц смерть в их комнате, где восемь человек. Только в начале апреля Ивановы получают вторую смену белья от своих сокамерников, которым присылает одежду родственница, женщина, живущая в Конице: «Теперь можем взять ванну и к Пасхе переменить белье». Как обычно в лагере много места уделено пайку и еде (до получения посылок Ивановы постоянно недоедают, так как у них нет денег, чтобы прикупать продукты). В дальнейшем их быт несколько улучшается, главным образом за счет денег и посылок, которые они начинают получать в апреле.

В дневнике регулярно и педантично отмечаются погода, обстоятельства их жизни и события в лагере или в камере, как Иванов-Разумник неизменно называет комнату, которую они делят с шестью сокамерниками. В книжку вклеено несколько фотографий, снятых на фоне лагерных бараков. На одной из них супруги Ивановы сняты летом 1942 г. Под снимком написано: «У лагерной колючей проволоки». В книжку вклеены корешки квитанций денежных переводов; дан подсчет «кассы», то есть их лагерных долгов до получения первых денежных переводов. Сюда переписаны или вклеены документы; в «пустые» дни вписаны черновики официальных писем; вклеены вырезки из немецких газет, главным образом сообщения о родственниках местных немцев, убитых на фронте. В этой памятной книжке аккуратно отмечаются получение и отправка писем. Время от времени упоминаются лагерные слухи, а также имена лагерных осведомителей. В двадцатых числах марта сообщается о болезни Варвары Николаевны («Три недели, как у Вари нарывы на голове. Диагноз: худосочие»), а в апреле и мае записи о болезни Разумника Васильевича: он проводит 36 дней в лагерном лазарете с тяжелой флегмоной ноги. В это время он крайне истощен, но в лазарете немного лучше питается и, главное, наслаждается возможностью читать и писать в тишине.

Помимо быта и непосредственных обстоятельств жизни в дневнике есть несколько сквозных тем, выходящих за пределы барака и лагеря. Первой из них следует на-

звать сведения о войне и фронте, а также о Петербурге и Царском Селе. Взгляд Иванова-Разумника на исход войны не меняется, он так же уверен в поражении Германии, как и в 1941 г.¹⁴ В самом начале 1942 г. еще в Царском Селе он дает свой обзор мировой войны к началу этого года: «Три военные ошибки за третий год войны: 1. Немцы не ворвались в Англию после разгрома Дюнкирхена; 2. Англичане не сбросили итальянцев в море после разгрома в Ливии; 3. Немцы не ворвались в Ленинград в середине сентября на плечах отступающих русских. Мировая война, конечно, проиграна немцами». В дневнике есть сведения из газет («Danziger Vorpost», «Новое слово»), много слухов, особенно о Царском Селе и Ленинграде. Выписывая 9 июля из «Нового слова» сведения о разрушениях в Царском Селе, он заключает: «<... > вообще от города не осталось камня на камне» и добавляет: «А что останется от Петербурга?» Каждый месяц отмечается дата отъезда из Царского Села и дата прибытия в лагерь. 17 сентября записано и подчеркнуто: «<... > годовщина прихода немцев в Царское Село и годовщина осады Петербурга». Записи, в большинстве, крайне лаконичны, да они в комментариях и не нуждаются. Приведу несколько примеров: «взято Пулково» (7 августа); «Немцы вышли к Волге севернее Царицына» (4 сентября); «Новые "слухи": Сталин "разорвал" с Англией и Америкой, переговоры с Германией о сепаратном мире... Дураки верят» (24 октября); «первое отступление в Африке» (6 ноября); «о Сталинграде — молчание» (7 декабря); «планомерное отступление немцев на восточном фронте» (22 декабря).

Другие темы возникают в связи с попытками Ивановых завязать контакты с внешним миром. В марте Иванов-Разумник пишет своим родственникам в Литву.¹⁵ Письмо идет два месяца, но по получении его те немедленно отвечают приглашением приехать к ним жить. Следом за письмом приходит посылка, письма же продолжают приходить одно за другим. В дальнейшем Ивановы регулярно получают посылки и денежные переводы. Племянники Разумника Васильевича сразу же начинают хлопотать о разрешении на переезд его и Варвары Николаевны к ним в деревню (в дневник вписаны тексты заявлений и ходатайств о выезде). В середине июня приходит первый отказ. В июле подается новый запрос, а в августе — заявление в комиссию по разделению содержащихся в лагере и начальнику лагеря с ходатайством о двух- или трехмесячном

отпуске и рекомендация врача переехать (из-за состояния здоровья) жить в деревню. В октябре в дневник вписано множество советов, как выбраться из лагеря, среди них следующий: «<... > "пробиваться" в Берлин и там хлопотать лично. Ни в Литву, ни в Прагу решительно не пустят, но могут еще на год законопатить в лагере». Список советов заканчивается мрачным: «После российских тюрем — немецкие». Пребывание в лагере Коница, как продолжение его «тюрем и ссылок», — постоянный мотив дневника: «ДПЗ, Лубянка, Бутырка, Таганка, Varackenlager — не "zu viel"» ли? (17 июня). В середине ноября начальник лагеря сообщает Ивановым о полученном от немецких властей в Каунасе повторном отказе на въезд в Литву. Ивановы остались до конца года в лагере в Конице, в 1943 г. были переведены в лагерь в городе Preussische Stargard и только летом получили, наконец, возможность уехать к родственникам.

Без сомнения, самое значительное событие в жизни Ивановых после прибытия в Кониц, которому уделено много места в дневнике, это установление связи и переписка с русскими писателями-эмигрантами. Получив в лагере экземпляр берлинской газеты «Новое слово», Иванов-Разумник пишет в редакцию. 15 апреля газета помещает заметку о его местонахождении и адрес лагеря, что было обычной практикой газеты по отношению к приезжавшим в Германию из оккупированных областей. После появления заметки он начинает получать письма из Германии, Чехословакии и Франции. Среди корреспондентов Иванова-Разумника были и незнакомые ему люди, интересующиеся судьбой родственников, живших в Царском Селе, а также писатели-эмигранты. Среди них — представители младшего поколения, знавшие имя Иванова-Разумника, но не знакомые с ним лично, как архимандрит Иоанн Шаховской¹⁶ и Нина Берберова,¹⁷ и люди старшего поколения, как Алексей Ремизов, с которым Иванова-Разумника связывало многолетнее сотрудничество и дружба.¹⁸

С Прагой переписку начал сам Иванов-Разумник, найдя в «Новом слове» адреса Русского Исторического Общества¹⁹ и Русского Свободного Университета.²⁰ Он пишет И. И. Лапшину;²¹ завязывается его переписка с Е. А. Ляцким,²² прерванная, однако, вскоре смертью адресата. Из Праги начинают приходить посылки: продукты,

одежда, табак, деньги и книги. Теперь Иванов-Разумник много читает: том за томом эмигрантские журналы и ме-муарную литературу.

Переписка с писателями налаживается быстро. После первых вопросов и сообщений с обеих сторон корреспонденты стараются ввести Иванова-Разумника в курс эмигрантской литературы. В переписке начинается серьезный разговор о русской литературе в эмиграции. На таком уровне это была единственная встреча метрополии и эмиграции. Но этому эпистолярному «разговору о литературе» не суждено было продолжаться, т.к. 8 июня вышел приказ нового начальника лагеря — «новелла», как его иронически называет Иванов-Разумник — о запрещении писать письма из лагеря на русском языке. Это был тяжелый удар для Разумника Васильевича, т.к. получение писем и ответы на них быстро сделались главными событиями его лагерной жизни («Писем не было (редкий день!). Ничего не было. И дня — не было» (17 июня). Теперь все надо переводить: «переписывать на язык неродных осин». Переписка начинает ограничиваться деловыми письмами и открытками и быстро сокращается.

Дневник также регулярно сообщает о литературной работе автора. С первых дней пребывания в лагере постоянной заботой Иванова-Разумника было найти литературный заработок. В дневнике содержится хронология его работы над очерками, составившими книгу «Писательские судьбы». Свои очерки он предложил берлинской газете «Новое слово», еще не зная о прогерманском направлении газеты, о чем впоследствии неоднократно выражал сожаление. В первых записях о работе чувствуется некоторая неуверенность и неудовлетворенность собой (17 апреля): «Собираюсь написать для "Нового слова" — "Две жизни султана Махмуда". Написал восемь страниц. Завтра ("е. б. ж.") — закончу. Первая статья после "Вершин" (1923 год)». ²³ Через несколько дней: «Заканчивал очерк о Ф. Сологубе: по-прежнему мало доволен, — писать совсем разучился, выходит натянута». Однако чувство неуверенности быстро сменяется боевым духом в переписке с редакцией газеты. 6 мая записан конспект ответа в редакцию «Нового слова» с цитатами из редакторского письма: «1. Писать без "литературной изысканности" и "в чуть более скупой, сжатой трактовке". 2. Избегать цитат на иностранных языках. . . 3. "Неизбежные сокращения". — Не лучше ли выслать гранки? 4. Высылка

номеров с моими очерками и прошу вообще о регулярной высылке. 5. Не нужны ли деньги? Нужны, но боюсь сильно авансироваться. Пришлите. 6. Лекарства — не нужны, но "лекарство-табак" — очень желательно. 7. Прошу ответа о "Погорельщине" Клюева".²⁴

Если здесь автор ироничен, то в дальнейших записях он явно раздражен: «Моя статья под пошлым названием "Хождение над бездной" и с фантастическими купюрами. Надо будет написать — ультимативно. Наглый и безграмотный редакционный первый абзац» (9 мая). Далее дневник отмечает возмущение автора сокращениями и «фантастическим заглавием» в очерке о Сологубе («осталось меньше половины»).

Когда из писем, полученных из Чехии и Франции, Иванов-Разумник узнает, что русских изданий в Европе фактически больше не существует, он начинает искать пути издания своей книги «Юбилей (Тюрьмы и ссылки)» в немецком переводе. В конце апреля, когда Варвара Николаевна приносит ему в лазарет рукопись книги, он записывает: «Перечитал его: доведен до сентября 1937 года. Надо дописать, — и ждать у моря погоды». В двадцатых числах июля он составляет краткое оглавление книги и в конце месяца отправляет письмо немецкому историку русской литературы Артуру Лютеру²⁵ с приложением немецкого перевода очерка «Две жизни султана Махмуда» и подробного содержания «Юбилея» в надежде на содействие в издании книги. В дневнике отмечаются также непосредственные запросы в разные издательства.

В июне, прочитав книгу мемуаров Зинаиды Гиппиус «Живые лица», открывающуюся очерком о Блоке «Мой лунный друг», Иванов-Разумник начинает работу над статьей о Гиппиус и Блоке, которая, предположительно, должна была войти в его книгу статей, в которую он собирался включить, в частности, и три статьи об Андрее Белом (о «Гоголе», «Масках» и воспоминаниях). Он отмечает в дневнике: «Буду постепенно дополнять, озаглавил "Opera posthuma omnia quae supersunt"». ²⁶

Сразу после запрета на русские письма Иванов-Разумник пишет о решении завести «Письмовник», куда он собирается заносить текст «неотправленных» писем. К этому проекту книги писем, который занимает его в течение всего следующего месяца, он относится серьезно и, в то же время, не без иронии: «С 8 июня принялся "всерьез

и надолго" за книгу Письмовник: с 8-го "подготавливал материалы", сегодня <12 июня> начал писать. Работа смешная тем, что ей действительно может «не быть конца» — до конца жизни!» Затем следуют записи о работе: «Весь день писал Письмовник — написано почти двадцать страниц в толстой тетради»; «Усердно пишу Письмовник — работа легкая и приятная»; «Уже 70 страниц Письмовника!» Автор устраивает себе строгий режим работы: встает в 4 часа утра и пишет с пяти до семи до общего подъема. Однако такой режим трудно выдержать долго. В середине июля записано: «Весь день отсыпался после ряда бессонных "утр" и вставания в 3 ч<аса> утра». Затем «Письмовник» лежит без движения весь август и начало сентября. Последнее упоминание об этой книге написано 12 октября.²⁷

В середине июня появляется еще одна тема, занимающая к концу года все больше места в дневниковых записях, — это тема «русских немцев». Точнее, это история знакомства с Олафом Федоровичем Вельдингом и его семьей, жившими тогда в городе Кониц. Это знакомство не только скрасило жизнь Ивановых второй половины года, но можно утверждать, что щедрость этой семьи — и материальная и духовная — помогла Ивановым выжить и сохранить душевное равновесие. Прибалтийский немец О. Ф. Вельдинг в 1917 г. окончил юридический факультет Московского университета, вернулся в Эстонию, где с 1923 по 1939 год служил судебным следователем. В октябре 1939 г. он перебрался с семьей в Германию и с 1940 г. жил и служил юристом в гражданском управлении города Кониц. У Вельдинга имелась большая русская библиотека, которая, наряду с классикой, содержала и русские эмигрантские издания. Иванов-Разумник получил возможность прочитать, в частности, «Архив русской революции» и множество мемуаров, и даже найти одно издание под собственной редакцией: «<...> читал записки Н. И. Греча, издание Academia под моей редакцией в 1930 — (взял у Вельдинга!). Многого вспомнилось».²⁸

Начало их знакомства относится к середине июня: «Курьезное письмо из Коница (!) <...> от некоего Олафа Вельдинга <...> Зовет к себе в гости, в Кониц!» Иванов-Разумник отвечает открыткой с благодарностью и сообщает, что из лагеря выйти не может. Через несколько дней состоялось их личное знакомство: Ивановых вызвали в приемную комнату лагеря, где их встретил Вельдинг

с книгами и папиросами (во время войны — дефицитный товар, котировавшийся как валюта). Через неделю они встретились вновь («толстый портфель книг, целая корзина съестного»), через пять дней от Вельдинга приходит посылка, а в следующий визит, кроме книг и продуктов, он приносит букет пионов для Варвары Николаевны. Далее с помощью Вельдинга Ивановы получают одноразовые пропуска в город. Первый выход из лагеря отмечен 10 июля, а через неделю запись о том, что помощник начальника лагеря «вторично не пустил в город» и приписка — «чувство тюрьмы». Однако в конце августа у них уже постоянный пропуск в город три раза в неделю с двух до семи часов дня. Стало возможно попасть в аптеку, в магазины, на рынок и просто погулять по городу. Но самое главное, — это означало фактически регулярные визиты, — часто на ужин и на праздники, — к Вельдингам.

Хотя дневник в целом отражает разочарование и чувство безвыходности в связи с невозможностью выйти на свободу и, как следствие, неуверенность в завтрашнем дне, в конце сентября появляется особо мрачная запись: «Весь день разбирался в письмах. Запустил переписку: никому не писал с 1 сентября. Запустил Письмовник. Все надоело». Такое настроение продолжается и в октябре: «Весь день бродили по лагерю, делать ничего не хочется, писать ничего не хочется, даже читать не хочется. Можем пойти в город, да и то не хочется. Писем не пишу, да и не получаем ниоткуда. Скучно жить на этом свете, господа» (14 октября). Но уже в двадцатых числах месяца Разумник Васильевич снова начинает писать письма и, как можно предположить, получать на них ответы. В это время в доме Вельдинга он читает главы из своей тогда еще не оконченной книги «Юбилей. (Тюрьмы и ссылки)», а также статью о Зинаиде Гиппиус и Блоке, написанную уже в лагере. В сентябре дневник свидетельствует о шести посещениях семьи Вельдингов, а в последние три месяца года Ивановы уже три или четыре раза в неделю проводят время в этом гостеприимном доме. Иногда они там просто отдыхают, Разумник Васильевич играет на пианино или читает, а Варвара Николаевна шьет. Выходы из лагеря и часы, проведенные в доме Вельдингов, неизменно характеризуются в дневнике как отдых. По-видимому, в дальнейшем Вельдингу удалось выхлопотать для Ивановых разрешение прожить некоторое время у него в доме

в конце их пребывания в Конице и затем какое-то время, когда они были в лагере в Штаргарде.²⁹

После восьми месяцев в Литве, где Ивановы были окружены вниманием и заботами большой дружной семьи, весной 1944 г., при наступлении Советской Армии, они вернулись в Кониц, теперь на частную квартиру. Кониц они покинули в конце января 1945 г. и в двадцатых числах февраля добрались до городка Рендсбург у Кильского канала, где тяжело заболела Варвара Николаевна. После ее смерти, весной 1946 г., Разумник Васильевич переехал в Мюнхен. Здесь, в семье племянника, с которым они особенно сблизились за время пребывания в Литве, он прожил последние полтора месяца жизни.

Книгу «Тюрьмы и ссылки» Иванов-Разумник заканчивает рассказом о том, что в сентябре 1941 г. он с женой был в списке лиц, подлежащих аресту и высылке. Этот приказ не был выполнен, т. к. немцы заняли город за день до назначенной даты ареста: «<...> судьбе на этот раз было угодно избавить меня от новых тюрем и ссылок, а нас обоих — от верной гибели» (С. 412). Последние годы жизни в Германии и Литве дали писателю возможность закончить книгу «Тюрьмы и ссылки» и написать очерки, составившие «Писательские судьбы». Обе книги драгоценны как свидетельство умного и скептического наблюдателя и участника событий. Книга о тюрьмах и ссылках — это памятник противостоянию свободного человека тоталитарной системе, а рассказ о писателях в первые послереволюционные десятилетия — взгляд «оттуда» на уничтожение русской культуры и литературы. По точному определению А. В. Лаврова, в очерках Иванова-Разумника «преобладает не плач, не проклятия, а великодушное презрение — достойная позиция для писателя, убежденного в своей правоте».³⁰ Эти книги стали эпилогом творчества писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См.: Русский Берлин. 1921 — 1923 / Ред. Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. — Париж, 1983.
- 2 В качестве примера можно указать на публикации в «Современных записках», где в нескольких номерах 1937 — 38 гг. находим: X, «Оттуда» (Письмо старого друга) (1937. — N 63) — о различии обстоятельств и понимания событий в СССР и

- за границей; ответ на эту публикацию «Туда» Г. Адамовича (1937. — N 64); А. Цилика «В Ленинграде», — воспоминания хорватского социалиста, прошедшего 1926–1935 гг. в СССР, из них последние пять с половиной в тюрьме и ссылке (1938. — N 66); X, «Из дружеской переписки» — о творческой свободе (Там же) и «Цензура и писатель в СССР» Р. Гуля (Там же).
- 3 Разделение было столь значительным, что в 70-е гг. обсуждался вопрос о том, едина ли русская литература в XX веке, или следует говорить о двух русских литературах. См. напр.: Одна или две русские литературы. — Lausanne, <1981>.
- 4 Здесь следует упомянуть философа С. А. Аскольдова-Алексеева (1871–1945), профессора Петербургского университета (1919–1922), участника сборников «Проблемы идеализма» (М., 1902; ст. «Философия и жизнь») и «Из глубины» (М.; Пг., 1918; ст. «Религиозный смысл русской революции»). После арестов и ссылки в конце 20-х — начале 30-х гг. Аскольдов жил в Новгороде и там попал в оккупацию. Он умер в Берлине в мае 1945 г., где оказался незадолго до окончания войны и, по-видимому, никаких связей с эмиграцией установить не успел. См. о нем: биографические данные во вступительной заметке А. А. Сергеева к публикации писем Аскольдова «Письма к А. А. Золотареву» (подготовка текста А. И. Драбкина) в сб. «Минувшее» (Париж, 1990. — N 9); библиография в приложении к этой публикации. См. также: Из писем к родным (1927–1941) / Публ. А. А. Сергеева // Минувшее. — 1991. — N 11; Филиппов Б. С. А. Алексеев-Аскольдов // Русская религиозно-философская мысль XX века: Сб. ст. / Под ред. Н. П. Полторацкого. — Питтсбург, 1975; Филиппов Б. Всплывшее в памяти. — Лондон, 1990. — С. 153–158.
- 5 Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1953. В настоящее время В. Г. Белоус публикует текст книги по рукописи архива Гуверовского института (Стэнфорд, Калифорния) в журнале «Мера» (СПб.: Глаголь), начиная с первого номера 1994 г. (Книга была издана по-английски: *The Memoirs of Ivanov-Razumnik*. — London, 1965). Подробнее о его общественной и литературно-исследовательской деятельности см. вступительную статью Лаврова «Иванов-Разумник» к переизданию книги «Писательские судьбы» (первое издание: Нью-Йорк, 1951) в сб.: Возвращение. — М., 1991. — Вып. 1. — С. 303–308. (здесь опущена заключительная глава книги «Советская литература. 1. Поэзия. 2. Проза»). См. также: Переписка <М. Горького> с Р. В. Ивановым-Разумником / Вступит. ст., публ. и коммент. А. В. Лаврова и Е. В. Ивановой // Литературное наследство. — 1988. — Т. 95; Переписка <А. А. Блока> с Р. В. Ивановым-Разумником / Вступит. ст., публ. и коммент.

- А. В. Лаврова // Литературное наследство. — 1991. — Т. 92 — Кн. 2; Белоус В. Г., Леонтьев Я. В. Совесть русской литературы; Р. В. Иванов-Разумник: Библиография / Сост. Я. В. Леонтьев // Библиография. — 1993. — Май — июнь. — N 3 (259).
- 6 См.: Максимов Д. Е. Спасенный архив // Огонек. — 1982. — N 49. Сохранившийся архив хранится в Пушкинском Доме. См.: Лавров А. В. Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. — Л., 1980. — С. 29–30.
- 7 «Новое слово. Русская национальная газета». Ред.-изд. В. М. Деспотули. Издавалась в Берлине с 1933 по 1944 гг.
- 8 Часть переписки была опубликована, — см.: Lowe D. Unpublished Letters from Pil'niak and Ivanov-Razumnik to Remizov // Russian Literature Triquarterly. — 1974. — N 8. — P. 489–501; письма Ф. А. Степуну: Неопубликованные письма Р. В. Иванова-Разумника / Публ. Ж. Шерона // Новый журнал. — 1989. — N 174. — С. 311–315; письма к Нине Берберовой: The Wartime years of Ivanov-Razumnik: Correspondence with N. Berberova / Publ. by G. Cheron // Stanford Slavic Studies. — 1992. — N 4:2. — P. 394–407. Письма писателей из этого архива готовятся к печати.
- 9 Подробное описание жизни в Царском Селе первого военного года см.: Осипова Л. Т. Дневник коллаборантки // Грани. — 1954. — N 21. — С. 92–131. Настоящее имя автора — Олимпиада Георгиевна Полякова. После войны она жила в Германии и печаталась под именем Л. Т. Осипова. См. ее книгу о советской литературе: Явное рабство и тайная свобода. — Мюнхен, 1960.
- 10 Бушман Ирина Николаевна, р. 1921 г. — литературный критик, историк литературы, поэт и переводчик русской литературы на немецкий язык. Живет в Мюнхене. Работала на радиостанции «Свободная Европа» и в Институте по изучению СССР. В 1964 г. опубликовала исследование о Мандельштаме — «Поэтическое искусство Мандельштама» (Мюнхен). Ее стихи печатались в «Новом журнале» (Нью-Йорк), в журналах «Свобода» и «Наш современник» (Мюнхен), в альманахах «Мосты» (Мюнхен), а также в антологиях «На Западе» (Нью-Йорк, 1953) и «Содружество» (Вашингтон, 1966; там же автобиографическая справка).
- 11 Возможно родственница (жена?) царскосельского священника. Ср. запись в дневнике: «7 января. Рождество. Приходил о. Алексей Кабардин "славить" — впервые после 11-летнего перерыва».
- 12 Помимо очевидной ссылки на тексты Св. Писания и иронии, заключающейся в сопоставлении еще мирного начала 1914 г. с началом 1942 г. и, соответственно, радикально отличных

- обстоятельств, в которых велись два дневника, здесь может быть еще отсылка к стихотворениям Вяч. Иванова «Лето Господне» (Прозрачность <1904> // Собрание сочинений. — Брюссель, 1971. — Т. 1. — С. 749) и М. Кузмина «Лето Господнее — благоприятно» (Сети <1908> // Собрание сочинений. — Мюнхен, 1977. — Т. 1. — С. 144) и упоминанию этих стихотворений И. Анненским как примера «состояний в версификации на красиво заданные темы» (О современном лиризме <1909> // Книги отражений. — М., 1979. — С. 337). За указание на эту возможную переключку приношу благодарность К. А. Кумпан.
- 13 О критическом состоянии здоровья Иванова-Разумника во время отъезда из Царского Села упоминает Осипова: «Иванова-Разумника вели на машину под руки <...> Как он доедет!» (Дневник коллаборантки. — С. 124).
 - 14 14 июля 1941 г. он писал Л. Л. Слонимской: «Хоть я и не политик, но ясно предвижу, "чем все это кончится": с самого начала второй мировой войны я не ставил и ломаного гроша на лошадку, именуемую "Гитлер", — и тем меньше ставил, чем больше он побеждал. Его песенка спета, — вот только не знаю, в котором году» (Цит. по: Лавров А. В. Иванов-Разумник // Возвращение. — С. 307).
 - 15 В Литве жила семья его двоюродного брата, проф. Платона Константиновича Янковского, о кончине которого в ноябре 1941 г. Ивановы узнали в мае из первых писем из Литвы. В юности Разумник Васильевич проводил в этом имении каникулы, а также избрал его как место высылки из Петербурга после первого ареста в 1901 г. См.: Тюрьмы и ссылки. — С. 25–26.
 - 16 Шаховской Д. А. кн., 1902–1989 — редактор журнала «Благонамеренный» (Брюссель, 1926). В 1926 г. на Афоне принял монашество. Служил священником в Югославии (Белая Церковь), Франции (приход в Аньере под Парижем) и в Берлине. После Второй мировой войны в США. С 1947 г. епископ. В течение многих лет выступал с религиозными беседами для России по радио «Голос Америки». Известен как Архиепископ Иоанн Сан-Францисский.
 - 17 Берберова Н. Н., 1901–1993 — писательница и журналистка. Автор сборников стихов и прозы, а также книги мемуаров «Курсив мой». С 1922 по 1932 г. жена В. Ф. Ходасевича. С 1950-х гг. в США, профессор русской литературы Йельского и Принстонского университетов.
 - 18 Ремизов А. М., 1877–1957 — знакомство и начало дружеских отношений с Ивановым-Разумником относятся к 1900-м гг. (см. упоминания Ремизова о поддержке Иванова-Разумника и помощи с изданием повести «Крестовые сестры» в кн.: Ремизов А. Встречи: Петербургский бую-

- рак. — Париж, 1981. — С. 23; 30—35). Печатался в журн. «Заветы» (1912—1914), а также в газ. «Дело народа», где литературным отделом заведовал Иванов-Разумник. Охлаждение в отношениях, по-видимому, было связано с публикацией во втором сборнике «Скифы» (1918) ремизовского «Слова о гибели русской земли» и напечатанной в том же сборнике статьи Иванова-Разумника «Две России». — См. об этом: Мануэльян Э. «Слово о гибели русской земли» А. Ремизова и идеология скифства Р. Иванова-Разумника // Алексей Ремизов: Исследования и материалы / Ред. А. М. Грачева. — СПб., 1994; а также: Иезуитова Л. А. «Слово о гибели земли русской» А. М. Ремизова в газете «Воля народа» // Там же.
- 19 Русское Историческое Общество в Праге основано в 1925 г. Входило в состав Федерации исторических обществ Восточной Европы. Проводило серии докладов на регулярных собраниях. Выпустило три тома «Записок» (1927, 1930, 1938). См.: Библиография. Из каталога библиотеки Русского Зарубежного Исторического Архива / Сост. С. П. Постников. — New York, 1993. — Т. 1.; а также: Русские в Праге: 1918—1928 гг. / Ред. С. П. Постников. — Прага, 1928.
- 20 Русский Народный <Свободный> Университет основан в 1923 г. как чешско-русское просветительское учреждение, не имевшее систематических курсов преподавания, а устраивавшее серии лекций в Праге и провинции. Кроме чисто просветительской работы целью университета было также русско-чешское культурное сближение. За 1928—1933 гг. вышло 5 томов «Научных трудов» (см.: Русские в Праге. — С. 96—100, а также: Пушкарев С. Из воспоминаний о русской эмиграции в Праге (1921—1945) // Новый журнал. — 1982. — N 149).
- 21 Лапшин И. И., 1870—1954 — профессор философии и психологии. До революции его работы публиковались в «Записках Историко-филологического факультета С.-Петербургского Университета» (ст. «Проблема "чужого я" в новейшей философии», 1910). Переводчик Уиллиама Джеймса («Психология», 1896). Руководил кружком по психологии творчества при Русском Народном Университете. Среди его трудов: «Философские взгляды А. Н. Радищева» (1922), «Эстетика Достоевского» (Берлин, 1923) и «Философия изобретения и изобретение в философии» (Прага, <б. д.>).
- 22 Ляцкий Е. А., 1868—1942 — историк русской литературы, этнограф и прозаик. С 1922 г. профессор русского языка и литературы Карлова Университета, а также Русского Народного Университета (руководитель семинария по изучению творчества Л. Н. Толстого; председатель отделения курсов русского и иностранных языков). Автор исследований по жизни и творчеству Гончарова: Ляцкий Е. И. А. Гончаров.

- Жизнь, личность, творчество: Критико-биографич. очерки. 3-е изд. — Стокгольм, 1920; Ляцкий Е. Роман и жизнь. Развитие творческой личности И. А. Гончарова: Жизнь и быт. 1812—1857. — Прага, 1925. В 1923—1926 гг. возглавлял издательство «Пламя».
- 23 Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг.: Колос, 1923. Второе, расшир. и доп. изд. кн.: Александр Блок. Андрей Белый. — Пбг.: Алконост, 1919. См.: Белоус В. Г. и Леонтьев Я. В. Совесть русской литературы. — С. 62, а также: Лавров А. В. Переписка <А. Блока> с Р. В. Ивановым-Разумником. — С. 381 и прим. 96 на с. 390. Во второй половине 20-х и в 30-е гг. Иванова-Разумника не печатали, и он занимался, главным образом, редакторской и историко-литературной работой. О толстовском «е. б. ж.» см. в «Дневнике коллаборантки»: «Теперь мы почти каждую фразу начинаем с "Е. б. ж." — если будем живы. Это заклинание, в которое верят все, и коммунисты и позитивисты и идеалисты» (С. 103).
- 24 Иванов-Разумник ранее запрашивал редакцию, известна ли на Западе «Погорельщина» Клюева и, как видно, не получил ответа. В очерке о Н. А. Клюеве, напечатанном в газете, он привел первую, — неверную, но широко распространенную — версию смерти поэта, согласно которой он умер на одной из железнодорожных станций по пути из Сибири. В действительности Клюев был расстрелян в Томске в октябре 1937 г. Поэму «Погорельщина» (1927—1928) он читал неоднократно публично, текст поэмы переписывался и распространялся, как видно, довольно широко. Впервые поэма была опубликована в Нью-Йорке Издательством им. Чехова в 1954 г. (Клюев Н. Полн. собр. соч.: В 2 т. / Ред. Б. Филиппов) по тексту экземпляра, в 1929 г. подаренного Клевым итальянскому русисту Этторе Ло Гатто. Включена в изд.: Ключев Н. Сочинения: В 2 т. / Ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппов. — Мюнхен, 1969. Впервые напечатана в СССР в 1987 г. (Новый мир. — N 7; о Клеуеве см.: Азадовский К. Николай Клеув. — Л., 1990).
- 25 Лютер Артур, 1876—1955 — немецкий историк русской литературы, переводчик Радищева на немецкий язык (Reise von Petersburg nach Moskau 1790 von A. N. Raditschschew, 1922). В 1924 г. вышла его «История русской литературы» («Geschichte der russischen Literatur»).
- 26 Живые лица. — Прага, 1926. Переиздание в кн.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица. — М., 1991. Предполагавшаяся книга статей — «Холодные наблюдения и горестные заметы» (1944), рукопись которой погибла во время войны, — см.: Иванов-Разумник Тюремь и ссылки. — С. 224 (прим. автора). О материалах к работе о Гоголе

см.: Лавров А. В. Рукописный архив Андрея Белого в Пушкинском Доме. — С. 63.

- 27 Можно предположить, что «Письмовник» — это начало работы над книгой «Письма без адресатов» (1944), рукопись которой погибла во время войны. См. библиографию в кн. «Тюрьмы и ссылки». Во время ссылки в Саратов (1933—1936 гг.) Иванов-Разумник, помимо воспоминаний, работал над сборником статей под тем же названием (См.: Тюрьмы и ссылки. — С. 11).
- 28 Греч Н. И. Записки о моей жизни / Под ред. и с коммент. Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. — М.; Л., 1930. По свидетельству Евгении Сидоровой, находившейся в одном лагере с Ивановыми, книжной щедростью Вельдинга пользовались и другие их сокамерники.
- 29 Свидетельство Е. Сидоровой.
- 30 Лавров А. Иванов-Разумник // Возвращение. — С. 308.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭМИГРАЦИЯ О «ВИЗИТЕ В СОВЕТСКОЕ ПОСОЛЬСТВО» (1945): СОБЫТИЕ И РЕАКЦИЯ

ИРИНА БЕЛОБРОВЦЕВА

Русская эмиграция никогда не отличалась единодушием, и глобальные события нередко приводили к расколу в ее среде. Так, резкое размежевание русской политической и литературной эмиграции произошло после окончания Второй мировой войны. Апогеем этого процесса стал раскол Союза писателей и журналистов в 1946—47 гг.: после того как из него были исключены принявшие советское гражданство, отсюда добровольно вышли противники этого исключения и Бунин. Но еще раньше, в 1945 г., М. Алданов писал о «развале политической эмиграции» (письмо от 15.VII.1945), а С. Мельгунов — о разложении части ее элиты (письмо от 15.XI.1945). Причину этого явления оба они усматривали в так называемой акции Маклакова.

Речь идет о визите в советское посольство в Париже, который нанесла 12 февраля 1945 года весьма пестрая по составу группа русских эмигрантов во главе с бывшим послом Временного правительства во Франции Василием Алексеевичем Маклаковым. Визит широко освещался в печати и позже неизменно упоминался в исследовательской литературе о русской эмиграции. Его значение и смысл оценивались по-разному, причем разночтения начинались уже с самой даты визита. Так, нью-йоркская газета «Новое русское слово», из которой черпали информацию широкие круги русской эмиграции в США, 7 марта 1945 г. публикует корреспонденцию Е. Кобецкого, где датой визита названо 14 февраля.

Происходившее в посольстве также воспроизводилось с разной степенью точности и тенденциозности, что, в свою очередь, создало различные версии содержания и хода и визита. Корреспондент «Нового русского слова»,

воспроизводящий беседу, как он сам признается, со слов двух лиц, присутствовавших на встрече, обозначает ее в главках: Речь Маклакова, Ответ Богомолова, Обмен мнениями и Тост за Сталина. Позиция корреспондента сводится к желанию видеть всю эмиграцию объединившейся на основе русского, а еще лучше советского патриотизма. Визит, по его словам, «произвел на всех потрясающее впечатление», а члены делегации единодушно заявили о своей готовности к единению.

Примечательно, что одна из немногих книг о русском рассеянии, изданных в СССР, — «Агония белой эмиграции» Л. К. Шкаренкова — трактовала визит весьма сходным образом, подчеркивая единство эмигрантов даже там, где из отчета «Нового русского слова» следует, что некоторые члены группы пришли не с Маклаковым, а «по личному приглашению полпреда» — адмирал Кедров, сменивший генерала Миллера на посту председателя РОВС (Российского общевойскаского союза), и адмирал Вердеревский.

И выступление адмирала Кедрова, которое, очевидно, шло в разделе беседы «Обмен мнениями», в книге следовало сразу же за речью В. А. Маклакова в начале встречи, то есть было практически уравнено с ней, что придавало особое, далекое от реального, значение этой фигуре. Эта натяжка обнаруживается внутри самого пересказа Л. К. Шкаренковым хода беседы, когда «в начале беседы» М. А. Кедров произносит: «Как Вы правильно отметили, г. посол, что немцам не удалось увлечь за собой нашу эмиграцию...». Его слова — не самостоятельное выступление, а реплика в ответ на речь А. Е. Богомолова, запись которой почему-то поставлена в книге после кедровских слов: «Отвечая эмигрантским деятелям, посол А. Е. Богомолов <...> сказал: «Мы могли ожидать, <...> что немцы в борьбе с Россией используют эмиграцию, что эмиграция соблазнится и пойдет с ними. Этого не случилось» (Шкаренков 1981: 201–2).

Точно так же объединены все пришедшие с Маклаковым и Кедров с Вердеревским в претендующей на объективность книге о русской эмиграции, написанной членом НТС Михаилом Назаровым.

Стремление писать о гостях посольства 12 февраля как о единой группе вполне понятно: тогда и ответственность за все происходившее в посольстве, в частности, за тост

в честь Сталина, произнесенный «услужающим» (по выражению одного из литераторов эмиграции) адмиралом Кедровым, все делят в равной мере. Репрезентативность группы повышал также состоявшийся несколько ранее визит в советское посольство в Париже митрополита Евлогия, главы западно-европейской епархии, как бы освятивший все дальнейшее общение эмиграции с СССР.

Визит группы Маклакова в самом деле потряс эмигрантское сообщество, и до сих пор историки задаются вопросом о причинах, собравших этих людей в советском посольстве. Называются, как правило, три: со слов Берберовой, в этой группе «все без исключения были масоны», которые надеялись в то время «добиться открытия лож в СССР» (Назаров 1992: 354). Трезвый и осторожный М. Алданов предполагал сильное давление со стороны правых кругов во Франции. Третьи как альтернативу масонству предполагали «помрачение мозгов» (Ефимовский 1957:124) или «смену вех» (Г. Аронсон), что, видимо, должно было означать искреннее желание приветствовать советскую власть, победившую фашизм.

Подхвачены были и слова самого В. А. Маклакова, приведенные в одном из писем: «Нас могут упрекнуть в политической маниловщине». Цитирующий письмо А. А. Гольденвейзер отмечает далее: «<...> конечно, могут и будут упрекать в маниловщине — лучшего определения и не придумаешь» (MS Russian 269.62. D. 12, — Л. 245).

То обстоятельство, что визит всколыхнул эмиграцию, довольно долго обсуждался ею и заставил высказаться многих ее представителей, позволяет видеть в нем некий водораздел. Отношение к визиту того или иного представителя эмиграции было не просто одобрением или осуждением, но окончательным моментом самоопределения относительно Советского Союза.

Самое раннее из воспоминаний о рефлексии Маклакова, хотя и было напечатано только в статье на его смерть, в 1957 г., воспроизводит встречу, происходившую неделю спустя после визита: «Он не пожелал стать возможным вождем и... оказался "трагическим неудачником". Я имею в виду его последнюю в эмиграции "калиберную ошибку" — столь горестно нашумевшую поездку с другими "нотаблями" в советское посольство с общим заявлением о прекращении "революционной политики освободительного движения"» (Ефимовский 1957).

Работая в Bodleian Library в Оксфорде, я получила доступ к архиву русского эмигранта Бориса Исааковича Элькина. Не будучи сам заметной фигурой в политической жизни русской эмиграции, он, профессиональной юрист в области международного права, был связан с некоторыми лидерами либеральной части русской эмиграции, деятелями политики, литературы и культуры и был их доверенным лицом. Его мнение о людях интересовались и дорожили М. Алданов, Л. О. Дан, Е. Д. Кускова, В. А. Маклаков и т.д. Во время покушения на П. Н. Милюкова (и убийства В. Д. Набокова) именно у Элькина в доме остановился Милюков, душеприказчиком и соредактором воспоминаний которого он впоследствии стал.

В автобиографии Б. И. Элькин с присущей ему доброосведенностью и аргументированностью писал: «Я прожил в Петербурге при большевиках около 9 месяцев, ездил за это время за женою и сыном в Саратов <...>, затем ездил два или три раза по делам в Москву, ездил однажды в гор. Ковров, Владимирской губернии. Всюду, где я был, я наблюдал процесс выдворения нормальной жизни насильем» (в рукописи). В 1919 г. он с женой и сыном эмигрировал. Вначале жил в Берлине, затем в Париже и окончательно осел в Лондоне, где умер в 1972 г.

В 1921 г. в Берлине он был избран Председателем правления Союза русских издателей и книготорговцев в Германии; там же «подал мысль мощному немецкому издательству Ульпштейна организовать издание книг на русском языке, — так возникло в Берлине издательство "Слово", его первыми директорами были Б. И. Элькин, И. В. Гессен и зять Ульпштейна — фон Фосс» (Андреев 1972: 273–4). Именно «Слово» осуществило издание серии «Архив русской революции». Много лет Элькин был секретарем Фонда помощи русским писателям, литераторам и ученым, финансируемого из США. В сферу его интересов входили русская литература XIX в., русское масонство, история русского общества, в частности, накануне революции. Этому были посвящены его доклады и статьи.

Оксфордская часть его архива состоит в основном из писем многочисленных друзей и знакомых. В переписке за 1945–46 гг. весьма заметное место занимают письма, касающиеся упомянутого визита группы русских эмигрантов в советское посольство. Вообще на примере обсуждения этого вопроса можно говорить об активнейшем эпистоляр-

ном общении русской эмиграции, о привычке обсуждать с друзьями все сколько-нибудь важные события и просто извещать их о своей жизни. Письма пишутся достаточно регулярно, причем одна из часто повторяющихся фраз — «наши письма скрестились», то есть реакция на события следует мгновенная, не дожидаящаяся сообщения корреспондента. Доверительно относясь к Б. И. Элькину, учитывая его дружбу с В. А. Маклаковым, его положение медиатора в сложном сосуществовании семейных кланов и политических группировок русской эмиграции, его корреспонденты весьма откровенны, а спектр их мнений демонстрирует достаточно серьезные различия в настроениях, оценках и отношении к визиту. Правда, ни один из корреспондентов не одобряет визит полностью.

Наиболее спокойно высказывается Е. Д. Кускова, всегда выступавшая за сохранение отношений с советской властью. Однако, не осуждая визит, она, тем не менее, не видит для Маклакова (а значит, и для себя самой — они ровесники) места на Родине: «Вероятно, вы знаете о делегации русской эмиграции во главе с В. А. Маклаковым к Богомолу и ultra любезный прием ее послом. Однако одно дело прием, другое — работа на родине... В 75 лет люди трудно приспособляются к тоталитарным режимам, какие бы высокие цели эти режимы ни ставили» (письмо от 8.IV.1945 г. // MS Russian 269.62. D. 10. — Л. 151).

Отвечая на косвенный вопрос своего собеседника, достаточно спокоен и Б. Н. Зайцев — через год он, как один из руководителей Союза писателей и журналистов, увидит четкую границу между «советскими патриотами» и эмигрантами. Пока же он склонен даже жалеть участников визита: «Вы пишете о сумбурности настроений парижских — если имеете в виду группу "М", то там большое разочарование. В общем из дела их, которое они предприняли с неплохими настроениями, ничего не вышло и они сами сейчас в миноре. Они люди порядочные и думали, что можно быть в "честной" оппозиции его величеству, признавая и приветствуя защиту России, проведенную ее народом (и в какой-то мере правителем, но в какой именно мере удачно — мы точно не знаем. Судя по американской прессе — удача более чем сомнительная)» (письмо от 21.X.1945 г. // MS Russian 269. 62. D. 11. — Л. 248).

Значительно более резко высказывается коллега Б. И. Элькина, юрист Алексей Александрович Гольденвейзер, живущий в это время в Америке. Называя посещение

посольства «злополучным» и возражая своему адресату, который, судя по контексту, писал о неизбежности визита Маклакова, Гольденвейзер говорит о «большой политической ошибке»: «Кстати, по вопросу о злополучном посещении и завтраке на рю Дарю. <...> Герцен в определенный момент русской истории написал статью "Ты победил, Галилеянин", — но он не побежал браться с жандармами, не закрыл своего вольного печатного станка и не изменил своим убеждениям. Прискорбный инцидент с делегацией к Богомолу вызван, по-моему, неправильной оценкой роли и функции нашей эмиграции. Эта же ошибка в еще более резкой форме проявилась в статье Бердяева <...>, в которой он все вопросы сводит к балансированию словами "национальный и интернациональный". Мы уехали из России совсем не потому, что считали советскую власть не-национальной и не-патриотической. Уехали мы из-за установившегося внутри страны политического режима, который теперь именуется тоталитарным» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 191).

А. А. Гольденвейзер отстаивает свое право «продолжать быть эмигрантами, поскольку этот режим остался, поскольку легальная оппозиция ему в России невозможна» (там же). Эта точка зрения была широко распространена именно среди американской части русской эмиграции. Вообще же о ее настроениях мы больше всего узнаем благодаря взвешенным и четким характеристикам и описаниям Марка Алданова, знакомого с Б. И. Элькиным еще со времен учебы в киевской гимназии.

В архиве Элькина среди многолетней переписки хранятся четыре его письма, затрагивающих тему визита. Алданов реагирует на событие первым из всех корреспондентов Элькина и сразу же обозначает его как сенсацию. Как и другие «американские русские», о визите он узнает из статьи в «Новом русском слове» и в своем письме пересказывает ее, иронически смеющая акценты: эмигранты, по его словам, «обменялись рукопожатиями с Богомолым, выслушали от него инструкции о том, что надо относиться сочувственно к "Русскому Патриоту", и затем приняли участие в "завтраке а ла фуршетт". Корреспонденция, разумеется, была написана в самом восторженном тоне. Волнение в русских группах здесь было, как Вы догадываетесь, большое» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 24).

Рассказывая о реакции на статью небольшого собрания «человек 25 политических людей», Алданов сообщает, что

только благодаря четверым из них, в том числе Коновалову, самому Алданову, позже присоединившемуся к ним Керенскому, решено было не принимать политических резолюций, а подождать более полной информации. «Коновалов послал Маклакову телеграмму с запросом и вчера <следует отметить временной зазор между запросом и ответом — собрание состоялось на следующий день после выхода статьи, то есть 8—9 марта, письмо же Алданова, сообщающее, что телеграмма с ответом пришла «вчера», датировано 24 марта. Такой перерыв может свидетельствовать о напряженной разработке группой визитеров объяснений своей позиции. — И. Б.> получил ответ» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 24).

Алданов прекрасно понимает, что «если бы собрание в 25 человек и приняло резкую резолюцию, то это мирового значения не имело бы. Конечно. Однако участникам «завтрака а ла фуршетт» было бы, вероятно, тяжело, если бы с ними порвали друзья всей их жизни» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 24). Позиция Алданова — это позиция человека, стоящего в основном над партиями и рассматривающего визит как «странный акт». Он пишет, что не собирается принимать участия ни в каких резолюциях, «считая, что каждый человек имеет право в любой день признать всю свою жизнь ошибкой и поднять белый флаг. Привлекательного в этом немного, но право совершенно бесспорно. Все это не имеет отношения к переменам в СС-СР, к победоносной войне и т.д. Я всегда был и остаюсь счастлив, что Россия побеждает, идет от победы к победе. <...> Не стою на твердокаменной позиции <...> — там, мол, все — зло, и никогда не стоял. Но в основных идеях были правы мы, а не они — куда бы жизнь не пошла. И завтракать а ла фуршетт с тостами в честь одного господина у меня нет ни малейшего желания. Пользы же от этого не видно (м. б. письмо В. А. разъяснит), едва ли господин объявит амнистию и даст конституцию оттого, что у него позавтракали 10 эмигрантов» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 24).

В этом же письме мы находим и отзвуки позиции В. В. Набокова: «В. Сирин написал Зензинову письмо об этой сенсации — в очень сильных выражениях, которые я не могу повторить (он крайний антибольшевик)» (там же).

В следующем письме, датированном 11 апреля, Алданов, в ответ на скрестившийся с его письмом вопрос об

отношении к визиту, еще более четко расставляет политические группы в зависимости от их отношения к произошедшему событию и снова повторяет свою позицию: неучастие в резолюциях и мнение о полной бесцельности визита.

30 мая он благодарит Элькина за письмо «с более подробным и более верным изображением визита», которое теперь «известно, кажется, всей политической эмиграции» (к сожалению, в архиве нет копии этого письма). Фраза Алданова «вторая речь Василия Алексеевича меня со многим в его визите мирит» относится к «нескольким словам пояснения», которые произносит В. А. Маклаков после речи советского посла. Б. И. Элькин скорее всего воспроизводит их по имевшейся у него записи беседы в советском посольстве. Среди прочего Маклаков сказал: «Вы предлагаете любить Россию в той ее форме, советской, в которой она сложилась сейчас. <...> Возьму Ваше сравнение. Дети должны любить свою мать и молодой, и старой, и здоровой, и больной. Но они любят мать, а не болезнь и не старость ея» (в машинописи). Однако, несмотря на это, констатирует М. Алданов, «отношение к визиту ни сколько в Н-Й не изменилось. Почти общее теперь мнение: даром унижались, гора родила мышь, и никого из эмигрантов или почти никого в Россию не пустят. <...> Теперь торжествуют те, кто смешивали с первого дня участников визита с грязью (на мой взгляд, несправедливо совершенно, — в большинстве ведь они очень порядочные люди)» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 29).

Только 15 июля Алданов сообщает о получении обещанного еще в мартовской телеграмме подробного письма Маклакова, которое его не убедило. Он продолжает считать визит большой ошибкой. «Я написал Титову, что если бы Сталин дал амнистию, то мы приветствовали бы это (а не его), и добавил: **не являясь с визитом в посольство**. Так же мы приветствовали и победы русской армии» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 31).

С течением времени появляются объяснения самих участников события, включающие шуточные ноты, как бы принижающие значение визита, изображающие его как нечто, не заслуживающее особого внимания эмиграции. Однако любые шутки о визите вызывают у Алданова резкую отповедь. Так, он сообщает Элькину о письме одного из членов «маклаковской группы», Абрама Самойловича Альперина, который «с довольно странной, чтобы не вы-

разиться сильнее, шутливостью сообщил нам (для «петит истуар»), что икра, рябиновка и портвейн были превосходны. Я очень этому рад, но боюсь, что хуже едят и пьют миллионы ни в чем не повинных людей, сидящих в ужасных лагерях по воле человека, за которого пили портвейн и рябиновку на рю Гренель» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 31 об.).

Зато сам он видит печальный комизм в заявлении очень уважаемого им человека, В. А. Маклакова: «Вас. Алексеевич пишет, что предложения вернуться не принял, т.к. капитан корабля покидает его последним. Как он, при своем редком уме, не почувствовал маленькой доли комического элемента в этих словах: при крушении капитан сходит в лодку с корабля последним, п.ч. оставаться на корабле очень опасно, а быть на лодке менее опасно. Здесь же дело обстоит как раз наоборот: оставаться в Париже совершенно безопасно, тогда как вернуться значит идти на авантюру (напомню хотя бы о Святополке-Мирском)» (там же).

Видимо, наиболее точен в описании реакции на визит французской части эмиграции оказался С. Мельгунов, который еще в июле 1945 г. писал Элькину: «Я решительный ее <позиции Маклакова — И. Б.> противник. <...> Утверждаю, что в Париже подавляющее большинство рядовых эмигрантов стоит на моей позиции и в Каноссу идти не собирается. Маклаковский «генералитет», на мой взгляд, оказался в безвоздушном пространстве» (письмо от 24.VII.1945 // MS Russian 269. 62. D. 11. — Л. 202).

Между тем сам В. А. Маклаков, видимо, предвидя разброс мнений по поводу визита своей группы в советское посольство, непосредственно после визита, 14 февраля 1945 года в письме своему коллеге по Совещанию Послов, бывшему послу Временного правительства в Англии, Е. В. Саблину, объяснял и обстоятельства, предшествовавшие посещению посольства, и детали визита, и даже его причины. Копия этого письма также сохранилась в архиве Б. И. Элькина и была любезно представлена мне его сыном, Александром Борисовичем. Из нее следует, что письмо В. А. Маклакова было уже почти написано, когда он получил телеграмму от обеспокоенного Саблина. Это еще одно подтверждение значимости события 12 февраля 1945 года. Рассказав историю отношений своей, как он выражается, еще не конституированной группы, «которая носит в просторечии незаслуженное название "Маклаков-

ской"», с «Союзом Патриотов», В. А. Маклаков сообщает о том, что визит 12 февраля, по сути дела, был для его группы неожиданным, поскольку Маклаков просил свидания с советским послом лично для себя, а не для группы, тогда как некий посредник сообщил, что «Посол на понедельник 12 назначил прием моей «группе», по моему выбору, но желал бы среди нас видеть адмиралов Кедрова и Вердеревского (они только что были приняты в группу)». Далее, рассказывая об обстановке в посольстве, где у стен сидели несколько сотрудников, Маклаков делает вывод о том, что откровенная беседа была невозможна. Он передает смысл своей речи и речи Богомолова, затем своего второго выступления, процитированного выше, и далее сообщает, что все приглашенные по просьбе посла высказались, «а я по глухоте моей ни одной речи не слышал. Я слышал только Богомолова, т. к. сел прямо против него за стол». Разночтение с уже известным ходом визита заключается в том, что, по Маклакову, тост за Сталина произнес сам посол, в то время как по общему мнению это было выступлением Кедрова.

Маклаков предвидит возможные «лжетолкования и искажения», однако считает, что визит был явлением положительным: «Мы своих позиций не сдали, независимо от потери; но мы отмежевались и от «патриотов», и от Деникина». Значительно более реалистическим выглядит объяснение причин визита: «Во Франции сейчас эмиграция не может жить во вражде с советами». Тем не менее, принципиальное значение посещения советского посольства оказалось для большей части русского рассеяния более важным, нежели жест самозащиты и защиты французской части эмиграции. С течением времени это стало ясно и самим участникам визита.

Свидетельство тому можно усмотреть в заявлении Правления Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией от 23 июля 1946 г., текст которого (в машинописи) приложил к своему письму один из участников похода в советское посольство, Титов, сторонник возвращения эмигрантов в СССР. В письме от 2 августа 1946 г. он вынужден констатировать, что «затея с советскими паспортами провалилась. В префектуре зарегистрировано пока ок. 500 человек. Богомолов заявил о 2 тысячах взявших паспорта». «Но даже если в провинции удастся набрать еще 4 тысячи, то и получится 10% общего числа эмигрантов» (MS Russian 269. 62. D. 12. — Л. 46 об.).

Поводом для заявления стал декрет Советского Правительства от 14 июня 1946 г. «О восстановлении в гражданстве СССР подданных б. Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». Ставя в заявлении вопрос о том, должно ли Объединение «видеть в этом акте осуществление надежд и желаний политической эмиграции, т.е. перемену внутренней политики советской власти и наступление возможности общего примирения на почве признания прав человека» (С. 1), Правление искренне желает «осуществления чаяний» тех, кто уже принял советское гражданство, но в то же время признает и противоположную позицию (совпадая в этом с приведенными мнениями представителей американской части русской эмиграции, более того, скорее всего даже находясь под их воздействием) — людей, которые «считают своим нравственным и политическим долгом оставаться еще эмигрантами», поскольку «не видят подлинных перемен во внутренней политике советского правительства» (С. 2).

Выражая надежду, что эти люди не пойдут вместе с врагами России, как не пошли в 1941 г., Правление заканчивало свое заявление признанием того, что они действительно, «послушные голосу совести и полагая, что тем самым они честно исполняют свой долг перед русским народом» (С. 2).

Такая серьезная подвижка в позиции группы могла произойти только под воздействием авторитетных представителей эмиграции, оценивших визит как бесцельный, как «самогипноз» (Мельгунов), как начало раскола эмиграции.

ЛИТЕРАТУРА

АНДРЕЕВ 1972: Андреев Н. Б. И. Элькин // Новый журнал. — 1972. — N 109.

ЕФИМОВСКИЙ 1957: Ефимовский Е. Один из могикан. Памяти В. А. Маклакова // Возрождение. — 1957. — N 68.

НАЗАРОВ 1992: Назаров М. Миссия русской эмиграции. — Ставрополь, 1992. — Т. 1.

ШКАРЕНКОВ 1981: Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. — М., 1981.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО В. Е. ГУЩИКА

Статья I. Биография

СЕРГЕЙ ИСАКОВ

Владимир Ефимович Гущик был крупнейшим русским прозаиком в Эстонии 1920-1930-х гг. О его творчестве высоко отзывались А. И. Куприн, И. С. Шмелев, А. В. Амфитеатров, Вас. Ив. Немирович-Данченко, Н. К. Рерих. П. Н. Савицкий считал его первую книгу рассказов «Христовы язычники» одним из лучших произведений русской литературы конца 1920-х гг.¹ В. Е. Гущик, конечно, не величина первого разряда в литературе русского зарубежья, но в ряду писателей-эмигрантов, если можно так выразиться, второго ряда он должен занять почетное место. Если этого до сих пор не произошло, то это не следствие незначительности Гущика как писателя. Это трагедия очень многих авторов с периферии русского зарубежья, в особенности тех, чей творческий путь фактически начался уже после революции, кто не успел приобрести имени до эмиграции. Прорваться молодым авторам с периферии было очень трудно. Отсюда и их малая известность за пределами той страны, где они жили и работали, и невнимание к ним критики. Всем этим можно объяснить тот факт, что жизнь и творчество В. Е. Гущика до сих пор не были предметом специального рассмотрения в трудах литературоведов.²

Наша работа, таким образом, является первым опытом аналитического обзора жизненного и творческого пути В. Е. Гущика.

Биографию В. Е. Гущика мы восстанавливаем прежде всего на основе архивных источников: его следственного дела в архиве КГБ³ и материалов небольшого, до сих пор еще не разобранного фонда В. Е. Гущика в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН в С.-Петербурге,⁴ переданных туда после войны вдовой писателя. Использованы нами и данные пока еще не

опубликованных воспоминаний невестки писателя Лидии Константиновны Гущик⁵ и бесед с нею, как и бесед с Галиной Сергеевной Спегальской (Москва), близким писателю человеком, медицинской сестрой в лагерной больнице, где находился и умер В. Е. Гущик (Г. С. Спегальская была свидетельницей последних дней жизни писателя, у нее сохранились лагерные стихотворения Владимира Ефимовича и его письма к матери Галины Сергеевны — Нине Александровне Спегальской).⁶ Обращались мы и к материалам русской периодической печати в Эстонии 1920-1930-х гг.

В. Е. Гущик родился 5 июля 1892 г. в Стрельне под Петербургом. Он был сыном Ефима Викентьевича Гущика, георгиевского кавалера, в свое время бессменного ординарца «белого генерала» М. Д. Скобелева. Отец будущего писателя заведовал в эти годы хозяйственной частью Музея императора Александра III (ныне Русский музей). Между прочим, впоследствии В. Е. Гущик познакомил А. И. Куприна со своим отцом, и тот очень заинтересовался рассказами Ефима Викентьевича о собственной жизни и о Скобелеве. А. И. Куприн использовал эти рассказы в своей повести эмигрантской поры «Однорукий комендант», где старик Гущик выведен под именем Ефима Андреевича Лещика.⁷ Мать В. Е. Гущика рано умерла, оставив 8 человек детей — четырех сыновей и четырех дочерей. Отец женился вторично; мачеха оказалась достойной любви и уважения женщиной и взяла на себя заботу о детях. Трое из сыновей стали военными, офицерами. Владимир, собственно, тоже мечтал о карьере военного, но этому помешало его слабое здоровье. Он кончил коммерческое училище и начал служить в Петербурге по почтово-телеграфному ведомству, одновременно пописывал стихи, которые печатал во второразрядных периодических изданиях столицы.

В 1913 г. В. Е. Гущик выпустил «Сборник стихотворений» (СПб.: Типо-литография «Двигатель», 1913. 64 с.). Стихотворения этого сборника не блещут оригинальностью, хотя техникой стиха В. Е. Гущик владеет хорошо. Лирика В. Е. Гущика носит откровенно эпигонский характер, правда, следует он не модернистам, а поэтам конца XIX в. типа А. Н. Апухтина. Это преимущественно стихи о прекрасной деве и несчастной любви, о прелестях природы, грустные думы о неудавшейся жизни, хотя ино-

гда неожиданно звучат и некрасовские мотивы о тяжелой доле простых людей.⁸

В 1911 г., по тогдашним представлениям очень рано, В. Е. Гущик женился на Марии Ивановне Григорьевой, которая стала верной спутницей писателя почти до конца его жизненного пути.⁹ На короткое время В. Е. Гущик был командирован на работу по своему почтовому ведомству в Кишинев, но вскоре вернулся в столицу. Работая в Петербурге, квартиру Гущик имел в Гатчине. Там он познакомился с художником П. Е. Щербовым и летом 1917 г. с А. И. Куприным, который стал его литературным наставником и старшим товарищем. В. Е. Гущик очень высоко ценил и уважал Куприна, впоследствии много лет поддерживал с ним дружеские отношения.¹⁰ Именно А. И. Куприн рекомендовал Гущику обратиться к прозе, заметив, что поэзия — не его призвание (впрочем, к прозе В. Е. Гущик впервые обратился еще до встречи с Куприным). Именно А. И. Куприн всячески стремился направить творчество молодого прозаика по пути несколько традиционного реализма, которому он сам следовал.

В Гатчине В. Е. Гущик в 1917 г. был председателем Союза любителей свободного искусства, к деятельности которого привлек и А. И. Куприна, ставшего президентом Союза. Союз, в основном, занимался охраной гатчинских памятников старины и искусства, спасая их от разграбления солдатами. По этой работе В. Е. Гущик встречался уже после октябрьского переворота 1917 г. с А. В. Луначарским, который даже назначил его комиссаром по охране полковых музеев,¹¹ также беспощадно громившихся революционной солдатней. Встречался В. Е. Гущик и с М. Горьким, о котором у него сохранились хорошие воспоминания.¹²

Но в 1919 г. В. Е. Гущик был арестован Чека за «контрреволюционные разговоры», некоторое время провел в тюрьме. Это дало ему материал для нескольких произведений, в том числе для одной из первых появившихся в печати прозаических вещей — «В пространстве (Дневник с натуры)», опубликованной в 1921 г. уже в Эстонии.¹³ Именно об этом произведении А. И. Куприн писал В. Е. Гущику: «"Дневник" очень и очень хорош. Просто и талантливо. Bravo! Бис!».¹⁴ Отстраненный от службы с запрещением в течение 5 лет занимать какие бы то ни было должности, В. Е. Гущик, естественно, с радостью встретил

приход белых в Гатчину осенью 1919 г. Он то ли был мобилизован, то ли добровольно (как и А. И. Куприн) вступил в белую Северо-западную армию, получил офицерский чин и был назначен на службу в полковую контрразведку, позже был прикомандирован к штабу в отдел довольствия. Вместе с Северо-западной армией Н. Н. Юденича (и опять же вместе с А. И. Куприным) В. Е. Гущик с семьей отступал от Петрограда и в конце года оказался в Нарве, где слег в больницу, перенес тяжелую операцию.¹⁵

Так В. Е. Гущик попал в Эстонию. Из Нарвы он с семьей в 1920 г. переехал в Таллинн. Для него начался тяжелый период эмиграции. . .

В. Е. Гущик постарался включиться в местную русскую литературную жизнь и стал сотрудничать в таллиннских газетах и журналах. Уже в 1921 г. в выходившей сравнительно короткий срок газете «Свободное слово», охотно печатавшей литературные материалы (редактором газеты был писатель Вадим Белов), появилось свыше трех десятков стихотворений, фельетонов, реже рассказов В. Е. Гущика — то под его фамилией, то под криптонимом *В. Г.* или псевдонимом *Вере* (последним подписаны, в основном, фельетоны). В том же 1921 г. В. Е. Гущик вместе с другим русским автором — талантливым, рано ушедшим из жизни поэтом А. А. Баиовым (А. Готвилем) предпринимает попытку организовать издание в Эстонии литературного журнала «Гамаюн», стремится привлечь к сотрудничеству в нем А. И. Куприна, с которым Гущик в эти годы активно переписывался.¹⁶ План издания был претворен в жизнь только в 1925 г., да и в свет вышел лишь один номер журнала «Гамаюн» под редакцией В. Е. Гущика. В 1921 - 1922 гг. он принимает участие и в издании двуязычного — русско-эстонского — журнала «Театр и кино». В середине 1920-х гг. В. Е. Гущик печатался в обычно выходивших короткое время таллиннских русских газетах «Ревельское время», «Ревельское слово», «Час», «Рассвет», «Наша газета», в «Старом нарвском листке», в рижском «Слове».¹⁷

Но газеты эти в большинстве случаев были бедные, гонораров почти не платили, и В. Е. Гущик с семьей жил в откровенной нужде, если не сказать в нищете, добывая средства к существованию отнюдь не литературным трудом: работал в мастерской по производству игрушек, в небольшой рекламно-декоративной мастерской (у Гущика был и талант художника), чаще же всего маляром. Де-

ти — у него было двое сыновей — только начали ходить в школу, и, как признавался сам В. Е. Гущик, «денег не хватало ни на еду, ни на их тетради и книги». ¹⁸ К тому же в 1927 г. писатель еще тяжело заболел, в ряде газет появились призывы к сбору пожертвований в пользу оказавшегося «в бедственном положении известного читающей русской публике литератора Вл. Гущика», который «в буквальном смысле этого слова голодает со своей семьей». ¹⁹ Еще в 1933 г. на доме, где жил в Таллинне Гущик, висела вывеска «Маляр». Как писал один из журналистов, «эта вывеска заменяет собой визитную карточку одного из наших беллетристов — В. Е. Гущика». ²⁰

Но все же постепенно положение как-то стабилизировалось. В 1927 г. в одном рижском издательстве вышла первая книга прозы В. Е. Гущика — полудокументальная, полумемуарная, очеркового типа «Тайна Гатчинского дворца. Вел. князь Михаил Александрович», художественные достоинства которой более чем скромны. Гонорара за эту книгу, по признанию В. Е. Гущика, хватило на покупку хлеба в течение одного месяца.

В 1929 г. в Таллинне в издании автора увидел свет первый сборник рассказов В. Е. Гущика «Христовы язычники», привлечший внимание читателей и писателей, ²¹ а в 1931 г. там же в издательстве «Панорама» — второй сборник «На краю» и плюс к этому отдельным изданием выходит очень милый рассказ «Каквас. История одной собаки». В том же 1931 году при участии В. Е. Гущика предпринимается еще одна попытка наладить в Таллинне выпуск русского литературного журнала. Вышло всего 5 номеров «Панорамы»; В. Е. Гущик входил в редколлегия журнала. Так или иначе, В. Е. Гущик становится известным в Эстонии литератором.

В первой половине 1930-х гг. налаживаются и личные связи В. Е. Гущика с видными деятелями русского зарубежья, в частности, с Ник. Рерихом, большим поклонником которого он был и с которым находился в переписке. В это же время В. Е. Гущик начинает печататься и на страницах парижского журнала «Иллюстрированная Россия».

Человек с трудным и непостоянным, переменчивым характером, В. Е. Гущик часто конфликтовал с коллегами по перу и окружающими. В середине 1930-х гг. он был в оппозиции ко всем местным молодым русским литераторам, объединявшимся сначала в Юрьевский, а затем в

Ревельский цех поэтов и выпускавшим ценные сборники «Новь».²² Все же было бы преувеличением утверждать, что В. Е. Гущик находился во враждебных отношениях со всеми своими русскими коллегами и был совсем одинок: он, например, продолжал поддерживать отношения с Игорем Северяниным.²³ В начале 1933 г. под руководством В. Е. Гущика создается литературная секция при таллинском обществе «Витязь». В литературную газету общества, выходящую под тем же названием «Витязь» (1932), В. Е. Гущик отдает присланную ему Ник. Рерихом с Гималаев статью «Огонь претворяющий (Из книги "Майтрейя")». Вслед за тем в том же обществе В. Е. Гущик организовал «Отдел имени профессора Н. К. Рериха в Эстонии», который ставил своей целью изучение религиозно-философских и общекультурных вопросов.²⁴ Поначалу В. Е. Гущик развернул весьма энергичную работу в литературной секции и в кружке им. Н. К. Рериха: выступал на их заседаниях с докладами, выпускал «живую газету», организовывал литературные вечера, на которых читал свои произведения, и т. д. Однако довольно быстро В. Е. Гущик перессорился с членами и руководством общества «Витязь» и отошел от него.²⁵

В. Е. Гущик предпринимает какие-то попытки наладить связи и с эстонскими литераторами: «Моя заветная мечта видеть объединенными и дружными все творческие силы в Эстонии. И объединенными не только между собой, но и с эстонскими литературными группировками. . . В конце прошлого года <1935. — С. И.> по этому поводу у меня велось переговоры с эстонскими писателями Хубелем и Виснапу, которые приветствовали идею содружества».²⁶

На первую половину и середину 1930-х гг. падает перелом в мировоззрении В. Е. Гущика и изменения в его творческой манере. Монархист, человек откровенно правых убеждений в 1920-е гг., В. Е. Гущик теперь увлекается учением евразийцев и, наряду с Влад. Пейлем, становится виднейшим представителем этого движения в Эстонии,²⁷ вступает в переписку с ведущими его деятелями, в частности с П. Н. Савицким и Г. В. Вернадским, которые очень высоко отзываются о его творчестве и находят в нем отражение идей евразийства.²⁸ Происходит весьма сложное «примирение» писателя с советским режимом. В 1938 г. в Таллинне при активном участии В. Е. Гущика выходит сборник «Поток Евразии. Кн. I». Он открывается про-

граммной статьей В. Е. Гущика под тем же названием «Поток Евразии» с подзаголовком «Церковь и семья», в которой утверждается, что главными этапами самопознания и служения общему делу следует считать церковь и семью, именно через них лежит путь утверждения в России евразийства. Причем В. Е. Гущик уверен, что СССР уже идет к евразийству, в реальной жизни отказываясь под руководством Сталина от идей коммунизма. «Последние события в СССР вполне ярко определяют ее дальнейший путь: от сотрудничества беспартийных — через аннулирование партии и сохранение завоеваний революции — к новому евразийскому миропониманию, к России-Евразии. Потуги последних дней «воскресить марксизм» это не больше, чем перебои агоний».²⁹ Эти утверждения очень многое объясняют в последующем поведении В. Е. Гущика, хотя и не все.

Вообще современников В. Е. Гущик удивлял многим. Он, например, утверждал, что не сегодня, так завтра Сталин ликвидирует компартию, «упившуюся кровью». Об эстонских коммунистах он отзывался, что это «политически неграмотная, озлобленная толпа».³⁰ Как выяснилось из допросов свидетелей на следствии, одни современники считали В. Е. Гущика чуть ли не «идейным» коммунистом, сторонником советских порядков, другие же не менее убежденно считали его человеком, глубоко враждебным коммунизму и советскому строю.³¹

Обратимся теперь к самому интригующему и загадочному периоду в жизни В. Е. Гущика, приведшему его к трагическому концу. Причем автор этих строк должен честно признаться, что ему далеко не все понятно в поведении, в действиях писателя, он многое не может объяснить в биографии В. Е. Гущика этого периода.

В 1939 г. В. Е. Гущик был принят на службу в Министерство просвещения Эстонской Республики. Он в числе прочего занимался просмотром и инвентаризацией скопившихся там после закрытия многих русских учебных заведений книг.³² Но, как можно предполагать, главным занятием В. Е. Гущика по линии министерства было другое. Напоминаем, что в 1934 г. в Эстонии утвердился авторитарный режим президента К. Пятса и официальной идеологией властей стал, если пользоваться современной терминологией, националистический фундаментализм, было создано ведомство пропаганды. К концу 30-х годов, судя

по всему, власти нашли, что пропагандистская работа по утверждению официальной идеологии среди русского населения республики, по существу, не ведется. В. Е. Гуцику было поручено написать серию брошюр на русском языке о современных вождях Эстонии и крупнейших эстонских государственных и культурных деятелях прошлого. В 1940 г. одна за другой в Таллинне в издательстве «Libris» выходят из печати его брошюры «Наш президент Константин Яковлевич Пятс», «Великий эстонец профессор живописи Иван Петрович Келер», «Наш главнокомандующий генерал Иван Яковлевич Лайдонер» (последняя брошюра вышла в свет меньше, чем за три недели до аннексии Эстонии Советским Союзом в июне 1940 г.³³). Готовилась и аналогичная брошюра о Яне (Иване) Поске.³⁴ Их сугубо официальный характер бесспорен, как не подлежит сомнению и то, что их печатание финансировалось властями.

И одновременно весной 1940 г. В. Е. Гущик вполне добровольно становится секретным сотрудником (сексотом) советской разведки в Эстонии. Как это произошло и что он делал в роли сексота, В. Е. Гущик подробно рассказал в своих собственноручных показаниях следствию, сомневаться в достоверности которых у нас особенных оснований нет. Предложение о встрече, видимо, с резидентом советской разведки в Эстонской Республике (формально атташе советского посольства) А. М. Исаковым В. Е. Гущик получил от П. Ф. Беликова, заведующего советским книжным магазином в Таллинне, большого поклонника и позже исследователя учения Н. К. Рериха. На встрече с А. М. Исаковым В. Е. Гущик сразу же согласился сотрудничать с советскими разведорганами. Ему была поручена слежка за проживавшими в Эстонии активными белогвардейцами, что он — если верить его показаниям — делал весьма аккуратно, даже основательно, вступил ради этого — по совету резидента — в Русский клуб, центр монархистов в Таллинне. В. Е. Гущик сообщал резиденту сведения о генералах Э. А. Верцинском и О. П. Васильковском, полковниках (такowymi они, по крайней мере, именуются в материалах следствия) К. Г. Бадендике и Б. В. Энгельгардте (все — видные деятели правого, монархического крыла русской эмиграции в Эстонии), а также о С. В. Заркевиче.³⁵ Все они потом были арестованы органами НКВД и уничтожены. В. Е. Гущик сообщил и о готовящейся некоторыми из них попытке бег-

ства за границу на рыбацкой лайбе. Резидент поручил также В. Е. Гуцику достать секретные чертежи с машиностроительного завода «Круль и К^о», что тот и сделал с помощью сына-инженера. «Встречались мы чаще всего за городом (но иногда и в самом городе) в местах, куда Арс<ений> Мих<айлович> Исаков подъезжал на своей машине, забирал меня к себе и мы уезжали за город далеко в поле или в лес и там я ему передавал свои письменные отчеты», — показал В. Е. Гущик.³⁶ Своей особой заслугой он считал то, что сумел информировать советскую разведку о готовящемся закрытом слете «Кайтселиита» (эстонской военизированной организации), на котором, будто бы, должен был обсуждаться вопрос об оказании сопротивления советским войскам, вступавшим в Эстонию. Но в данном случае В. Е. Гущик, возможно, и преувеличивал свои «заслуги»: нужно, конечно, учитывать характер документа — показания на следствии.

Такого рода работу В. Е. Гущик, опять же если верить его показаниям, продолжал и после установления советской власти в Эстонии, когда был назначен пограничным секретарем русских окраин Эстонии и, как он сам утверждал, должен был «быстро наладить секретную работу по политической разведке в этих районах», дабы «не выпустить из надзора врагов народа».³⁷

Работа в советской разведке явно объясняется не причинами материального порядка: в конце 1930-х гг. В. Е. Гущик был уже материально обеспечен, в издательстве «Петрополис» сначала в 1938 г. в Берлине, а затем в 1939 г. в Брюсселе выходят его новые сборники рассказов «Забывтая тропа» и «Жизнь». Вполне можно допустить, что причины тут могли быть идейного характера (как это было у многих русских деятелей во Франции, пошедших на службу в советскую разведку): В. Е. Гуцику могло показаться, что его работа на пользу будущей России-Евразии. Здесь можно психологически объяснить поведение В. Е. Гущика, мотивацию его действий, но все равно остается непонятым, как это могло совмещаться с работой в эстонском государственном аппарате, с созданием официальных пропагандистских брошюр о вождях Эстонской Республики. Кстати, и сам В. Е. Гущик никак не мог вразумительно объяснить это на следствии — его объяснения крайне запутанны и неубедительны.³⁸

Однако и работа на советскую разведку не спасла В. Е. Гущика от кары «пролетарского правосудия». Сначала его отстранили от должности пограничного секретаря, и В. Е. Гущик стал работать директором таллиннского зоопарка (любовь и интерес к животным он проявлял и раньше — на наш взгляд, В. Е. Гущик был одним из лучших писателей-анималистов в литературе русского зарубежья). 4 января 1941 г. В. Е. Гущик был арестован органами НКВД. Ему инкриминировалась служба в белой армии, авторство «контрреволюционных» произведений, участие в «контрреволюционном течении евразийцев» и в деятельности антисоветских организаций типа «Витязь» и в органах печати типа «Панорама», вообще связи с антисоветскими кругами.³⁹ Весьма вероятно, что одной из причин ареста было и то, что В. Е. Гущик имел неосторожность болтать о своей службе в советской разведке: это считалось нарушением государственной тайны и серьезным преступлением.

В связи с войной затянувшееся следствие по делу В. Е. Гущика не было закончено в Таллинне. Он был этапирован в Киров. Суд над В. Е. Гущиком состоялся там 9 сентября 1941 г. Ему инкриминировались уже изложенные выше «преступные деяния» контрреволюционного характера, подпадающие под п. 10 и 13 пресловутой статьи 58 УК РСФСР. В. Е. Гущик был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.⁴⁰

В. Е. Гущик подал кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР, в которой всячески подчеркивал свои заслуги перед советской властью в разоблачении врагов народа.⁴¹ Из этой жалобы выясняется, что органы НКВД использовали В. Е. Гущика уже в заключении в качестве сексота, «наседки», которую подсаживали в камеры к экам для получения информации. Судебная коллегия Верховного суда РСФСР сочла возможным смягчить приговор: расстрел был заменен десятью годами лишения свободы с последующим поражением в избирательных правах на 5 лет.⁴² Позже, в 1946 г., В. Е. Гущик ходатайствовал о смягчении наказания, но ему было в этом отказано.⁴³

Последующие годы жизни В. Е. Гущика прошли в лагере — в Унжлаге (Горьковская область). Никогда не отличавшийся крепким здоровьем, В. Е. Гущик вскоре серьезно заболел, оказался нетрудоспособным и был переведен в больницу на станцию Сухобезводное Горьковской

железной дороги, центр Унжлага. Там он, уже тяжело больной, работал в КВЧ (Культурно-воспитательной части) художником и на других должностях. В архиве даже сохранилась «Похвальная грамота», выданная В. Е. Гущику в ноябре 1945 г. «за деятельное систематическое участие в культурно-массовой работе» больницы N 3.⁴⁴ Там же В. Е. Гущик познакомился с медсестрой, тоже заключенной Ниной Александровной Спегальской. Между ними установились очень близкие отношения. Когда об этом узнало лагерное начальство, В. Е. Гущик был переведен в другую больницу (N 1).⁴⁵ Условия жизни в больницах были более свободными, чем в лагере (в Унжлаге, в основном, занимались лесоповалом), и В. Е. Гущик смог вновь заняться литературным трудом, обратиться к творчеству. Кроме уже упоминавшихся воспоминаний о А. И. Куприне от последнего — лагерного — периода жизни В. Е. Гущика сохранилось много стихов, которые он пересылал жене и Н. А. Спегальской (некоторые стихотворения были написаны еще в самом лагере). Эти стихи, до сих пор неизданные, могли бы составить интересный сборник лагерной лирики. 28 или 29 октября 1947 г. В. Е. Гущик умер от саркомы легких в больнице на ст. Сухобезводное и там же был похоронен.

«Помню еще до начала здесь революции <т. е. до июня 1940 г. — С. И.> когда я работал с-с и ежедневно рисковал получить в затылок белогвардейскую пулю или быть избитым нагайкой эстонских полицейских <кстати, нагаек у них не было. — С. И.>, мы как-то с товарищем И. далеко уехали за город и он остановил машину в глухом перелеске, — писал В. Е. Гущик в обращении к «гражданину следователю». — Шел дождь, и мы, не выходя из машины, курили. Я закончил свой очередной доклад и сказал, что если бы меня поймали эстонские полицейские, то упрятали бы туда, откуда меня не легко было бы достать. На это товарищ И. сказал, что: "Мы достали бы Вас, куда бы ни упрятали". И, положив свою ладонь мне на руку, добавил: "Запомните, дорогой Владимир Ефимович, что мы — большевики никогда не оставляем своих друзей в беде"». ⁴⁶ Какой горькой иронией звучат эти слова, даже если их счесть за литературный домысел Владимира Ефимовича. . .

Историк литературы — не судья и не прокурор, да и вряд ли мы, не побывавшие в энкаведистско-лагерном аду,

имеем моральное право судить и осуждать В. Е. Гущика, но все-таки в заключение нельзя не сказать, что на совесть Гущика еще одно: трагическая судьба его сыновей. Сын Юрий, талантливый инженер, был арестован органами НКВД как сын врага народа 14 июня 1941 г. Правда, его судьба сложилась все же сравнительно благополучно: отсидев три года в Востокураллаге, он был отпущен, в 1946 г. возвратился в Таллинн, где и закончил дни свои. Другой сын — Олег — был одаренным поэтом, успевшим выпустить при жизни сборник стихов «Следы» (Bruxelles: Petropolis, 1939), и в то же время художником (ему, в частности, принадлежит прекрасная обложка единственной появившейся в печати пьесы отца, см.: Гущик В. Антихрист. Пьеса в 3-х действиях и 4-х картинах. — Таллинн, <1939>). Олег Гущик искренне переживал арест отца, а затем и брата, считал это ошибкой, недоразумением и всячески стремился своим личным поведением доказать, что это ошибка. В начале войны он вступил в истребительный батальон, не смог эвакуироваться из Таллинна, был схвачен оккупационными властями и 1 ноября 1941 г. казнен.⁴⁷

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 См. письмо П. Н. Савицкого В. Е. Гущику из Праги от 20 декабря 1936 г. // Рукописный отдел Института русской литературы (РО ИРЛИ) в С.-Петербурге, ф. 820 (Архив В. Е. Гущика, не расписан). Часть письма опубликована в кн.: Гу щ и к В. Забытая тропа. Четвертый сборник рассказов. Книга шестая. — <Берлин:> Петрополис, б. г. — С. 358 — 359.
- 2 Странно, что жизнь и творчество В. Е. Гущика не рассматриваются и в книге Т. Пахмус о русской литературе в странах Балтии между двумя мировыми войнами, где даже третьеразрядным, часто практически никому не известным авторам посвящены специальные разделы, см.: P a c h m u s T. Russian Literature in the Baltic between the World Wars. — Columbus (Ohio), 1988. См. также нашу рецензию на книгу: Akademia. — 1990. — N 7. — Lk. 1501–1509 (на эстонском языке; в соавторстве с П. Торопом).
- 3 Филиал Государственного архива Эстонии (в дальнейшем ГАЭ), SM. — Ф. 129. Ед. хр. 2349.
- 4 РО ИРЛИ. — Ф. 820. Поскольку фонд не расписан, то все дальнейшие ссылки на него даются без указания номера единицы хранения и листов.

- 5 Гу щ и к Л. К. Владимир Гущик. Годы жизни (хранится у автора статьи; воспоминания предполагается опубликовать в сб. «Русские в Эстонии, 1918–1940», готовящемся сейчас к печати).
- 6 См. также автобиографическую записку «Галина Сергеевна Спегальская» от 1 января 1994 г. (хранится у автора статьи).
- 7 См.: Куприн А. И. Собр. соч.: В 9 т. — М., 1973. — Т. 7. — С. 277–292 (первопубликация: Окно. — Париж, 1923. — Кн. 1). Произведение вошло и в сб. «Новые повести и рассказы» (Париж, 1927). Между прочим, писатель прислал эту книгу В. Е. Гущику с дарственной надписью: «Владимиру Ефимовичу Гущику с любовью и дружбою
А. Куприн
1927 22 февр.» (РО ИРЛИ. — Ф. 820).
- О том, что Гущик был прототипом героя-рассказчика повести А. И. Куприна, см.: Гу щ и к Л. К. Владимир Гущик. Годы жизни. — С. 2.
- 8 См., напр., стихотворение «Родина» (Гу щ и к Влад. Сборник стихотворений. — СПб., 1913. — С. 9).
- 9 В архиве В. Е. Гущика сохранился экземпляр первого «Сборника стихотворений» с трогательным посвящением жене: «Мой "путеводный огонек" — это Ты! Я живу, я чувствую и пою благодаря Тебе!». Впоследствии В. Е. Гущик посвятил жене четвертый сборник своих рассказов «Забывтая тропа» (1938).
- 10 К истории своего знакомства с А. И. Куприным и дружеского общения с ним В. Е. Гущик обращался неоднократно. Наиболее подробно история знакомства и первых встреч с А. И. Куприным описана в неопубликованных воспоминаниях В. Е. Гущика 1946 г. (т.е. лагерного периода): Александр Иванович Куприн (Мои воспоминания). Материалы для составления биографии писателя А. И. Куприна (рукопись, 57 стр.; хранится в РО ИРЛИ. — Ф. 820). Эти воспоминания представляют немалый интерес, желательно было бы их опубликовать. Своих встреч с А. И. Куприным В. Е. Гущик касался и в ряде публикаций, см.: Гу щ и к В. Тайна одной переписки // Вести дня. — 1926. — 11 дек. — N 72. — С. 2–3; А. И. Куприн // Русский вестник. — 1938. — 31 авг. — N 67. — С. 2; Куприн уехал // Поток Евразии. — Tallinn, 1938. — Кн. 1. — С. 83–109; Очарованный землей // День Русского Просвещения. — <Таллинн>, 1939. — Май–август. — С. 8. Впоследствии В. Е. Гущик посвятил А. И. Куприну свои рассказы «На рыбалке» (из сб. «Христовы язычники», 1929) и «Сила» (из сб. «Забывтая тропа», 1938). В последнем рассказе А. И. Куприн стал прототипом главного героя — старого писателя Ивана Александровича; рассказ носит автобиографический характер. В. Е. Гущику принадлежат и «Прозаические

- стихи. На смерть Куприна» (Гущик В. Жизнь. Пятый сборник рассказов. Книга седьмая. — Bruxelles: Petropolis, S. a. — С. 180—184).
- 11 ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 23 (второй пагинации).
- 12 См. неопубликованные воспоминания, помеченные «Октябрь 1940 г. Таллинн»: Гущик В. Великое сердце (Еще одна страница из жизни Максима Горького) // РО ИРЛИ. — Ф. 820. В. Е. Гущик отправился к М. Горькому по совету А. И. Куприна спасти арестованного художника П. Е. Щербова, у которого местные власти к тому же еще конфисковали ценную коллекцию старинного оружия.
- 13 Свободное слово. — 1921. — 22 мая. — N 28. — С. 3; 24 мая. — N 29. — С. 3; 25 мая. — N 30. — С. 3; 26 мая. — N 31. — С. 3; 27 мая. — N 32. — С. 3; 28 мая. — N 33. — С. 3; 29 мая. — N 34. — С. 3; 31 мая. — N 35. — С. 3.
- 14 Неизвестные письма А. И. Куприна из Парижа в Таллин / Публ. и коммент. Р. Каэра // Радуга. — 1987. — N 4. — С. 75.
- 15 ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 24—27 (II pag.).
- 16 См. письмо А. И. Куприна В. Е. Гущику от 3 мая 1921 г. (Радуга. — 1987. — N 4. — С. 72). О попытке организовать издание журнала «Гамаюн» см.: Исаков С. Г. Начало нового этапа. Русская общественная и культурная жизнь в Эстонии в 1919 - 1921 гг. // Проблемы русской литературы и культуры. *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia* III. — Helsinki, 1992. — С. 142 (*Slavica Helsingiensia* 11).
- 17 Список публикаций В. Е. Гущика в русской печати Латвии приведен в библиографии: Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии, 1917—1944 гг: Био-библиографический справочник. — Stanford, 1990. — Ч. I. — С. 422—423.
- 18 ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 28 (II pag.).
- 19 Волгин В. Об ушедших // Новый нарвский листок. — 1927. — 2 авг. — N 58. — С. 1.
- 20 Л. А. Как живут и работают наши писатели // Вести дня. — 1933. — 15 апр. — N 89. — С. 2. В этой же статье приводятся и другие, не лишённые любопытства сведения о писателе: «Литературной работой В. Е. занимается обычно по вечерам, пишет легко и скоро, но долго и тщательно обрабатывает уже созданное. Любимый его поэт Гумилев. В. Е. Гущик и сам пишет стихи, но не уделяет им должного внимания <...>».
- 21 См.: Что говорят русские писатели о книге В. Е. Гущика «Христовы язычники» // Вести дня. — 1930. — 1 дек. — N 325. — С. 2. Редчайший случай: отзыв на книгу появился и в эстонской печати — в самой многотиражной эстонской газете «*Räevaleht*» (1930. — 25. veebr. — N 55. — lk. 5).
- 22 О них см.: Исаков С. Русские литературные объединения в Эстонии (1919—1940) // Радуга. — 1993. — N 6. —

- С. 40–44. Об отношении В. Е. Гущика к Ревельскому цеху поэтов и к молодым литераторам см.: Благополучно ли в русской литературной жизни в Таллинне? Беседа с писателем В. Гущиком // Вести дня. — 1936. — 6. февр. — N 30. — С. 2. Известно также, что еще в 1935 г. В. Е. Гущик пригласил на собрание, где обсуждался седьмой выпуск альманаха «Новь», «совершенно невозможное по тону письмо с "критикой" "Нови" в самых резких выражениях по адресу членов "Цеха поэтов"» (М. «Понедельник» Литературного кружка // Вести дня. — 1935. — 5. февр. — N 31. — С. 2).
- 23 См. письмо Игоря-Северянина В. Е. Гущику от 31 января 1935 г. из Тойла (РО ИРЛИ. — Ф. 820).
- 24 В об-ве «Витязь» // Вести дня. — 1933. — 18 авг. — N 192. — С. 1.
- 25 Впрочем, в отдельных мероприятиях общества «Витязь» В. Е. Гущик участвовал и позже. Так, 21 октября 1938 г. он выступал в обществе с докладом о А. И. Куприне (Вести дня. — 1938. — 22 окт. — N 242. — С. 2).
- 26 Вести дня. — 1936. — 6. февр. — N 30. — С. 2.
- 27 См.: И с а к о в С. Евразийцы в Эстонии // Радуга. — 1995. — N 5/6. — С. 73–81.
- 28 См. сохранившиеся в архиве В. Е. Гущика (РО ИРЛИ. — Ф. 820) письма к нему П. Н. Савицкого от 20 декабря 1936 г. и Г. В. Вернадского от 10 апреля 1937 г.
- 29 Поток Евразии. — Tallinn, 1938. — Кн. 1. — С. 4.
- 30 Из показаний на следствии А. В. Севастьянова (ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 26 об.).
- 31 ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 24–30, 38.
- 32 См.: В. Гущик принят на службу в министерстве нар. просвещения // Вести дня. — 1939. — 16 мая. — N 109. — С. 1; Русский вестник. — 1939. — 17 мая. — N 38. — С. 1; Русские библиотеки получают много хороших книг // Вести дня. — 1939. — 3 авг. — N 173. — С. 1; Русский вестник. — 1939. — 5 авг. — N 61. — С. 3; Регистрация русских книг в библиотеках Таллинна // Русский вестник. — 1939. — 13 сент. — N 72. — С. 3; Вести дня. — 1939. — 23 сент. — N 217. — С. 1 <Таллиннский день>.
- 33 См. сообщение об этом: Вести дня. — 1940. — 6 июня. — N 126. — С. 1 <Таллиннский день>.
- 34 Ознакомление русских читателей с виднейшими эстонскими деятелями // Вести дня. — 1940. — 23 мая. — N 114. — С. 1.
- 35 ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 34–36 (II паг.).
- 36 Там же. — Л. 35 (II паг.).
- 37 Там же. — Л. 37 (II паг.).
- 38 Там же. — Л. 35–36.

- 39 Там же. — Л. 1—2.
- 40 Там же. — Л. 47—58 об.
- 41 Там же. — Л. 61—61 об.
- 42 Там же. — Л. 62—62 об.
- 43 Там же. — Л. 64.
- 44 РО ИРЛИ. — Ф. 820.
- 45 Автобиографическая записка «Галина Сергеевна Спегальская» (хранится у автора статьи).
- 46 ГАЭ, SM. Ф. 129. Ед. хр. 2349. — Л. 37—38 (II паг.).
- 47 Гу щ и к Л. К. Владимир Гущик. Годы жизни. — С. 4—6.

ЖИЗНЬ В ГРАНИЦАХ ЛИТЕРАТУРЫ: РУССКИЕ ЭМИГРАНТЫ-ПСИХОАНАЛИТИКИ

АЛЕКСАНДР ЭТКИНД

Модной и, одновременно, вечной темой филологии является поиск взаимных связей между литературой и жизнью. В какой степени текст определяется исторической эпохой и биографией автора, — и в какой степени жизнь автора, его читателей и, следовательно, эпохи определяется текстом? Любопытно, что разные филологи, в соответствии со своими интересами, приписывали *особо* плотные связи между жизнью и литературой той эпохе, которой занимались: Виктор Жирмунский — йенскому романтизму; Владислав Ходасевич — русскому символизму; Юрий Лотман — романтизму Радищева и декабристов; Ирина Паперно — реализму Чернышевского. . .

Вполне сходная проблема возникает, когда пытаешься разобраться в судьбах и текстах людей не вполне литературных — психоаналитиков и их пациентов. В психоанализе проблема влияния текста на жизнь является первостепенной и эксплицитной: не было бы влияния — не было бы и клинического метода. В аналитической ситуации порождаются, интерпретируются и трансформируются тексты (снов, ассоциаций и пр.); больше ничего и не происходит, но работа с текстами, как предполагается, влияет на жизнь пациента. С другой стороны, вся история психоанализа показывает, что важным источником профессиональных инструментов аналитика — его теорий, метафор, риторик и т.д. — была и остается художественная литература.

Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени» сравнивал писателя с врачом так: врач лечит пороки человека, писатель — пороки общества; врач ставит диагноз и дает лекарства, писатель — ставит диагноз и пишет текст. . . В дальнейшем эти роли становились все более

взаимозаменяемыми: врач то и дело становился автором, писатель — пациентом, и оба писали друг о друге.

В дискурсе Фрейда разница между текстами литературы и текстами клиники стиралась до исчезновения. «При всем моем восхищении Достоевским <...> я его не люблю. Это потому, что моя терпимость к патологическим случаям истощается во время анализа»,¹ — писал Фрейд. Текст, неотличимый от других «случаев», становится в одну очередь с ними; зато при необходимости текст, как хорошо изученный пациент, помогает понять новую историю болезни. Озабоченный своим русским пациентом Сергеем Панкеевым (вошедшим в историю психоанализа под совершенно литературной кличкой *Человек-волк*), Фрейд рассуждал: «даже те русские, которые не являются невротиками, весьма заметно амбивалентны, как герои многих романов Достоевского».² Сам Панкеев вспоминал, как один из аналитических сеансов, которые проводил с ним Фрейд около 1914 г., был посвящен сну Раскольникову.³ В мемуарах и интервью этот пациент воспроизводил, вслед за своим аналитиком, характерное смешение литературы и жизни.

Рассказывая о своей жизни и лечении, он говорил об Обломове и Ставрогине, Толстом и Горьком, Пастернаке и Солженицыне. То он сравнивает себя со всеми братьями Карамазовыми поочередно, то с самим Достоевским, то и с Эдгаром По... Некоторые из его рассуждений сугубо филологичны: например, он без особой на то причины начинал доказывать сходство между обстоятельствами смерти Верховенского в «Бесах» и смерти Льва Толстого: «Вы помните роман «Бесы»? <...> Он <Толстой> даже умер точно так же, как Верховенский. Этого никто никогда не замечал, по крайней мере я нигде не читал о такой параллели».⁴ Здесь интересна не точность наблюдений Панкеева и тем более не их новизна, а методология. Обученный Фрейдом, Панкеев подмечает именно то, что стало важнейшей темой филологии: отношения текста и следующей за ним жизни, реализацию сюжета в биографии.

Современные Фрейду русские литераторы, в отличие от Панкеева, не прошедшие психоанализа, не хуже видели сходство глубоких интенций анализа и филологии, а соответственно и ту опасность, которой грозит психоанализ литературе. В метрополии и эмиграции Фрейда перечи-

тивали самые неожиданные люди, такие как Иван Ильин, Михаил Кузмин, Корней Чуковский, Владислав Ходасевич и Владимир Вейдле. Осип Мандельштам писал о «язве психологического эксперимента», из-за которого русская проза 1920-х г. становилась «клинической катастрофой».⁵ Под влиянием книжного знакомства с Фрейдом и его методом, в пореволюционное время формировался жанр литературных переложений и изживаний психоанализа, вплоть до фельетонов Набокова. Сюда могут быть отнесены, в частности, роман Мариэтты Шагинян «Своя судьба» (1916, вышел в 1923), пьеса Николая Евреинова «Самое главное» (1920), повесть Андрея Платонова «Счастливая Москва» (середина 30-х), роман Всеволода Иванова «У» (около 1932). Главный герой последнего, сумасшедший психоаналитик, переживает пост-модернистское разочарование в рациональности вообще и ее практических приложениях в особенности.⁶

Вместе с тем, практическая ориентация психоанализа привносит новые и важные интонации в знакомую филологу тему *текст-жизнь*. Осознание своей жизни важно не само по себе, а для того, чтобы изменить ее. Не прочтя текст, нельзя его переписать. Аналитик помогает пациенту прочесть скрытый текст его жизни в надежде, что само чтение и, так сказать, критика этого текста поможет его трансформировать в иной текст, по некоторым критериям лучший. В отличие от филолога, аналитик надеется, что само порождение текста-сознания уничтожает подтекст-подсознание, и потому пациент, ставший автором, отныне свободен от старых подтекстов. Иначе говоря, выявление подтекста освобождает от него. По крайней мере, в этом цель анализа; другое дело, насколько она осуществима.

В этом смысле психоанализ оставляет человеку больше свободы от текста, чем филология. Когда Фрейд выявлял в поведении Панкеева подтексты Достоевского, то он надеялся, что само это понимание поможет Панкееву вести себя иначе, не воспроизводить более этот подтекст, освободиться от Достоевского. Филолог же, имеющий дело с законченным текстом и, как правило, с завершённой жизнью, строит более тоталитарные модели.⁷ Когда Лотман писал о самоубийстве Радищева как прямой реализации им же написанных текстов; когда Ходасевич писал о романах Белого как о другой форме его эдиповых комплексов; когда Паперно выявляла в браках Чернышевского и его современников подтексты его романа, — они не оставляли

своим героям никакой лазейки: все, что делает автор, отражается в тексте; все, что сказано в тексте, принадлежит автору; в поведении воспроизводится все, что сказано; и единственный способ изменить жизнь — это написать новый текст.

О Лу Андреас-Саломе немецкий писатель Курт Вольф говорил: «Ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке».⁸ Она родилась в Петербурге и прожила там первые 20 лет своей жизни. В семье говорили по-немецки, но у Лели была русская няня и гувернантка-француженка, а училась она в частной английской школе. «У нас было чувство, что мы русские», — вспоминала она, замечая тут же, что слуги в доме были татары, швабы и эстонцы.⁹ На чем была основана эта индентичность?

Вероятно, ответ может быть только один: на русской литературе. Интересно проследить, как жизнь Лу Саломе на Западе программировалась литературой и как она умела навязывать этот опыт своим западным партнерам, а под их влиянием вырабатывала некий литературный «синтез» между Россией и Европой, Лермонтовым и Ницше, Соловьевым и Фрейдом. . .

«Вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость», — писал Ницше о своем общении с двадцатилетней Лу, руки которой он домогался в 1882 г., как раз перед написанием «Так говорил Заратустра».¹⁰ Еще до этой встречи Ницше читал Лермонтова и писал о нем с восторгом; возможно, этот отзыв Ницше о Лермонтове¹¹ относится к «Демону», написанному за полвека до «Заратустры», но странно его напоминающему.¹² Взаимоотношения Ницше и Саломе были исключительно литературными. Их роман подчинялся международному коду романтических переживаний; до близости дело не дошло, и Саломе избегла участи лермонтовской Тамары. Фрейд тоже знал «Демона» и обсуждал его сюжет с пациентом: сестра Панкеева покончила собой на могиле Лермонтова, и Фрейд со знанием дела комментировал этот гипер-романтический случай.¹³

Друзья Ницше считали, что «из его иллюзий о Лу родилось настроение Заратустры».¹⁴ Трудно судить о том,

в какой степени буквально можно принять популярную в литературе о Саломе интерпретацию, согласно которой сам образ Заратустры был литературным портретом двадцатилетней русской девушки. Ненавидевшая Саломе сестра философа выражалась о ней определенно: «Не могу отрицать, это действительно воплощенная философия моего брата».¹⁵ Последняя же писала об отношении жизни и литературы более тонко: «Когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает свои влечения, <...> он ищет в самом себе и вне себя спасительный идеал, противоположный своему внутреннему существу».¹⁶

Биографы Лу Саломе не могут объяснить, почему она вышла замуж за Фреда Андреаса, сорокалетнего знатока восточных языков. Это произошло в июне 1886 г. По требованию Саломе, которое было выдержано в течение многих десятилетий совместной жизни, брак не включал в себя сексуальной близости между супругами. До нас дошли описания неудовлетворенной страсти Андреаса и сопротивления, которое исходило от Лу и которое она никогда, даже в своих поздних мемуарах не объясняла.

В России традиция нереализованных браков была заложена за поколение до Лу Саломе.¹⁷ Следуя ответу Чернышевского на его же вопрос *Что делать?*, молодые люди вступали в фиктивные браки, которые не реализовывались в сексе. Так жили супруги Чернышевские, Бакунины, Шелгуновы, Ковалевские... В одних случаях эти браки вели в конце концов к обычной семейной жизни; в других супруги предоставляли друг другу полную свободу; в третьих формировались разного рода альянсы. Отрицанию, таким образом, подвергался не брак, как у старообрядцев-безбрачников, а секс в браке. У этой своеобразной традиции тоже были давние корни, религиозные и литературные; во всяком случае, она сыграла значительную роль в русской культуре, передаваясь из поколения в поколение. На рубеже 19-го и 20-го веков примерно такой же характер имели браки Мережковских, Бердяевых, Андрея Белого и Аси Тургеневой, Сологуба и Чеботаревской, Блока и Менделеевой-Блок, Бриков...

Странный брак Лу Андреас-Саломе получает смысл именно в этом контексте. Еще до брака с Андреасом она пыталась выстроить асексуальные отношения с философом Полем Рэ, приглашая в них, в качестве третьего партнера, Ницше; дело было через четверть ве-

ка после знаменитых русских альянсов Шелгуновых-Михайлова и Обручевой-Бокова-Сеченова. . . Помимо литературных текстов, был и вполне определенный посредник между молодой Саломе и старой уже русской традицией: Мальвида фон Мейзенбуг, друг Герцена и воспитательница его дочери, автор «Мемуаров идеалистики», хозяйка римского салона, в котором она искала новых форм отношений между полами.

Потеряв в конце концов девственность — ей было уже за тридцать, — Саломе вновь пытается осуществить свой проект в виде сожительства со своим мужем и с Рильке. Естественно, что втроем они, как на паломничество, едут в Россию. «В его воображении поэта Россия вставала как страна вещей снов и патриархальных устоев», — писала о Рильке его русская знакомая Софья Шиль.¹⁸ Всю свою жизнь он пытался приобщиться именно к такой России: учил язык, писал стихи о русских богатырях и монахах, переписывался с русскими поэтами. В его последние дни с ним была его русская секретарша.

Пасхальная неделя 1899 г. в Москве подтверждает сказочные ожидания. Саломе, Андреас и Рильке встречаются с Леонидом Пастернаком, крестьянским поэтом Спиридоном Дрожжиным и самим Львом Толстым. Их русские собеседники не разделяли их восприятия России, и с ними не было той духовной близости, какая возникает у Рильке (но не у Саломе) с новым поколением русских.¹⁹ Та Россия, которой поклонялся Рильке, превратится в чудесную сказку и для этих людей, чудом выживавших в коммуналках или в эмиграции.

У Саломе такой близости не возникнет более никогда. Поэтическое визионерство, привязываемое Рильке к России, теперь кажется ей преувеличенным и даже нездоровым. Расставаясь с Рильке, Саломе преодолевала собственные романтические клише; возможно, в самом Рильке она смогла разглядеть их лучше. Литературная любовь к России, которая раньше сближала ее с Рильке, теперь разлучает их.

Встретившись в 1911 г. с Фрейдом, Андреас-Саломе выделяла два фактора, которые сделали ее восприимчивой к психоанализу: то, что она выросла среди русских, и то, что она жила с таким писателем, как Рильке. Со своей стороны, Фрейд ценил в Лу ее своеобразие, которое он именовал словом «синтез», тем более значительным

в этом контексте, что оно антонимично любимому слову самого Фрейда — анализу: «Каждый раз, как я читаю Ваши замечательные письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я редко испытываю такую потребность в синтезе».²⁰

Романтизм Ницше и психоанализ Фрейда синтезировались у Андреас-Саломе с идеями всеединства, восходящими к Соловьёву и другим религиозным философам России.²¹ Перебирая литературные традиции, Лу Андреас-Саломе всякий раз выходила за их пределы; в этом, возможно, был секрет ее эротической привлекательности для людей литературы. Она осваивала сюжет, но находила силы выходить из него; партнер, продолжая жить в нем, оставался один. Фрейд точно подметил ее главную особенность: «искусство выходить за пределы сказанного».

Эмилий Метнер, бывший цензор (выпустивший в печать, между прочим, «Стихи о Прекрасной Даме» Блока, которые считались кощунственными), литературный критик и глава знаменитого издательства «Мусагет», проходил психоанализ у кого-то из московских аналитиков в начале 1910-х гг. Причины и симптомы болезни Метнера были известны в символистских кругах. Жена Эмилия «после сложной и великодушной борьбы» стала подругой его брата, Николая Метнера, знаменитого композитора.²² После этого у Эмилия начались «припадки — мучительный шум в ушах и дикие головные боли»; они «наступали, как только Э<милий> К<арлович> слышал какие-то музыкальные звуки». Редко когда симптомы возникают с такой логической прямоотой, с завершенностью отредактированного текста. Надо, конечно, иметь в виду, что мы знаем эту историю (как, впрочем, и другие подобные) лишь как нарратив, уже прошедший литературную обработку.

Застигнутый войной 1914 г. в Мюнхене, Метнер был выселен в Швейцарию. В Цюрихе он знакомится с Юнгом и, видимо, тогда же Юнг начинает лечить его психоанализом. Об их отношениях, необычно близких для аналитика и пациента, говорят письма Юнга, хранящиеся в московском архиве,²³ и еще продукты их общего труда: в Цюрихе по-русски были напечатаны три тома «Избранных трудов

по аналитической психологии» Карла Юнга, авторизованное им издание под общей редакцией Эмилия Метнера.²⁴ Второй и третий тома подготовленного им издания вышли в свет только в 1939 г., после смерти Метнера. В своих предисловиях к этим томам Метнер всячески обосновывал непрерывность литературной традиции, которая в работах Юнга находила для него свое естественное продолжение; первый том Метнер даже издал под старым грифом «Мусагета». «Символический продукт бессознательного должен действовать освободительно», — провозглашал Метнер и попеременно с Юнгом цитировал Вячеслава Иванова. Соответственно, и Юнг для Метнера — «больше, чем психоаналитик».

Книга была восторженно встречена рецензией Бориса Вышеславцева в эмигрантском журнале «Путь», ориентированном в традиционном религиозно-философском русле.²⁵ В своей «Этике преображенного эроса» Вышеславцев и сам пытался, в традициях всеотзывчивости, соединить «христианский платонизм и открытия современного психоанализа».²⁶ Лишь образы Христа воскресшего да еще града Китежа способны «сублимировать хаос русского подсознания», — писал Вышеславцев.

Летом 1929 г. в Давосе Метнер вновь, после многих лет, встретился с Вячеславом и Лидией Ивановыми. Они сидели в кафе, когда заиграла музыка. Метнер, однако, не реагировал: «результат лечения Юнга», — объяснил он. «Все болезненные признаки прошли, он стал нормальным человеком и даже с благословения самого Юнга начал принимать больных и сам лечить их психоанализом», — вспоминала Лидия. После этой встречи с Метнером Иванов посвящает ему свой написанный еще в 1917 г. сонет «Порог сознания»: для него преображение Метнера вписывалось в старый литературный контекст. А Лидия Иванова воспринимала результат анализа так: «на меня лично образ Метнера произвел крайне угнетающее впечатление: он мне представился как бы человеком, отчасти уже мертвым, который еще ходит и действует нормально. <...> Душа уже <...> ампутирована. Этого добился Юнг своим психоанализом? Но какая же плата!».²⁷ Платой за анализ стало расставание с литературой. После эффективного лечения Метнер настолько освободился от старых, понятных Ивановым подтекстов, что в разговоре, который оживлялся старыми символами и клише, он выглядел мертвецом.

Иванов получил тогда от Метнера том «Психологических типов» Юнга на русском языке. Как литературное произведение, эта книга Иванову не понравилась: он видел в ней «рапсодическое настроение» и «покушение свести все, безостаточно, на одну психологию».²⁸ Все же новое состояние Метнера далеко отклонилось от символизма, хотя он сам не готов был это признать. Вместе с тем, Иванов, оговаривая неокончателность своей критики, оценил дух предисловия Метнера: «Из моего протеста против Юнга не делайте вывода, что я осуждаю выход "Псих<ологических> типов" под маркою «Мусагета». Считаться с Юнгом стоит, и «Мусагет» еще выяснит окончательно со временем свое отношение к его теориям, независимость коего уже и в предисловии слегка намечена».²⁹ И правда, уже в этом письме восприимчивый Иванов пользуется идеями Юнга, оборачивая их, естественно, на литературу: «думаю, что романтики — внутрь обращенные типы, в противоположность классикам», — рассуждает Иванов в специфических терминах юнговских «Психологических типов» (там же).

По словам дочери, Иванов следил за трудами Юнга и после той встречи; возможно, что между ним и Юнгом были еще какие-то контакты. Во всяком случае, в позднем этюде «Апiта» Иванов ссылается на Юнга, а в статье о Лермонтове (1947) использует не только специфическую терминологию (архетипы), но и более общую схему психоаналитического понимания.

В России начала 1910-х гг. психоанализ был воспринят быстро и без характерного сопротивления, с которым встречали его более стабильные общества. У русских, писал Фрейд в 1912 г., «началась, кажется, подлинная эпидемия психоанализа».³⁰ Во всяком случае, вплоть до 30-х гг. он оставался одной из важных составляющих русской интеллектуальной жизни.³¹

Макс Эйтингтон, Сабина Шпильрейн, Николай Осипов, Моисей Вульф, Татьяна Розенталь, Иван Ермаков были психоаналитиками, которые обучались или консультировались у самого Фрейда, Юнга или Абрахама около 1910 г. Дальнейшая судьба их была различной, но почти у всех развивалась на пороге эмиграции. Эйтингтон жил в Гер-

мании, но его судьба оставалась весьма своеобразно связанной с Россией. Розенталь, Осипов и Вульф вернулись в Россию незадолго до революции. Розенталь покончила с собой в 1921 г. Осипов и Вульф вновь, и навсегда, уехали на Запад в 20-х гг. Вульф вместе с Эйтинггоном основали психоаналитическое общество в Израиле. Осипов вместе со своим учеником, Федором Досужковым, положил начало чешскому психоанализу.³² Психиатр Николай Краинский преподавал в Варшаве. Ермаков, оставшись в Москве, стал организатором советского психоанализа.

Почти все они писали о русской литературе: Розенталь — о Достоевском (в деталях предвосхитив трактовку его Фрейдом); Осипов — о Гоголе и Достоевском; Ермаков — о Пушкине и Гоголе (книга о Достоевском так и осталась неопубликованной); Краинский — о Толстом. Их вкусы, как видно, не отличались особой новизной.³³ Трактовки, однако, были оригинальны.

Николай Краинский, директор Колмовской психиатрической больницы (где ему пришлось лечить, в частности, Глеба Успенского), автор ученых книг «Порча, кликуша и бесноватые» (1900) и «Основные принципы энергетики в связи с абсурдами современной физики» (1908), стал более известен своей статьей о сексуальном садисте, инспекторе учебного округа Н. Г. Косаковском. Статья чуть было не довела доктора до дуэли; эта история, в жизни происходившая в 1909 г. (статья опубликована в 1912), повторяла самые жуткие сцены «Мелкого беса» (1907) и, возможно, была — как факт и/или как нарратив — стимулирована романом.

Эмигрировав, Краинский продолжал совмещать довольно необычные литературные занятия с не менее своеобразными психиатрическими наблюдениями. В белградской брошюре «Лев Толстой как юродивый» Краинский возложил на писателя всю ответственность за русскую катастрофу. «Разрушитель русской культуры, сеятель разгрома и анархии», Толстой заразил своей проповедью «толпы людей, падших морально и слабых умом».³⁴ Краинский знает силу литературы по себе: «мы — молодежь того времени — ее слабо понимали, но чем запретнее был плод, тем был он слаще <... > Целые волны недоучившейся молодежи шли в так называемые толстовские колонии, где жили полукоммунами, полумонашескими братствами <... > почти сплошь люди падшие, полубольные».³⁵ Лю-

бопытно, что в данном случае разочарование в литературе не распространялось на научную психологию. «Великий писатель <...> брался прежде всего за психологический анализ без знания психологии»,³⁶ — в этом один из грехов Толстого.

В своих горьких эмигрантских воспоминаниях Краинский литературно описывает свое участие в обороне Киева (где его приключения доктора с винтовкой весьма напоминают эпизоды «Белой гвардии» и «Дней Турбинных»), расстрелы в подвалах, ужасы бегства из Крыма, разложение нравов в лагере на Лемносе, эмигрантскую тоску в Белграде, отказ белых офицеров от идеалов старой России. Он включает сюда что-то вроде психобиографии Тухачевского, и сочувственно рассказывает о теософских экспериментах с гипнозом, и вспоминает собственную лабораторию... «Задача психолога — снять маски с людей, но не всегда удается ее решить», — рассуждает Краинский.³⁷

Действительно, сила его анализа отстает от богатства его жизненного опыта: «То, что переживает теперь культурный мир, есть агония страшной психической эпидемии <...> Все симптомы душевного расстройства современного общества — налицо: обманы памяти, искажение прошлого, иллюзии, бредовые идеи, резонерство, дикое буйство и бессмысленное поведение <...> На арене сумасшедшего дома, которую теперь представляет почти вся поверхность земного шара, люди мечутся в тоске и страхе, зараженные лживыми лозунгами, всех ненавидящие и злые <...> Будущее цивилизованного человечества страшно <...> Что касается русской эмиграции, я считаю ее песнь спетою, ибо дело ее разложения совершено».³⁸ Поучительно видеть, как и эта мизантропия, — искренний итог необычайно трудной жизни, — принимает формы литературной традиции: «И также <...> будет взывать о помощи весь мир! Не будет славных русских моряков, самоотверженно спасавших погибающих в Мессине от землетрясения», — так кончается книга Краинского. За 25 лет до этого той же самой Мессиной грозил России Блок.³⁹ Та эпоха кажется Краинскому «сказочно прекрасной»;⁴⁰ и, бессознательно воспроизводя ее метафоры, он получает удовольствие от текста, не замечая, что сам акт заимствования меняет значение тропа на противоположное.

Интересно сравнить восприятие одних и тех же литературных тем у оставшегося в Москве Ермакова и у

эмигрировавшего Осипова. Дело аналитика — находить в тексте нечто такое, что в нем не сказано прямо; а выявление подтекста неизбежно основывается на проекции собственного опыта, эмоционального и литературного. Ермаков ищет и находит эту эмоциональную подоснову, которая для него везде — в «Вие» так же, как и в «Маленьких трагедиях» — одна: страх.⁴¹ От текстов Ермакова исходит ощущение его собственного страха, безнадежности и самоцензуры; он ищет в текстах то, чем живет сам, но, находя только страх, боится высказать его до конца, и находки его никуда не ведут и ничего не меняют. . . «Есть что-то безнадежное, тщетное во всем том, к чему приводят наши ожидания и волнения, как события жизни, так и повседневные явления», — так начинал Ермаков свой анализ повестей Гоголя. «Глядят мертвецы, глядят и ждут гибели, ждут, и страшно делается слабому, жалкому человеку». Ермаков лишился своих постов в середине 1920-х гг. Гибели, однако, ждать было еще долго. В 1940 г. он был арестован по стандартному обвинению и через два года умер в лагере.

Ровесник Ермакова, потом русский беженец (1921) и доцент Карлова университета в Праге, Николай Осипов тоже искал подтексты, причем мысль его работала, до некоторого момента, в том же направлении. «Страшное у Гоголя и Достоевского» — так называется одна из главных его статей.⁴² Но если Ермаков показывает, что русские писатели, а также их герои все время чего-то боятся, то Осипова интересует то, как они преодолевают страх. «Как черта выставить дураком» — эта фраза Гоголя представляется Осипову главной его мыслью. Во взрослом и мужественном человеке иррациональное, согласно дефинициям Осипова, вызывает не *страх*, а *жуть*. «Невротики и психотики испытывают страх там, где здоровый человек может переживать, самое большое, *жуть*».⁴³

Любовь и смерть, их сплетение между собой — основной итог анализа. «Ошибка многих фрейдистов, в том числе Ермакова, в том, что они ложно приписывают Фрейду пансексуализм <...>. Фрейд утверждает наряду с *основным* сексуальным влечением еще *грубое основное* влечение, влечение к смерти».⁴⁴ Во фрейдовской идее влечения к смерти, обычно воспринимаемой как трагическая, Осипов видит потенциал мужества. «Страх смерти есть невротический симптом», — писал Осипов незадолго до своей смерти.⁴⁵ «Гоголь и Достоевский, хотя и сами стра-

дают инфантильно-архаическими страхами, должны научить нас преодолевать эти страхи». ⁴⁶ Так, применительно к анализу литературы, реализуется программный замысел психоанализа: выявление текста есть путь к освобождению от него.

* * *

Под сильным и разнообразным русским влиянием была написана главная теоретическая работа позднего Фрейда — «По ту сторону принципа удовольствия». Фрейд предложил здесь считать Танатос, влечение к смерти, столь же фундаментальной движущей силой человеческого поведения, как и Эрос, влечение к жизни, любви и продолжению рода. Во время работы над этим текстом Фрейд возвращается к своим прежним русским интересам: он перечитывает Достоевского и пишет новое послесловие к своему очерку о Панкееве. Идея единства любви и смерти была характерной для русской культуры рубежа веков. Эта идея осуществлялась в разных формах: в антисексуальной прозе Толстого, в которой любовь непременно ведет к смерти; в поздних статьях Соловьева; в некрофильских повестях Сологуба; в дионисийской лирике Иванова; в драмах Леонида Андреева; в философии Бердяева; и, наконец, в карнавальных мечтах Бахтина.

Фрейд, мало знавший об этих исканиях русских писателей (впрочем, читавший и, вероятно, лично знавший Мережковского), не мог проигнорировать работ своей ученицы Сабины Шпильрейн. Русская пациентка и подруга Юнга (которому она на вершине любви так же читала Лермонтова, как за 30 лет до нее — Лу Саломе для Ницше), Шпильрейн стала доктором психиатрии университета Цюриха, членом Венского, Женевского и потом Русского психоаналитических обществ. ⁴⁷ Идея влечения к смерти была высказана ею задолго до Фрейда. ⁴⁸ Он сослался на нее так: «В одной богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений». ⁴⁹ Фрейд признает этим формальный приоритет Шпильрейн, но русский контекст делал статью Шпильрейн «непонятной». Именно литературой насыщена работа Шпильрейн, в которой цитаты из Юнга перемежаются пересказами Пушкина и Гоголя, явные ссылки на Ницше и Фрейда — осязаемой зависимостью от русских символистов.

Самая романтическая фигура в истории психоанализа, Сабина Шпильрейн вернулась в 1923 г. в Россию, чтобы внести вклад в строительство утопии. Она прожила русскую половину своей жизни в нищете, одиночестве и страхе. Когда к Ростову-на-Дону, в котором она жила, подходили нацистские войска, Сабина Николаевна могла эвакуироваться, но решила остаться вместе с дочерьми в оккупированном городе и была немедленно расстреляна. Мало кто из русских добровольно возвращался из Европы в 1923 г., накануне большевистского геноцида; и мало кто из евреев добровольно оставался в Ростове в 1941, накануне нацистского геноцида.

Принимая стратегически важные решения, Шпильрейн руководствовалась, похоже, тем самым влечением, которое сама впервые описала языком «науки». Соединяя психологический опыт русской литературы с литературными открытиями психоанализа, Шпильрейн лучше или, по крайней мере, раньше других поняла деструктивные силы собственной души; но это знание не помогло ей от них освободиться. В этой необыкновенной биографии мы вновь наблюдаем программирующее влияние литературы; но в отличие от истории Лу Андреас-Саломе, показывающей возможность «выхода за пределы сказанного», здесь влияние латентного текста кажется трагически непреодолимым.

Подобно тому, как Радищев не спасся от самоубийства своими медитациями о нем,⁵⁰ самоанализ Шпильрейн не помог ей уйти от реализации своего влечения к смерти. Принципиальная разница в том, что Радищев писал и умирал в рамках романтического дискурса, Шпильрейн же пыталась войти в дискурс модерна. В первом осуществление текста в жизни признавалось высшей добродетелью героя; успех второго определялся его способностью изменить автора, разорвать связь жизни и текста.

Амбивалентная заинтересованность Россией, характерная для Фрейда и особенно для его окружения, сочеталась с острым интересом к ее социалистическому эксперименту. Сам Фрейд сначала с надеждой, потом с отчаянием следил за развитием событий в Советской России: «Советский эксперимент <...> лишил нас надежды и ил-

люзии, не дав ничего взамен». ⁵¹ В июне 1933 г. Фрейд писал: нацистская Германия «начала с того, что объявила большевизм своим злейшим врагом; она кончит чем-то таким, что будет от него неотличимо»; но если выбирать из этих безнадежных альтернатив, Фрейд предпочитал русских: «большевизм, как никак, заимствовал революционные идеи, а гитлеризм является абсолютно средневековым и реакционным». ⁵²

Ряд ближайших учеников Фрейда были социал-демократами, поддерживавшими русскую революцию. Альфред Адлер был женат на русской эмигрантке, социалистке крайних взглядов Раисе Адлер-Эпштейн. Одним из пациентов Адлера в Вене был большевик-эмигрант Адольф Иоффе, ученик и друг Троцкого. Из истории его болезни, доложенной Адлером на заседании Венского психоаналитического общества в 1909 г., очевиден острый интерес к русским событиям; смущение перед чересчур крайними идеями пациента принимало форму причудливых аналитических интерпретаций. Адлер знал и самого Троцкого, который возлагал на психоанализ утопические надежды. Работа с Иоффе дала Адлеру материал, сыгравший важную роль в формировании его собственной версии психологии, придающей первостепенное значение не только сексуальному либидо, но и влечению к власти. Реализуя своей трагической судьбой тексты Адлера, Иоффе стал крупнейшим большевистским дипломатом и деятелем троцкистской оппозиции, а оказавшись не у власти, покончил с собой.

С судьбой самого Троцкого переплелась деятельность другого эмигранта, одного из лидеров мирового психоаналитического движения Макса Эйтингона. Родившийся в Могилеве, он с детства жил в Германии, учился в одном из центров русского студенчества на Западе — на философском факультете в Марбурге, а потом занялся медициной. После защиты докторской диссертации в Цюрихе, Эйтингон становится близким учеником и другом Фрейда. В 1926 г. он избирается президентом Международной психоаналитической ассоциации. Он был богат и из личных средств финансировал многие начинания германских аналитиков; помогал он и русским эмигрантам. На своей берлинской вилле в Тиргартене он охотно принимал и тех, и других. У Эйтингона читали свои произведения Ремизов и Шестов; последний был связан с Эйтингоном многолетней дружбой, а его сестра Фаня Ловцкая была психоана-

литиком и работала у Эйтингона. Как вспоминал Арон Штейнберг, «приезды Шестова в Берлин давали поэтому доктору Эйтингону желанный повод собирать у себя, наряду с людьми собственной школы, также и эмигрантскую интеллигенцию из разных стран».⁵³ По его словам, в «психоаналитическом салоне» Эйтингона были популярны идеи «духовной революции»; их обсуждали между собой знающие люди — евразийцы во главе с П. П. Сувчинским и психоаналитики во главе с самим Эйтингоном. Бывали здесь и белый генерал Скоблин, двойной агент советского НКВД и нацистского СД; песни его жены, знаменитой Надежды Плевицкой, придавали русский дух чересчур космополитическому обществу. В общем, берлинский салон Макса Эйтингона следует признать одним из интеллектуальных центров русской эмиграции 1920-х гг.

Считалось, что состояние Эйтингона досталось ему по наследству. Недавно найденные документы⁵⁴ показывают, что Макс Эйтингон был совладельцем предприятия, которое занималось торговлей поступающими из Советской России мехами. Это и был источник его состояния. Его компаньоном был человек, которого берлинские аналитики знали как «сводного брата Макса» (реальная степень их родства неизвестна) — Наум Эйтингон, организатор и участник зарубежных операций НКВД. По крайней мере в одной из уголовных афер своего «брата» — похищении генерала Миллера — психоаналитик Макс Эйтингон принял участие, которое было засвидетельствовано во французском суде.

Похитивший Миллера генерал Скоблин исчез навсегда, и под судом оказалась его жена, Плевицкая. На суде она рассказала, что Макс Эйтингон «одевал ее с головы до ног», а также финансировал издание двух ее автобиографических книг (которые содержат посвящение Максусу).⁵⁵ Эйтингон специально приезжал в Париж во время похищения Миллера и провожал Плевицкую на вокзал, чтобы она бежала к нему в Палестину. Он же прислал Скоблиным шифровальные коды. Более того, в дневнике Плевицкой есть указание на то, что Скоблин познакомился «с большевиками» в 1920-м г. именно у Макса Эйтингона.

Вероятно, усилия Эйтингона по развитию психоанализа контролировались правительством большевиков, скорее всего, самим Троцким. С поражением оппозиции эти источники финансирования закончились; агентуру же про-

должали использовать в новых целях, и Макс оказался полностью зависим от своего родственника, Наума Эйтингона. Возможно также, что после своей второй эмиграции (из Германии в Палестину в 1933) он пытался таким способом помочь борьбе с нацизмом. Как бы то ни было, но сложная игра Троцкого с психоанализом привела, при посредстве Эйтингонов, к финальному удару ледоруба. . . По пути, однако, произошли события, для понимания которых стоит еще раз вернуться к отношениям жизни и литературы.

Эмиграцию Троцкого сопровождали события, которые подчинялись не политической, а иной логике: «политически бесцельные акты обнаженной мести», — такими видел их сам Троцкий.⁵⁶ Его недоумение можно понять: источники сталинских представлений, архетипические или, во всяком случае, долитературные, и сегодня не поддаются более точному определению. Жертва перед собственной гибелью должна была видеть гибель собственных детей.

Технические средства мести тоже подчинялись механизму зловеще-логического нарратива. Двое детей Троцкого, уехавшие с ним в эмиграцию, умерли при обстоятельствах, заставляющих подозревать участие в их смерти врачей. В 1938 г. сын Троцкого Лев Седов погиб в русской хирургической клинике в Париже; историки не сомневаются в том, что в его смерти приняла участие команда Наума Эйтингона. 5 января 1933 г. дочь Троцкого Зинаида Волкова покончила с собой, проходя психоанализ у берлинского аналитика.⁵⁷ Более конкретные обстоятельства ее гибели неизвестны и, в отличие от смерти ее брата, не привлекали к себе внимания историков.

К моменту гибели Зинаиды, ее анализ длился уже более года. Она вырвалась из России в конце 1930 г. и страдала депрессиями. Троцкий, пользуясь своими политическими связями и будучи ограничен в средствах, сумел устроить ее к некоему психоаналитику, который, согласно воспоминаниям секретаря Троцкого, «бегло говорил по-русски».⁵⁸ Вся история содержит фигуры умолчания; имя аналитика неизвестно.

В феврале 1932 г. Зинаида, вместе с другими членами семьи Троцкого, была лишена права возвращения в СССР. Уже после этого ее психоаналитик, якобы по медицинским показаниям, настойчиво рекомендовал ей вернуться на родину. Создание подобной ситуации неразрешимого

противоречия — эффективный способ довести пациента до предела отчаяния. Как писал Троцкий в открытом письме Сталину: «Врачи-психиатры заявили единодушно, что только скорейшее возвращение ее в обычные условия, к семье, к труду может спасти ее. Но именно эту возможность отнимал ваш декрет».⁵⁹ Троцкий был прав, возлагая ответственность за гибель дочери на Сталина; но в этом случае он так и не понял механизма исполнения его мести. Психоаналитиком Зинаиды был, вероятно, не сам Макс Эйтингон, который почти не практиковал;⁶⁰ но, руководя берлинским психоанализом вообще и русскоязычными, просоветски настроенными аналитиками в особенности, он контролировал ситуацию. Если наши предположения верны, то Зинаида Волкова оказывается первой жертвой в кампании сталинской мести, которую осуществлял Наум Эйтингон, пользовавшийся разными — в данном случае профессиональными — услугами своего берлинского родственника.

Поразительно, что этот детектив оказался столь прочно забытым. Возможно, это произошло потому, что история Зинаиды Волковой с трудом укладывается в нарратив русского образца. Сталинская месть ориентировалась на иные стандарты; а двойная жизнь Макса Эйтингона — этого доктора Джекила и мистера Хайда новейшей интеллектуальной истории — хоть и имеет литературные прецеденты, но слишком сильно отклоняется от понимания человека как романтического героя, целостного психологического субъекта с линией поведения, имеющей смысл. Доведение до самоубийства на психоаналитической кушетке составило бы сюжет для американского фильма, но его трудно представить себе в русском романе. Мемуары Судоплатова — шефа Наума Эйтингона — и сегодня кажутся неправдоподобными; злодеяния 20-го века не умещаются в литературные рамки, заданные в 19-м. Давая смысл жизни Саломе, Шпильрейн, Метнера, Осипова, Панкеева (и даже Плевицкой), оставив им пространство для борьбы и выхода за свои пределы, русская литература не запрограммировала Зину Волкову и Макса Эйтингона.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Письмо Фрейда Т. Рейку цит. по: Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art. — Ann Arbor, 1985. — P. 76.
- 2 Фрейд З. «Я» и «Оно». — Тбилиси, 1991. — Т. 1. — С. 395.
- 3 Историю Сергея Панкеева и обзор литературы о нем см.: Эткин Д. А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. — СПб., 1993. — Гл. 3; Rice J. L. Freud's Russia. National Identity in the Evolution of Psychoanalysis. — New Brunswick, 1993.
- 4 Obholz K. The Wolf-man Sixty Years Later. — London, 1980. — P. 88.
- 5 Мандельштам О. Собр. соч. — М., 1991. — Т. 2. — С. 333.
- 6 См.: Эткин Д. А. «У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман из жизни нэпманов, или пародия на советский психоанализ // Звезда. — 1993. — N 8. — С. 192–200.
- 7 Ср., однако, более гибкий подход в анализах Светланы Бойм: Бойм С. Death in Quotation Marks. Cultural Myths of the Modern Poet. — Harvard, 1991.
- 8 Цит. по: Livingstone A. Salome, her Life and Work. — New York, 1984. — P. 9.
- 9 Andreas-Salome L. Ma vie / Ed. par E. Pfeiffer. — Paris, 1997. — P. 24.
- 10 Письмо Ницше Полю Рэ от 21 марта 1882 г. Цит. по: Nietzsche, R. e. e., Salome. Correspondance. — Paris, 1979.
- 11 Ibid. — P. 62.
- 12 Запрещенная русской цензурой, поэма Лермонтова вышла в Германии раньше, чем в России, и не раз переводилась на немецкий (впервые в 1852 г. Ф. Боденштедтом, лично знавшим как Лермонтова, так и Ницше). — Лермонтовская энциклопедия. — М., 1981. — С. 393.
- 13 Фрейд З. Из истории детского невроза // Фрейд З. Психоаналитические этюды. — Минск, 1991; Фрейду, вероятно, показалось бы близким предисловие к «Герою нашего времени», где Лермонтов сближает писателя с врачом как целителей общественных пороков.
- 14 Написано в конце апреля 1884 г. Цит. по: Peters H. F. My Sister, my Spouse. — London, 1963. — P. 176.
- 15 Ферстер-Ницше Э. Возникновение «Так говорил Заратустра» // Ницше Ф. Так говорил Заратустра. — М., 1990. — С. 291.

- 16 См.: Андреас - Саломе Л. Фридрих Ницше в своих произведениях // Северный вестник. — 1896. — N 3—5.
- 17 P a r e r n o I. Chernyshevsky and the Age of Realism. A Study in the Semiotics of Behavior. — Stanford, 1988; см. также: M a t i c h O. Dialectics of Cultural Return: Zinaida Gippius' Personal Myth // Cultural Mythologies of Russian Modernism. — Berkeley, 1992. — P. 52—72.
- 18 Неопубликованные воспоминания С. Н. Шиль хранятся в Научной библиотеке Московского университета. — Ед. хр. 1004.
- 19 А з а д о в с к и й К. Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке. — СПб., 1992.
- 20 A n d r e a s - S a l o m e L. Correspondance avec Sigmund Freud. — Paris, 1970. — P. 333.
- 21 Подробнее см.: Э т к и н д А. Эрос невозможного. — Гл. 1.
- 22 И в а н о в а Л. Воспоминания. Книга об отце. / Подгот. текста Дж. Мальмстада. — Париж, 1990. — С. 217.
- 23 ГНБ (Москва). — Ф. 167. Оп. 14. Ед. хр. 62; частично опубликованы в кн.: Э т к и н д А. Эрос невозможного. — С. 73—76.
- 24 Ю н г К. Г. Избранные труды по аналитической психологии / Авториз. изд. под общей ред. Э. Метнера. — Цюрих, 1929. — Т. 1: Психологические типы; <Цюрих, б/д.>. — Т. 2: Libido, ея метаморфозы и символы; Цюрих, 1939. — Т. 3: Опыт изложения психоаналитической теории и другие статьи.
- 25 В ы ш е с л а в ц е в Б. <Рец.> // Путь. — 1930. — N 20. — С. 111—113.
- 26 В ы ш е с л а в ц е в Б. Этика преображенного эроса. — Париж, 1931. — С. VI.
- 27 И в а н о в а Л. Воспоминания. — С. 217—218.
- 28 И в а н о в В. И. и М е т н е р Э. К. Переписка из двух миров. Публикация В. Сапова // Вопросы литературы. — 1994. — N 2. — С. 306.
- 29 Там же. — С. 307.
- 30 The Freud-Jung letters. — P. 495.
- 31 Тем не менее, не только сталинско-брежневские идеологи утверждали, что психоанализ чужд российскому обществу. «Фрейдизм во всех его разновидностях и этапах <...> так никогда и не был пережит в русской культуре», — писал в эмиграции Александр Пятигорский. (Пятигорский А. О психоанализе из современной России // Россия. Russia. — 1977. — N 3. — С. 29—50). На этой фактически неверной оценке основывает свои рассуждения, сами по себе замечательные, Борис Гройс (см.: Гройс Б. Утопия и обмен. — М., 1993. — С. 245—259).
- 32 О работе Осипова в Чехословакии см.: Э т к и н д А. Эрос невозможного. — С. 264—268.

- 33 О символистах писал только Николай Баженов, впрочем, не психоаналитик, а психиатр; см.: Баженов Н. Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. — М., 1903.
- 34 Краинский Н. В. Лев Толстой как юродивый. — Белград, б.д. — С. 29, 5.
- 35 Там же. — С. 21.
- 36 Там же. — С. 20.
- 37 Краинский Н. В. Без будущего. Очерки по психологии революции и эмиграции. — Белград, 1931. — С. 106.
- 38 Там же. — С. 183—185.
- 39 Блок А. Собр. соч. — М.; Л., 1962. — Т. 5. — С. 355.
- 40 Краинский Н. В. Без будущего. — С. 186, 83.
- 41 Ермаков И. Д. Этюды по психологии творчества А. С. Пушкина. — М.; Пг., 1923; Ермаков И. Д. Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя. — М.; Пг., 1924.
- 42 Осипов Н. Е. Страшное у Гоголя и Достоевского // Жизнь и смерть. — Прага, 1935. — Т. 1. — С. 134.
- 43 Там же. — С. 131.
- 44 Там же. — С. 129.
- 45 Цит. по: Досужков Ф. Н. Невроз боязни, страх смерти и страх привидений // Жизнь и смерть. — Т. 2. — С. 127.
- 46 Там же. — С. 134.
- 47 Ее биографию см.: Эткин А. Эрос невозможного. — Гл. 5. Некоторые новые материалы, не вошедшие в книгу, см.: Эткин А. Еще об Л. С. Выготском: забытые тексты и ненайденные контексты // Вопросы психологии. — 1993. — N 4. — С. 37—54; Kerr J. A Most Dangerous Method. — New York, 1993.
- 48 Spielrein S. Die Destruction als Ursache des Werdens // Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1912. — N 4. — S. 465—503; английский перевод см.: Spielrein S. Destruction as the Cause of Coming into Being // The Journal of Analytical Psychology. — 1994. — V. 39. — N. 2. — P. 155—186.
- 49 Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. — М., 1989. — С. 417.
- 50 См. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре 18-го века // Лотман Ю. М. Избранные статьи. — Таллинн, 1992. — Т. 1. — С. 248—268.
- 51 Freud S. and Zweig S. Correspondence. — New York, 1988.
- 52 Цит. по: De Mijola A. Les mots de Freud. — Paris, 1989. — P. 208—209.

- 53 Штейнберг А. Друзья моих ранних лет / Подгот. текста Ж. Нива. — Париж, 1991. — С. 248.
- 54 Опубликовано в: Эткинд А. Эрос невозможного. — Гл. 7; см. также: Максимова В. Дело Плевницкой // Московский наблюдатель. — 1993. — N 2/3. — С. 59. Вместе с тем, роль Макса Эйтингона в парижском и других делах не раз оспаривалась историками.
- 55 Недавно переизданы: Плевницкая Н. Дежкин карагод: Воспоминания. — СПб., 1994; посвящение см. с. 82.
- 56 Троцкий Л. По поводу смерти З. Л. Волковой // Бюллетень оппозиции. — 1933. — март. — С. 29–30.
- 57 Дойчер И. Троцкий в изгнании. — М., 1991. — С. 214.
- 58 Van Heijenoort J. With Trotsky in Exile. From Prinkipo to Coyoacan. — Cambridge (Mass.), 1978. — P. 35.
- 59 Троцкий Л. По поводу смерти З. Л. Волковой.
- 60 В одном письме речь идет о некоем докторе Мае; см.: Волкогонов Д. Троцкий. — М., 1992. — Т. 2. — С. 157.

ЛАТВИЙСКАЯ ВЕТВЬ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

ЮРИЙ АБЫЗОВ

Первая Мировая война породила объект нашего рассмотрения. Вторая — закрыла за ним скобку. Завершенность эта дает возможность ясно видеть закономерность исследуемого процесса, воспринимаемого, так сказать, *invitro*, тогда как во многих других странах процесс был длительнее и менее четким.

Сейчас видно, что проблема не носит отвлеченно-академического характера, а весьма злободневна, поскольку вновь возникают прямые аналогии там, где дело касается бытования русского меньшинства в Балтии.

Традиционно, в течение десятилетий, русская эмиграция означала антисоветское, антибольшевистское образование, оппозиционное Красному — Белое. Все, что не Красное, то только Белое. Других цветов и оттенков как будто и не было. Между тем, вне пределов советской России существовала другая палитра.

Так, приват-доцент В. Преображенский давал следующую развернутую метафору: «Несмотря на все разнообразие условий, в которых ныне живут русские люди, можно установить 3 основных типа «Руси», тройное проявление национального бытия. Это — 1) Русь эмигрантская, зарубежная, «в рассеянии сущая», белая. 2) Русь меньшинственная, приграничная, от Балтийского моря до Черного протянувшаяся, синяя, так сказать, и, наконец, 3) Русь подъаремная, советская, кровью своею залитая, красная».¹

Значит, за пределами советской России было уже не одно, а два состояния русских.

С эмиграцией ясно: это те, кто на кораблях отплывали из Новороссийска и Крыма и потом вели горестную жизнь в Европе, те, кто покинул родную землю. Но ведь за

пределами Отчизны были и те, кто не трогался с места и тем не менее оказался чужеземцем, как жители западной части бывших Витебской и Псковской губерний, которых новая граница обратила в население Латвии.

А были еще люди, которые в 1915 году бежали от войны, оставляя дома и угодья, и потом, когда выстрелы стихли, стали возвращаться, — «беженцы». Они тоже не покидали родных домов, а лишь временно оставляли их.

Эмигрантами были те, кто уходил с остатками Северо-западной армии, откатывавшимися из-под Петрограда в Эстонию, и те, кто всеми правдами-неправдами, старались доказать, что они причастны к новому государству. Разумеется, для многих это было лишь спасительной уловкой, на самом же деле люди откровенно бежали из голодного Петрограда или многострадального Пскова. А не было спасительных документов — на свой страх и риск перебирались через кордон. Литература, описывающая эти рискованные предприятия, достаточно обильна² и все еще пополняется.³

В общей сложности в начале 20-х годов численность русского населения в Латвии была близка к 200.000 человек. Примерно столько же было русских в Берлине и столько же в Париже.

Но в Париже было, по выражению З. Шаховской, «гетто зарубежной России»⁴, в то время как в Латвии был даже не анклав, а «национальное меньшинство» (около 12% всего населения).

Состав этого русского населения был весьма разнороден. Были группы «старожильческие», за которыми насчитывалось свыше 200 лет пребывания (так, нагледен персонаж Леонида Зурова «Что мне рассказывал столетний дед»)⁵, были служащие прежних губернских учреждений, бывшие промышленники и финансисты, были Генерального штаба полковники, были петербургские журналисты и юристы, были высокообразованные профессора и потомственные неграмотные крестьяне.

Говорить про всех — *местное* русское население — неправомечно, так как многие были вовсе не «местные», а говорить про всех, что это «эмигранты» тоже неверно, так как многие, даже бежавшие от большевиков, эмигрантами себя не считали. И поэтому довольно затруднительно назвать точное число «эмигрантов». «Эмигрант» и «ино-

странец» порой выглядели довольно условными понятиями, так что их можно было вышучивать: «Третьего дня прибыли с целью ознакомиться с рижским шtrandом три иностранца: имеющий постоянное жительство в Риге по Католической улице N 46 нансенист Голоштанников, мещанин из города Шавель в Литве Янкель Хват и бывший белорусс — ныне польский подданный Антон Жмых из Гривы».⁶

Латвийское подданство могли сравнительно легко получить те, кто родился в нынешних границах республики до 1914 или до 1881 года, или кто являлся потомком лиц, проживавших здесь, или сам прожил 5 лет уже после 1919 года. Так что статус «эмигранта» многие сравнительно быстро меняли на статус «подданного», поэтому довольно трудно назвать точное количество эмигрантов.

По данным переписи 1935 года 226.758 русских уже были латвийскими подданными, 3.953 — нансенистами (т. е. собственно эмигрантами) и 2.532 — иностранными подданными⁷ (т. е. уже обзавелись ранее румынскими, польскими и литовскими паспортами во время беженских скитаний) или сохранили советский паспорт (были и такие).

Конечно, для советской власти все они в массе своей были чуждым, даже враждебным образованием, в равной мере «эмигрантами», каждый попадал под графу советской анкеты «Проживал ли за границей», каждого в 1940 году можно было заталкивать в товарный вагон, как тех, кто бежал от советской власти, так и тех, кто под нею не жил и ей не присягал.

Вот так виделось местное русское население советскому функционеру: «<...> в Латвии демократического — в настоящем смысле слова — русского населения не было прежде и почти нет теперь. Вся местная русская общественность «потомственна» реакционному чиновничеству царского времени, притом уплотнена спекулятивными элементами военной и революционной эпохи».⁸ И эта оценка и содержащаяся в ней потенциальная угроза сохранялась 20 лет.

И тем не менее, «местные» были раздираемы — и противоречивыми чувствами, и своеобразным поведением. С одной стороны, они были избавлены от ревкомов, ЧК, раскулачивания, не видели поругания веры и, как писал А. П. Ливен, «оторванные от своей псковской родины, они

оказались под защитой законов молодой Латвии и эти законы дали этому русскому краю возможность сохранить и развить у себя и в себе культуру, которая поправа у их земляков, оставшихся в пределах СССР».⁹

С другой стороны, население это рассматривало оторванность от России как нечто противоестественное.

Учитель И. Д. Фридрих, долгие годы записывавший фольклор тех мест, где он работал, собрал такие вот «приграничные частушки»:

Страна моя, сторона,
Страна родимая.
Посмотрю в свою сторону,
Заболит ретивое.

Хотят мне запретить
В Совет гулять ходить.
Тады запрет дадут,
Кады с револьвера убьют.

Поставили границу
По Лжу большу реку.
Моя душа за границей
Я туды перебегу.¹⁰

Разделение, расслоение, размежевание было бедой для местного русского населения. Но именно оно помогает исследователю разобраться в предмете исследования более глубоко.

Итак, эмиграция — то, что отделено и от покинутой страны и от коренного населения страны нового обитания. Чем отличать один эмигрантский анклав от другого? Где больше военных или писателей?

В Латвии бывших военных было куда меньше, чем в Югославии, профессуры меньше, чем в Чехословакии, писателей парижского масштаба и вовсе не было.

Отсутствовало очень многое, но зато имелось то, чего нигде больше не было. Имелась «парадоксальность балтийской эмиграции».

Нормальная, так сказать, эмиграция, как уже говорилось, означает принудительное перемещение в чуждую среду с необходимостью приспособливаться и смиряться с утратой.

Но ведь здесь, в Латвии:

1) многие не трогались с места и тем не менее становились эмигрантами;

2) только что были представителями заглавной нации, «большинством» с комплексом величия — и вдруг становились втиснутыми в рамки «национального меньшинства» с комплексом неполноценности;

3) быстро утрачивались четкие сословные и классовые деления, отчетливые страты, и наблюдалось приравнивание тех, кто входил в 20.000 рижских русских, к 200.000 полуграмотных русских мужиков на востоке республики. Бывший генерал входил в образ российского пахаря. И подтверждением тому является такая газетная зарисовка.

«Бог в помощь, генерал!

Моросит дождь, слизит глинистую пашню.

Вразвальцу, с растрепанной ветром гривой, идет бороздой лошаденка.

Пахарь в облипших землю латгальских «поршнях», в русской военной шинели, в фуражке с артиллерийским околышем. Сосредоточенное выражение, окладистая, скобелевская борода. . .

«Бог, в помощь, генерал!»

Привычной рукой натягиваются вожжи. В позе отдыхающего пахаря опирается на железо плуга, вытирая рукавом потный лоб.

«Трудно работать, — говорит генерал, — размякла земля. . . Настоящая моя задача: «обложить» под яровые вот всю эту площадь».

Характерный жест, точно указывающий атакуемую неприятельскую позицию и в голосе нотка былых диспозиций — сбить противника, расширить плацдарм». ¹¹

4) Россия была под самым боком, но это была не мать, а злая мачеха.

Для балтийских «рандштатов» (зарубежный термин 20-х годов, в СССР больше слышалось «лимитрофы») было характерно нечто специфическое, что я назвал бы «стоп-кадром». Поскольку не трогалось с места основное население русской Латгалии и Московского форштадта Риги, — пространство как бы оставалось неизменным, а вместе с этим как бы застывало и время. Сохранялась видимость бытования прежней России. Во Францию Россию можно было унести только в памяти, здесь сохранялась видимость

бытования прежней России. «Когда я ездил по этим странам в медленно ползущих поездах, в знакомых русских вагонах, когда сидел за чайным столом, за самоваром, а в большой — по-русски сложенной печке уютно потрескивали дрова, — я ощущал себя не «там, где была Россия», а просто в Р о с с и и . . .

<...> Для нас, эмигрантов, покинувших Россию десять лет тому назад, уклад жизни в Эстонии и Латвии, пожалуй, теперь даже ближе, чем в подлинной России, где именно в области быта произошли огромные перемены.

«Уклад жизни», «быт» — понятия весьма неопределенные, но это как раз главное, что дает ощущение «своего» или «чужого». И вот в Эстонии и Латвии я это «свое» ощущал в гораздо большей степени, чем «чужое» . . .

Изголодавшийся за время долгого изгнания по всему «своему», родному, я наслаждался всякими родными мелочами, на которые прежде не обращал внимания. . .

Больше же всего способствуют ощущению родины в этих чужих государствах их граждане, принадлежащие к русскому национальному меньшинству. . . Живут они там же, где жили в прежней России, учителя остались учителями, врачи — врачами, некоторые помещики, лишившись большей части своих владений, все же продолжают жить и хозяйничать на своей земле, о русских крестьянах и говорить нечего — у них все по-старому. Все эти люди, лояльные граждане молодых государств, естественно, чувствуют себя дома, на родине». ¹²

В эмигрантском Париже Россия всплывала в расплывчатом ореоле, от которого реальные черты смещались, что и давало Дон-Аминадо возможность писать о ностальгических «живых картинах» так:

Потом появились бояре в кафтанах,
И хор их про Стеньку пропел и утешил,
И это звучало тем более странно,
Что именно Стенька бояр-то и вешал. . .

В русской среде Латвии какое-то время наблюдалась незыблемость быта и вкусов. Не случайно в расчете на эту инерцию покоя журнальные гешефтмахеры и запускали в производство издания как бы прежних лет или хотя бы как в о з о б н о в л я е м ы е : «Новая Нива», «Наш огонек», «Аргус», «Синий журнал». И уж если «Новое время», выходящее в Югославии, никак не было продолжением прежнего «Нового времени», пусть газету

и возобновил Суворин-юниор, то рижские суррогатные издания говорили только о подспудном желании окунуться в прошлое.

Было ли это характерно для всего состава местных русских?

Разумеется, нет. Были люди «провинциальных» вкусов, державшиеся за «Наш огонек», и недавние петербуржцы и киевляне старались идти в ногу со временем, ориентируясь на русский Париж. Столица русского края, Двинск, отставала от бега времени, что видно хотя бы по духу и вкусам местной «элиты». Учитель, издатель газеты и поэт Арсений Формаков жил еще «по Северянину», тогда как Рига уже считала Северянина анахронизмом. И сопрягая себя с современностью, редактор рижской газеты «Сегодня» М. С. Мильруд выговаривал корреспонденту в Румынии В. Благову, что кишиневцы явно погрязли в провинциализме и в прошлом, не видя, что Северянин — отыгранная карта. «Наезжие», как правило, обладали более высоким образовательным цензом и связями в эмигрантских кругах других стран, и это, естественно, обособляло их. Разделение было заметно в самых разных областях.

Долгое время существовало два национальных союза, деление студенчества, деление учительства, деление газетчиков на «истинно русских» и «еврейских», только пользующихся русским языком. Высоколобая Рига и полуграмотная Латгалия невольно противостояли друг другу. Латгалия вообще огорчала учительство и газетчиков своей необразованностью, сепаратизмом, упрямством старообрядцев. И именно в силу постоянной разобщенности русское население никогда не могло сколотить единого списка, и больше 5 депутатов в Сейме от русских никогда не было.

Разделение единого русского состава началось даже раньше процесса эмиграции. С окончанием немецкой оккупации местное русское население ощутило себя отчужденным от России: «<... > если там, в центре, русские люди должны прежде всего восстанавливать свою государственность, основу всякого культурного строительства, то здесь, на окраине, где волна большевизма не успела еще разрушить основные элементы государства, где мы численно в меньшинстве, на первую очередь выдвигается для нас достижение условий свободного развития нашей культуры, свободного состязания и сотрудничества

на всех попрizzaх с другими народностями, населяющими родной и нам край». ¹³

Но о свободном развитии на полгода пришлось забыть, потому что «волна большевизма» докатилась и сюда, принеся власть Стучки и Данишевского, продержавшуюся до конца мая 1919 года.

Объединение русских в Латвии восходит еще к заключительному этапу существования Российского государства: 9 апреля 1917 г. в Риге был создан Национально-демократический союз русских граждан, возглавляемый присяжным поверенным А. С. Бочаговым. Пройдя период митингов и деклараций, пережив приход в Ригу немцев, а потом большевиков, союз возобновил свою деятельность в июне 1919 г. Он объединял все существовавшие тогда русские организации, от религиозных до спортивных. Первое время Союз занимался улаживанием местных проблем, вызванных оккупацией и большевистским правлением. Но «красный террор в России вызвал эмиграцию в Латвию, как страну смежную, притом такую, на которую русский человек не имел основания смотреть иначе, как на родную. Пришлось озаботиться помощью эмигрантам. . . Тогда при Национально-демократическом союзе образовался Особый комитет по делам русских эмигрантов». ¹⁴ Во главе его стояли К. Г. Гудим-Левкович и М. П. Спиридонов.

Летом, с притоком беженцев из Пскова, в Ригу прибыл В. А. Пресняков. Было решено назначить его консулом еще длившего свои дни Северо-Западного правительства. Пользуясь своими прерогативами и располагая средствами, Пресняков создал «Русское общество в Латвии», которым вместе с ним управляли Ф. С. Павлов (известный старообрядческий деятель) и бывший депутат Государственной Думы князь С. П. Мансырев.

С этого момента начинается длительное противоборство в стане русского меньшинства. Причина раздора заключалась в том, кого считать русским, как относиться к России и как действовать в Латвии.

«Сложность положения русских, по сравнению с другими народностями, вытекает из того, что благодаря племенной пестроте бывшей России и обобщению всех племен русским образованием, русскою культурою, — под понятие «русский» вне пределов России подходят и евреи, и латыши, и эстонцы, и литовцы, и многие другие, если они воспитаны в русском духе. Поэтому, когда речь идет

об объединении на основах просвещения, искусства, благотворительности или развлечения, тогда не приходится делиться по национальностям или вероисповеданиям».¹⁵

Но помимо «искусства и развлечения» существовала еще политика, делящая россиян на «своих» и «чужих». И оба Союза стали оспаривать друг у друга право представлять «русскость», усматривали друг у друга «засоренность» рядов евреями или, наоборот, приверженность к черносотенству. В конце концов «Русское общество в Латвии» постепенно сошло на нет и самоликвидировалось. Утвердился лишь Национальный союз, имевший опору в традиционных, еще дореволюционных обществах и организациях.

В Национальный союз не входило Общество русских эмигрантов, поскольку ни коллективно, ни индивидуально не имело права гражданства. Организационную форму оно получило лишь в 1925 году (предс. Д. Д. Григорьев). Основной вид деятельности — взаимопомощь, сбор средств для наиболее нуждающихся. По сути дела общество еле теплилось. Вся активная жизнь русских протекала помимо него, и в 30-х годах оно уже не было заметно.

Чтобы иметь представление о том, кто числился в «коренных» русских и кто в «наезжих» — «эмигрантах», приведем два списка персоналий. Кратких упоминаний, за которыми стоят события, годы и судьбы, думается, достаточно, чтобы читатель сам сделал развертку этих точечных сведений и превратил их в фоновый материал.

Укорененные

Антипов Никол. Ильич (1894 — 1942). Родился в Риге. Окончил юридический фак-т. Основатель корпорации «Рутения». Член многочисленных русских обществ и организаций. В 1941 г. был арестован и погиб в лагере.

Антонов Серг. Ник. (1884 — 1956). Род. в Риге. Архитектор (проектировал здание газ. «Сегодня»), театр. художник. Преподав. Латв. ун-та.

Бордонос Никол. Ник. (1865 — 1945). В свое время управлял Митавским отд. Крестьянского банка. Учредитель Русского нац. объединения и Русского нац. союза. Депутат Сейма. Редакт. газ. «Маяк». Учитель.

Бочагов Александр Сем. Присяж. повер. Учредитель Русского нац.-дем. союза.

Брамс Яков Иос. (1898 — 1981). Род. в Либаве. В 1919 г. основал газ. «Сегодня». В 1939 покинул Латвию. Жил и ум. в Америке.

Витвицкая Божена Иос. (?—1923). Актриса. Театр. критик (псевд. «Бинокль»). Вернулась в Ригу в 1920 г. Сотр. в газ. «Рижский курьер».

Гейнеке Густав Траугуттович (1863—1933). Прис. повер. Предс. III риж. о-ва взаимного кредита. Отец Ирины Одоевцевой.

Евланов Бор. Викт. (1890—1943). Род. в Риге. Оконч. Петерб. ун-т. В войну уполномоченный гл. комитета Всеросс. земского союза. В 1917 г. пом. комиссара Временного пр-ва при Верховном главнокоманд. Вывозил имущество Земского союза из Одессы. Эвакуировался с Врангелем. В Латвии занимался земскими проблемами и кооперац. Ред. газ. «Новь» (1925). В 1940 арестован и погиб в Саратов. тюрьме.

Заволоко Ив. Никиф. (1897—1984). Род. в Режице. После оконч. Карлова ун-та в Праге — канд. права. Секретарь газ. «Слово». Старообрядч. культурн. деятель. Ред. журн. «Родная старина». Учитель. В 1941 г. арестован и отправлен в лагерь. Вернулся без ноги. Был известен в академ. кругах как знаток рукописной книги. Нашел список «Жития протопопа Аввакума» с его маргиналиями и подарил Пушкинскому Дому.

Задонский Андр. Вас. (1897—1941). Род. в Гольдингене (ныне Кулдига). Отец украинец, учивш. в Риж. политехн. ин-те, автор гимна корпорации «Фратернитас Арктика», мать — курлянд. немка по фамилии Бюргер. Детство провел в имении отца на Вольны. Оконч. гимназию в Житомире. Прозаик. Сотр. в газ. «Сегодня». Сохранили значение его очерки об уходящей немецкой Курляндии. В 1939 г. покинул Латвию. Ум. в г. Врешен (Вартеланд).

Иоани, архиепископ (1876—1934). Православный архиепископ, по нац. латыш. Выпускник Киевской дух. акад. Ректор Литовск. семинарии. С 1912 г. занимал ряд кафедр, вплоть до архиеп. в Пензе. С 1921 г. глава Латвийск. правосл. церкви. Депутат Сейма. Непримирымый антикоммунист, за что и был убит в 1934 г.

Каллистратов Мелетий Архип. (1896—1941). Род. в Двинске. Служил в отряде светл. кн. Ливена (см. ниже). Учитель. Депутат Сейма. В 1941 г. расстрелян во дворе Двинской тюрьмы.

Кнауф-Магнусофская Елиз. Авг. (1893—1942). Поэтесса, прозаик. Теософка. Работ. в ред. газ. «Слово», впечатления потом отразила в кн. «Зимние звезды». Ум. в Риж. доме престарелых.

Кривошапкин Мих. Дмитр. (1888—1943). Инженер. Активн. общ. деятель. Филистр корпор. «Фратернитас Арктика». Арестован и ум. в лагере.

Лебедев Сем. Харит. (1895—1943). Учитель. Офицер, уходил в Сибирь с Колчаком. Вернувшись в Латвию, вновь учительствовал, выпустил кн. стихов. Арестован и ум. в лагере.

Левин Габриэль (1891—1952). Род. в Риге. Журналист. Покончил с собой в лагере.

Левин (Дугин) Герасим Александр. (1900—1942?). Род. в Либаве. Прозаик, поэт, переводчик. Погиб в заключении.

Ливен Анат. Павл. (1862—1937). Светлейший князь. В 1919 г. с созданным им отрядом помогал выбивать большевиков из Риги. Был тяжело ранен. Сotr. в газ. «Сегодня». Жил при некогда принадлеж. ему родовом имении Мезоттен, похоронен на бывш. фамильном кладбище.

Лишин Никол. Ник. (1899—1941). Бывш. морской офицер, автор кн. «На Каспийском море. Год белой борьбы» (Прага, 1938). Несколько лет жил в Китае. Вернувшись в Ригу, возглавлял сокольское движение. Арестован и расстрелян.

Махтус Герберт (1907—1941). Род. в Риге. Пост. сотр. газ. «Сегодня». Расстрелян немцами.

Махтус Эдгар-Арвед. (1903—1983). Род. в Риге. Пост. сотр. «Сегодня». Арестов. в 1941 г. и отправлен в лагерь. После освобожд. остался жить в Соликамске, где и умер.

Моссаковский Андриан Павл. (1871—1939). Директор «Ломоносовской гимназии» в Риге.

Новоселов Юрий Дмитр. (1873—1955). Географ, этнограф. Преп. разных риж. гимназий. Автор неск. кн. по истории края и учебников.

Нюренберг Серг. Марк. (1864—1933). Прис. повер. Отец Е. Булгаковой.

Остроухов Леонид Сем. (1868—1937). Брат изв. художника и искусствоведа Ильи Сем. О. Преп. риж. гимназий. Основатель русск. театра в Риге.

Павлов Фед. Сем. (1872—1933). Старообрядческий деятель. Журналист.

Перов Анат. Козьмич (1907—1977). Род. в Риге. Зав. отд. русской жизни в газ. «Сегодня». В 1940 г. арестован и 14 лет провел в лагерях и на поселении.

Перов Борис Козьмич (1910—1943). Актер Русской драмы. Расстрелян немцами.

Петров Влад. Мих. (1908—1943). «Ломоносовец». Оконч. юрид. фак-т Латв. ун-та. Шахматный гроссмейстер. Арестован в Москве в 1942 г. Ум. в Котласлагере.

Плотников Петр Осип. (1908—1945). Художник-прикладник. Опубл. кн. стихов. В 1941 г. арестован и погиб в лагере.

Преображенский Вас. Вас. (1897—1941). Магистр богословия в Пражском ун-те. Преп. риж. гимназий. Арестован в 1941 г. Погиб в Соликамлаге.

Роминский Ник. Родион. (1868—1943). Преп. рисования в «Ломоносовской гимназии». Прозаик. В 1939 г. покинул Латвию.

Сахаров Серг. Петр. (1880—1951). Учитель. Историк-краевед. Этнограф. Директор Лудзенской гимназии. Арестован и отправлен в лагерь.

Строк Оскар (Ошер) Давид. (1892—1975). Род. в Двинске. Известный эстр. композитор. В 20-х годах — издатель.

Тайлова Людм. Ив. (1851—1938). Директриса гимназии.

Тейтельбаум Изр. Адольф. (1901—1943). Род. в Риге. Пост. сотр. газ. «Сегодня». Арестован и расстрелян в Астрахани.

Терентьев Петр Ник. (1902—1944?). Инж.-химик. Поэт. Арестован в 1944 г. Дальн. судьба неизвестна.

Формаков Арс. Ив. (1900—1983). Педагог. Директор Двинской гимн. Ред. газ. «Двинский голос». Прозаик, поэт. В 1940 г. арестован и сослан.

Цивинский Серг. Ант. (1895—1941). Род. в Двинске. Бывш. офицер из семьи профес. военных. Художник, карикатурист в газ. «Сегодня». В 1940 г. арестован и увезен в Москву. Расстрелян.

Чиннов Иг. Влад. Род. в 1909 г. в Тукуме. Оконч. «Ломоносовскую гимназию». Поэт. Ныне проф., живет в США.

Шалфеев Бор. Никол. (1891—1935). Род. под Валкой. Журналист. Директор гимназии. Автор статей по истории Риги.

Эрн Фед. Александр. (1863—1926). Преп. риж. гимназий. В авг. 1919 г. был приглашен в кач. министра нар. просвещения в состав Сев.-Зап. пр-ва.

Наезжие

Арабажин Конст. Ив. (1855—1929). Проф. Гельсингф. ун-та. В Риге основат. и ректор Русских универс. курсов.

Белоцветов Никол. Алексеев. (1863—1935). Финансист. Глава страх. о-ва «Саламандра» и печатного а/о с тем же названием, выпускавш. газ. «Слово» и журн. «Перезвоны».

Белоцветов Ник. Ник. (1892—1950). Сын Н. А. Поэт, антрополог.

Бережанский Ник. Григ. (?—1935). Журналист. 1-й ред. газ. «Сегодня», затем газ. «Слово», вед. сотр. газ. «Новое слово» и журн. «Для вас». Фольклорист.

Богданов-Бельский Ник. Петр. (1868—1945). Известный художник-передвижник. Покинул Латвию в 1944. Ум. в Берлине.

Верховская Кира Андр. (1907—1980). Дочь изв. в Риге до войны инж.-путейца А. В. Верховского, расстрелянного в Петрограде в 1923 г. Сотр. «Сегодня» и журн. «Для вас».

Виноградов Серг. Арс. (1870—1938). Известный художник-передвижник. Академик.

Высотский Конст. Сем. (1863—1938). Художник-анималист.

Гадалин-Васильев Вас. Влад. (1890—1959). Журналист, сотр. разл. русских изданий, вплоть до газ. и журн. 1941—1944 гг. Был арест. в 1944 г. Вернулся в Ригу, где и умер.

Галич (Гончаренко) Юр. Ив. (1877—1940). Бывш. кавалерист, генерал. Поэт, романист. Долголетн. сотр. «Сегодня». Покончил с собой после вызова в НКВД.

Ганфман Максим Ипполит. (1872—1934). Бывш. ред. газ. «Речь». В Риге — главн. ред. газ. «Сегодня».

Грибовский Вяч. Мих. (1867—1924). Проф. гос. права.

Гроссен Генр. Ив. (1882—1974). Оконч. юрид. ф-т СПб. ун-та. До рев. помощник обер-секрет. в уголовно-кассац. департ. Сената. Ред. газ. при Сев.-Зап. пр-ве. Через Эстонию прибыл в Латвию. Сотр. в «Рижском курьере», «Вечернем Времени» и

«Слове». Потом учительствовал. Покинул Латвию в 1941 г. и поселился в Швейцарии.

Грузенберг Оскар Осип. (1865—1940). Изв. петерб. адвокат, участник в «деле Бейлиса» и др. историч. процессах. В Риге ред. журн. «Закон и суд». Потом покинул Ригу и переехал в Париж.

Дидковский Макс. Мечисл. (1887—1954). Бывш. Ген. штаба подполковник. Книгоиздатель. Арестован в 1954 г. и ум. в Кра-славе.

Жаков Каллистрат Фалалеевич (1866—1926). Проф. философии.

Зуров Леонид Фед. (1902—1971). Ранен в боях под Петроградом во время действий Сев.-Зап. армии. В Риге оконч. «Ломоносовскую гимназию». Сотр. в газ. «Слово». Кн. «Кадет» и «Отчина». Был замечен Буниным и «выписан» им в Париж.

Карачевцев Серг. Вас. (1891—1942). Бывш. офицер. Книгоиздатель. Арестован и расстрелян.

Климов Евг. Евг. (1901—1990). Художник. Покинул Ригу в 1944 г. Жил и ум. в Канаде.

Климов Конст. Евг. (1896—1974). Пианист. Проф. Квебекско-го ун-та.

Клопотовский-Лери Влад. Влад. (1883—1944). Газетн. и эстрадн. поэт. Фельетонист. Долголетн. сотр. «Сегодня» и ред. ряда газ. 1941-44 гг.

Коренев Серг. Александр. (1883—?). В японской войне потерял ногу. Окончил Александровскую военно-юрид. академию. В 1917 г. чл. чрезв. комиссии по делам бывш. царских министров (вместе с А. Блоком). В Риге входил в редкол. газ. «Слово». Потом учительствовал. В 1939-40 гг. предс. Риж. русск. об-ва. Арестован и из-за инвалидности был отправлен на поселение в Узбекистан.

Король-Пурашевич Леонард Юлиан. (1876—после 1945). Бульварн. журналист, сотр. почти во всех риж. изданиях, человек крайне сомнительной репутации. Покинул Латвию в 1939 г.

Коссинский Влад. Андр. (1866—?). Проф. политэкономии.

Мельников Пав. Ив. (1857—1944). Бывш. реж. Мариинского театра. Театр. деятель в Риге.

Мильруд Мих. Сем. (1833—1942?). Бывш. сотр. «Русского слова», «Киевских откликов». В Риге ред. газ. «Сегодня». Арестован и погиб в лагере.

Минцлов Серг. Рудольф. (1870—1933). Библиофил, историк, романист.

Оречкин Бор. Сем. (1888—1943). Сотр. «Биржевых ведомостей», «Одесских новостей», «Южного слова». В Берлине ред. журн. «Русский эмигрант», чл. редкол. «Руля». В Риге сотр. газ. «Сегодня» и представит. ее в Литве. Погиб в каунасском гетто.

Пастухов Всев. Леон. (1896—1967). Петерб. приятель Георгия Иванова. В Риге пианист, учитель музыки.

Переферкович Наум Абр. (?—1940). Оконч. СПб. ун-т вместе с Марром. Сотр. «Русских ведомостей» и «Восхода». Автор

словаря синонимов (псевд. Н. Абрамов). В Риге преп. разн. гимназий.

Перфильев Александр Мих. (1895—1973). Сын кавал. генерала и сам кавал. офицер. В Риге — журнал. деятельн. самого широкого диапазона. Автор 3-х поэтических кн. Сотр. в рус. газетах при немецк. оккупации. Покинул Ригу в 1944 г. Работал на радиостанции «Свобода». Ум. в Мюнхене. Муж Ирины Сабуровой.

Пильский Петр Мосеевич (1881—1941). Литер. критик. В Риге пост. руков. лит. отд. «Сегодня». Автор кн. «Затуманившийся мир» и «Роман с театром», 1929. Перенес инсульт в 1940 г., был частично парализован, что спасло его от ареста. Ум. при немцах в дек. 1941 г.

Поляк Борис Юльевич (1889—?). Врач. Издатель газ. «Сегодня». Успел покинуть Латвию в 1939 г. Ум. в Нью-Йорке.

Ржевский Юрий Серг. (1901—1967). Сын предв. дворянства Рязанской губ. Оконч. Пражский ун-т, инж.-путеец. В Латвии с 1930 г. Изд. «Газеты для всех», рассчитанной гл. обр. на крестьянское население Латгалии. Ангажирован сов. органами. После войны учительствовал в провинции.

Сабурова (урожд. Кутитонская) Ирина Евг. (1907—1979). Жена А. Перфильева. Прозаик. Сотр. журн. «Для вас». Покинула Латвию в 1944 г. Автор романа о русской Риге «Корабли Старого города» (Мюнхен, 1973).

Синайский Вас. Ив. (1876—1949). Доктор права. Проф. Латв. ун-та, автор трудов по истории культуры. Покинул Латвию в 1944 г. Жил и ум. в Брюсселе.

Тихоницкий Елпидифор Мих. (1875—1942). Директор гимназии. Брат архиеп. Ниццкого, позже первоиерарха Зап.-европ. епархии. Арестован в 1940 г. и ум. в Казахстане.

Третьяков Вик. Вас. (1888—1961). Поэт. Две кн. стихов и две кн. переводов из латышск. поэтов.

Харитон Бор. Осип. (1876—1941?). Сотр. газ. «Речь». Член коллегии «Дома литераторов». В 1922 г. выслан из СССР. В Риге ред. вып. «Сегодня вечером». Арестован и погиб в лагере.

Энгельгардт Бор. Александр. (1889—1962). Член Гос. думы. Комендант Петрограда во время февр. рев. В Латвии земский деятель и спец. по коннозаводству. Мемуарист. Был арестован и сидел в лагере.

Юровский Юрий (Саруханов Георгий Ильич) (1894—1959). Ведущий актер Русской драмы.

Якоби Маврикий Петр. (1906—1938). Художник.

Якоби Ник. Петр. (1901—1947). Журналист. Покинул Ригу в 1939 г.

Якоби Петр Ник. (1876—1941). Правовед. До революции занимал высокие прокурор. посты. В Латвии работал над адаптацией российских кодексов к новым условиям. Ред. журн. «Закон и суд». Предс. Русского нац. союза. Арестован и ум. во время этапирования.

Завоевав свою независимость «штыком и гранатой», сражаясь последовательно с большевистскими войсками Стучки, с ландесвером, с германо-российскими силами (Бермондт-Авалов), с эстонцами и вновь с большевиками, латыши, естественно, не намеревались терпеть никаких вооруженных или политических организаций, имеющих целью реставрацию «единой неделимой России», даже обществ, открыто или скрыто выражающих монархические идеи. Поэтому никаких «боевых» организаций, сходных с теми, что существовали на Балканах или в Париже, здесь не было. Власти пристально следили даже за теми, кто мог поддерживать связи с нежелательными союзами или организациями диаспоры.

Достаточно характерен скандальный эпизод с П. Н. Милуковым, которому на его лекции юный В. Адеркас дал пощечину. Установив, что Адеркас действовал по наущению лиц монархического толка (А. Фехнер, В. Самойлов и др.), власти тут же выслали их из Латвии.¹⁵

Сосуществование национальностей в Латвии в целом было мирным, без открытых стычек. Но это не значит, что не было трений, а порой неприязненной отчужденности. В числе причин можно назвать две главных. Первую можно считать бедой русского кретьянства в Латгалии, это — нехватка пахотной земли. У латышского крестьянина в Курземе и Видземе пашни было в два раза больше, и это настраивало русских против латышей. Вторую же можно считать виной самого русского населения — низкая грамотность.

Мало того, что более 50 % взрослого крестьянского населения было неграмотно. Не совсем благополучно было положение и молодого поколения. В начале 30-х годов обязательную школу посещали: немцев — 100 %, латышей, евреев — 90 %, поляков — 80 %, русских же — 66 %.¹⁷

Что касается средней школы, то здесь положение было такое: на 1000 душ населения ее посещали: русских — 7, латышей — 12, немцев — 27, евреев — 39.¹⁸

Естественно, что разрыв в уровнях культуры вносил дух неприязни. Впрочем, дух этот чувствовался, как уже говорилось, и в самой русской среде, хотя бы в среде русского учительства. Как утверждал педагог Рогозинников: «В массе своей учительство средней школы — с высшим образованием. Учительство основной — без высшего. Отсюда обоюдоострая "классовая разница"».¹⁹

Требовались еще годы и годы, чтобы культурный уровень основной массы русских мог подтянуться. Русское учительство буквально из кожи лезло, чтобы свести этот разрыв к минимуму, привести в нормальное состояние «ниву, удобренную войной и революцией, взорванную внезапно хлынувшим непривычным демократизмом».²⁰

Но увы, эти годы не были отпущены. Вскоре прежнюю безграмотность с перспективой ее постепенного, но надежного устранения сменила скоростной выделки советская полуграмотность без видов замены ее на нечто лучшее.

Но это было потом. А пока что педагоги средних школ выпускали очень хорошо подготовленных воспитанников. В особенности традиционно называемая «Ломоносовская гимназия». Уровень преподавания и подготовки здесь был так высок, что почти все окончившие ее по праву занимали высокое место в обществе. Достаточно назвать такие имена, как профессор и поэт Игорь Чиннов, проф. Д. А. Левицкий, журналист Г. Гиршфельд — Анри Гри, гроссмейстер В. Петров, писатель Леонид Зуров, юрист и литературовед Б. В. Плюханов, журналист А. К. Перов, поэт Н. Истомин и др.

Высокий интеллектуальный уровень воспитанников средних школ объяснялся прежде всего тем, что упор здесь делался на знание русского языка в его широком культурном объеме. «Нам, русским, может быть, особенно важно выяснить и вырастить национальное сознание в себе самих и в наших детях. Пока мы были в положении господствующей народности, у нас, казалось, не хватало ни яркости национального сознания, ни остроты национального чувства: мы как будто опасались его проявления, чтобы не задеть, не обидеть наших сожителей других национальностей. Быть может, поэтому самая постановка вопроса о национальном воспитании была довольно осторожна и неопределенна. Теперь, в условиях меньшинственного существования, мы острее сознаем естественность и необходимость национального воспитания, и вместе с тем является желание выяснить прежде всего основы его.

Родной язык — вот первая основа национального воспитания».²¹

Что касается высшей школы, то для начала приведем несколько цифр. В университете учились:

1919/20 — 20 русских; 1924/25 — 109; 1929/30 — 171; 1934/35 — 241; 1936/37 — 188.

До 1936/37 г. университет окончили 130 русских. Из них 30 юристов, 24 врача, 13 инженеров-механиков, 11 инженеров, 10 химиков, 6 агрономов, 6 ветеринаров, 6 экономистов, 4 архитектора, 4 математика, 3 естествоведа, 3 зубных врача, 3 фармацевта, 3 филолога, 3 философа.

Всего в 1936/37 учебном году в высших учебных заведениях Латвии учились 256 русских. В университете — 188, в консерватории — 18, в академии художеств — 9, в частных коммерческих институтах — 41.²²

Деление на «коренных» и «пришлых» проявлялось и в студенческой среде. Так, перед съездом студентов стран с коренным русским населением положение рисовалось следующим образом: «<...> русское зарубежное студенчество не было однородным. Оно сразу же разделилось на 2 части: 1) эмигрантскую и 2) «подданных», т. е. граждан государств с коренным русским населением.

Русские студенты-«подданные» являются полноправными гражданами своего государства: они имеют право и обязаны активно участвовать в жизни своей страны. . .

Для «эмигрантов» русских студентов этих «местных» интересов нет или они существуют в слабой степени. Естественно, поэтому, что подобные «местные» интересы выделили часть зарубежного студенчества (подданных) из общей массы, создали особую идеологию, особую систему организации».²³

Помимо деления на основе уже знакомой нам «особой идеологии» существовало и деление на основе членства в организациях закрытого типа, т. е. в корпорациях «Фратернитас Арктика» и «Рутения», являвшихся реликтом довоенной поры.

Поскольку преподавание в Латвийском университете велось на государственном языке, а значительная часть русских им еще не владела, в самом начале 20-х годов по инициативе проф. Арабажина были созданы Русские университетские курсы, дававшие знания в объеме университетских. Преподавание вели А. В. Вейдеман, К. И. Арабажин, М. Я. Лазерсон и др. После смерти Арабажина курсы были преобразованы в Русский институт университетских знаний с факультетами: юридическим, историко-философским (4-летний курс) и коммерческо-экономическим (3-летний). Просуществовал Институт до

1938 г., когда был упразднен Ульманисом за диссонанс, вносимый в гармоническую картину Латышской Латвии.

Академическая среда в Риге была весьма представительна. Достаточно назвать имена только той профессуры, которая была связана с непосредственным преподаванием: проф. Б. Р. Брежго, проф. В. И. Буковский, прив.-доцент М. Д. Вайнтроб, докт. философии А. В. Вейдеман, докт. политэкономии Г. А. Енш, проф. Э. Э. Гартье, проф. В. Н. Клименко, проф. В. А. Коссинский, проф. А. Н. Круглевский, проф. Б. А. Попов, проф. Н. П. Попов, прив.-доцент В. В. Преображенский, проф. В. И. Синайский, доцент В. К. Трофимов, проф. И. Ф. Юпатов.

Но помимо них имелся еще ряд лиц с учеными званиями. Не удивительно, что с этой смешанной профессорско-студенческо-учительской средой охотно общались часто наезжавшие в Ригу Кизеветтер, Мякотин, Бердяев, Франк, Зеньковский, С. Гессен, Вышеславцев, Завадский, Алексеев, Степун и др.

...

Основным материалом для изучающего жизнь русского общества в Латвии является местная русская печать. Сначала бросается в глаза пестрота названий и направлений. Но потом оказывается, что картина геометрически проста: весь период существования независимой Латвии вместе с нею прошла и газета «Сегодня», являвшаяся русскоязычным экраном ее жизни. И в течение этих двадцати лет постоянно противостояли ей издания, претендующие быть «подлинно русскими» органами, по-настоящему защищающими интересы русских. Суть противостояния:

1) сплочение во имя национального духа, ради сохранения всего исторического прошлого, религии, идеалов, веры в неизбежное возвращение былой Руси;

2) сознание, что существовать предстоит именно в Латвии и что безопасность и благополучие каждого зависит от того, в какой мере он будет способствовать упрочению этой страны. И здесь сплочение возможно лишь на фундаменте русской культуры, русского языка, русского духовного багажа.

Газеты, отстаивающие непрременную «русскость», как правило, тяготели к идее Великой России, потому что от нее исходила эманация всего, чем надлежит поддерживать дух русского человека. При этом неизбежно прорезывалась нота «эмигрантского отчаяния» и желания посчи-

таться с неким виновником бедствия. Газеты «истинно русского духа» были обречены или на скорый провал или на некоторый период небогатого существования. Издатели как бы не учитывали, что в деревне неграмотными были свыше 50 % пятидесятилетних и 35 % — тридцатилетних и выше. Так что в массе своей они газеты не читали. А «истинно русского» городского читателя было недостаточно.

Приведем сведения длительности выхода местных русских газет.

- «Русская жизнь»: 25. 8. — 7. 11. 1920 г.
- «Свободная мысль»: 23. 11 — 3. 12. 1920.
- «Рижский курьер»: 25. 12. 1920. — 15. 5. 1924.
- «Маяк»: 26. 6. 1922. — 7. 6. 1923.
- «День»: 28. 8. — 30. 10. 1922.
- «Вечернее время»: 7. 3. 1924. — 9. 11. 1925.
- «Слово»: 11. 11. 1925. — 26. 5. 1929.
- «Народ»: 27. 4. — 2. 10. 1925.
- «Утро»: 14. 2. — 1. 3. 1925.
- «Новости»: 21. 3. — 30. 3. 1925.
- «Новый голос»: 16. 11. 1930. — 13. 3. 1932.
- «Наша газета»: 2. 4. 1930. — 20. 3. 1932.
- «Вечернее время»: 20. 7. — 30. 9. 1932.
- «Наше время»: 2. 10. — 3. 11. 1932.
- «Русский вестник»: 6. 11. — 20. 11. 1932.
- «Завтра»: 19. 10. 1933 — 13. 5. 1934.
- «Голос народа»: июль 1933 — 19. 10. 1935.
- «Газета для всех»: 19. 1. 1936. — 17. 3. 1940.

Иногда причисляют к «рижским» газетам и «Новый путь», газету, которую Л. Шкаренков назвал даже «сменовеховской», выходившей наряду с берлинской «Накануне». ²⁴ «Новый путь» был газетой советского посольства в Риге и существовал с 1 февраля 1921 г. до марта 1922, т. е. еще до основания «Накануне», выходившей с марта 1922 до 15 июня 1924 г. Именно прикрыв «Новый путь» в Риге, советские функционеры перебрались в Берлин.

И только газета «Сегодня» непотопляемо следовала по волнам лет, переживая взлеты и падения вместе с Латвией и разделив в конце концов ее судьбу.

Чем же объясняется ее живучесть? Тем, что она правильно оценила потенциального читателя и постаралась завоевать его вне зависимости от паспорта и вероиспове-

дания. Она сделала ставку на читателя — русского, латыша, еврея, немца, литовца, — который окончил русскую гимназию, служил в российской армии, ходил в русский театр, связан был с Россией многими нитями, который хотел знать, что происходит в Латвии, Литве и Эстонии, чем живет Европа, какие виды ему сулит будущее, как живут русские в рассеянии, что пишут русские писатели, живущие в Праге и Париже. Т. е., газета с самого начала отказалась от приверженности к той или иной эмигрантской позиции: «Русская газета в Латвии не могла быть газетой русских "на чужбине"». ²⁵

Подводя итоги десятилетнему существованию газеты, М. Ганфман писал: «Являясь органом, последовательно стоящим на позиции государственности, «Сегодня», как газета меньшинственная, как газета русская, особенно подробно освещала все, что относится к жизни меньшинств, особенно русского и еврейского. Мы по возможности старались объединять разные течения русской общественности, не учитывать распрей и раздоров и избегать полемики.

Единство русской культуры мы считаем основой единства русского народа. Духовная стихия — то общее, что связывает все ветви русского народа независимо от границ, всех русских по происхождению и по культуре. . . ». ²⁶

И эту позицию газеты хорошо понимал П. Б. Струве, человек активно «эмигрантский». Он понимал, что особенность существования в «лимитрофах» неизбежно должна была породить газету именно такого плана: «Я с особым удовлетворением приветствую работу вашей газеты <...> Подлинное служение русской национальной культуре и притом в двух направлениях, на два фронта: пред лицом большевицкой противокультурности и пред лицом элементов, уже переставших принадлежать России. И в том, и в другом направлении и отношении вопросы культуры безусловно преобладают над всеми возможными политическими вопросами. Я могу спокойно писать об этом, ибо меня нельзя заподозрить в политическом безразличии». ²⁷

Оппоненты «Сегодня» добивались одной цели: «Пodelившись на левых и правых, марксистов и республиканцев, эмигрантов и «рижан», русские в междоусобных войнах своих забыли, что у них по крайней мере до известного момента, имеются одни и те же цели, одни и

те же стремления, одинаково дорогие всем русским без исключения». ²⁸ Т. е. они хотели добиться невозможного — объединить республиканца и монархиста, державника и сепаратиста, православного и старообрядца, верующего и атеиста. А когда этого не получалось, то вина за это возлагалась на газету, печатающуюся на русском языке, но «абсолютно не-русскую, пытающуюся распилить русскую национальную идею». ²⁹

Но как бы то ни было, газета «Сегодня» создала платформу для общения — именно на почве культуры, предполагающей плюрализм мнений и убеждений. Декларировавшая свою позицию «вне эмигрантских схваток», газета предоставляла свои полосы для всех, кто что-то значил для русской истории и русской культуры. Здесь печатались Мережковский и Саша Черный, Струве и Ильин, Амфитеатров и Алданов, Изгоев и Тыркова-Вильямс, Пиленко и Ходасевич. Здесь встречались бывлая «Речь», «Биржевые ведомости», «Новое время» и «Киевская мысль». И это все при том, что газете все время приходилось втолковывать, что она не эмигрантский орган.

Вот письмо М. Мильруда к Лоло-Мунштейну от 11. 12. 1930 г.: «Вы упорно не хотите понять разницы между «Возрождением» и нами. «Возрождение» — эмигрантская газета, с которой официальная Франция абсолютно не считается. А у нас положение совсем другое. «Сегодня» газета латвийская, обязанная считаться с дипломатическими узусами и не имеющая права призывать к изгнанию дипломатических представителей, даже и советских». ³⁰

Явно или скрыто все оппоненты заявляли, что «Сегодня» газета не русская, а еврейская, вкладывая в это утверждение кому что было угодно.

Уже известно, что вне зависимости от желания «истинно русских» доминировать, заняв круговую оборону от «инородцев», сплошь и рядом русская культура в Зарубежье поддерживалась именно еврейскими кругами.

Вот и Зинаида Шаховская, описывая жизнь в Брюсселе, говорит: «Вечера устраивались почти всегда Клубом русских евреев — русская колония в Брюсселе, нечего греха таить, в общем была далека от литературы и круг ее интересов был ограничен». ³¹

Нечто подобное отмечалось и в Риге. В письме А. В. Амфитеатрову от 26. 3. 1935 г. М. Мильруд пишет: «А насчет Тель-Авива Вы, конечно, не правы. Если русская культу-

ра еще кое-как дышит на ладан, то только потому, что именно эта категория людей ее поддерживает. У нас есть здесь очень богатое русское купечество, но оно не читает русских книг, не ходит в русский театр, не интересуется русской музыкой и даже бойкотировало вечер, устроенный по случаю получения Буниным Нобелевской премии за то, что он печатается в «Современных записках» и «продался жидам». Если бы вы приехали сюда с лекцией, то, конечно, кроме Тель-авивцев никого на ней не встретили...».³²

Не совсем ясно представляющий местную обстановку Амфитеатров предлагал: «Если русское купечество ведет себя свински, то чего же вы, господа, молчите, не обличаете его? Пороли бы хорошенько по субботам, так были умнее, ходили бы как встрепанные. А то — за все годы, что я работаю в «Сегодня» не запомню ни одной статьи о русском рижском купечестве...».³³ Разумеется, что в случае такой «порки» газета окончательно была бы погребена под лавиной обвинений, что жида травят русского человека.

Как бы то ни было, все призывы создать «истинно русскую» газету оставались переходящими из года в год. «Русскости духа» было сколько угодно, но деловитости, как всегда, не хватало. Кроме того, все талантливое и квалифицированное почему-то уже собиралось в «еврейских» изданиях, а со второстепенными исполнителями, естественно, и результаты оказывались второстепенными.

...

К числу изданий, заслуживающих серьезного внимания, относится журнал «Закон и суд».

Русские юристы в Латвии составляли внушительную когорту: В. И. Буковский (1867—?). Доктор права. Сенатор.; Г. И. Гроссен (1882—1974). До револ. помощник обер-секретаря в уголовно-кассац. департаменте Сената; О. О. Грузенберг (1865—1940). Известн. адвокат, участв. в «деле Бейлиса». Сенатор.; П. М. Минц (1868—?). Проф. права; В. И. Синайский (1876—1949). Доктор права; И. С. Шабловский (?—1934). Присяж. повер.; П. Н. Якоби (1876—1941). Правовед. Бывш. нач. угол. отдел. минва юстиции. Некоторые из них были привлечены латвийским правительством к законодательному творчеству, другие внимательно изучали процесс рецепции «русского

права» (по аналогии с продолжавшим существовать после падения Римской империи римским правом).

Инициативная группа русских юристов в Риге решила учредить нечто вроде Парламента правовой мысли, и для этой цели в 1929 году было создано Русское юридическое общество, а на его базе — журнал «Закон и суд». Журнал делался, в основном, П. Н. Якоби и хотя был безгонорарным, в нем охотно печатались юристы русского рассеяния, так что по материалам журнала можно составить представление о законодательной деятельности Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Не было оставлено без внимания и советское право. И, разумеется, нашли место проблемы, связанные с положением меньшинственного населения и беженцев.

В связи с тем, что режим Ульманиса устранил все «архитектурные излишества» на фасаде Идеального Латышского Устроения, в 1938 г. журнал был закрыт.

Обзор истории его завершался так: «При смене действующего в СССР бесправного режима, с переходом к принципам правового государства, русский законодатель найдет ценный материал в этом единственном за рубежом хранилище русской юридической традиции, где собрались труды по разработке русского права в новообразованных соседних с Россией государствах. В этом, в перспективе истории, значение нашего журнала».³⁴

С середины 20-х до половины 30-х годов русская Рига развила бурную книгоиздательскую деятельность. Отсутствие каких бы то ни было запретов (Латвия подписала Бернскую конвенцию только в 1937 году) создало обстановку «Дикого Запада». Пиратски перепечатывалось все — и советские книги, и романы Уоллеса, и оккультная литература, и романы Бебутовой, и произведения покойных, и произведения живущих авторов. Попытки действовать через суд оказывались безрезультатными. Достаточно назвать тщетное старание издательства Ульштейн осудить за контрафакцию рижских издателей, перепечатавших Ремарка.

Все дело в том, что издатели (Гудков, Карачевцев, Шерешевский, Строк и др.) были не настоящие, а квази-издатели: комиссионеры, мелкие дельцы, бывшие военные, бойкие газетчики, — все, кто быстро вычислил, что расходы могут быть только на бумагу и набор, а расчеты с

автором, переводчиком, корректором — лишнее. Поэтому рижские издания той поры вошли в историю как весьма одиозная книжная продукция — на скверной бумаге, скверной печати и скверной грамотности.

За 20 лет в Латвии было выпущено примерно 1200 книг. В целом вся эта продукция представляет интерес главным образом для историка и культуролога.³⁵

Картину жизни русских в те годы можно лишь сложить из фрагментов, только книга Ирины Сабуровой «Корабли Старого города» (Мюнхен, 1973) является чем-то цельным. По сути дела, это единственная книга о русской Риге на протяжении всех двадцати межвоенных лет. Роман этот содержит изрядную долю вымысла, но вымысел нанесен на реальную основу. В кратком слове к читателю Сабурова пишет: «О русских балтийцах, очевидно, некому больше рассказать, а ведь мы представляли собой исторический и политический курьез: русское население, коренное и пришлое (после революции) <...> оказалось на Западе, в «эмиграции», хотя и продолжало жить на своей родине. Будучи не иностранной колонией, как все остальные эмигранты, а национальным меньшинством с полной культурной автономией <...>, мы стали «эмигрантами» фактически только в 1944 году».

Книга передает атмосферу и образ чувствований русских рижан, главным образом артистической, полубогемной среды. За героями угадываются прототипы: Пильский, Перфильев, Антипов, семейство Якоби и др. Совсем недавно к книге Сабуровой прибавились воспоминания о русской Риге Генриха Гроссена, написанные им в Швейцарии, и напечатанные в журнале «Даугава» (1994, N 1/4).

Едва русское меньшинство успело прижиться и освоиться, как начался период «Латвии для латышей», вновь заставивший ощутить, что русские все-таки «эмигранты», даже и с латвийским паспортом.

Карлис Ульманис, покончивший с «демократическими перехлестами», незамедлительно приступил к вытеснению из жизни общества русского языка. Для этого правительство принялось сокращать количество русских школ, принуждая отдавать детей в смешанные школы с латышским языком обучения. Предпочтение при трудоустройстве от-

давалось латышам. Введена была предварительная цензура на русские издания (впрочем, латышским тоже пришлось испытать это).³⁶ Социал-демократов и либералов вытеснили чиновники, а там, где начинается всевластие чиновников, дышать становится трудно.

Разумеется, это не способствовало духу содружества, а влекло русских в лагерь глухой оппозиции и сослужило латышским властям дурную услугу в период давления и одновременно заигрывания советских сил, направленных на раскол общества и ослабление его. Нужно было изведать на себе весь ужас, принесенный советскими танками, чтобы понять, насколько пагубно было слепое желание «насолить» латышам за пережитое: «ведь нам-то, русским, от соединения с Россией плохо не будет». Оказалось, что плохо в равной мере и русским и латышам, потому что мясорубка, работающая по классово-идеологическому принципу, не смотрит на национальность, а перемалывает равно всех.

С утверждением в 1940 г. советской власти ликвидированы были общества, организации, корпорации и кружки, служившие объединению русских. Ликвидированы были почти все не только видные, но даже просто заметные общественные и культурные деятели, учителя и журналисты, священнослужители, поэты и даже шахматисты. Те, что уцелели за полтора года советской и три года немецкой оккупации, уходили из Латвии летом 1944 года.

Место сметенных с доски занимали в первую очередь чины сыскных и карательных органов, люди просто занесенные сюда приливами и отливами военной волны и чиновники советской выделки, направленные для создания и укрепления новых административных структур.

На этом страница была перевернута, и вся 20-летняя история бытования русских в Латвии уложилась в одну главу.

Правда, теперь история России как бы перелистнула назад страницы, и замелькали уже знакомые по литературе ситуации и образы. Опять невольная эмигрантская ситуация в Прибалтике — при новой терминологии: вместо «коренных» и «наезжих» — «граждане» и «оккупанты». И что же, опять будет «стоп-кадр» с сохранением жизни на сей раз уже советского обывателя, брошенного, подобно Даниилу, «в львиный ров» капитализма? Как писал Дон-

Аминадо: «Ничего никто не знает, в смысле будущего — тьма. Но, конечно, все бывает при большой игре ума».

Однако, как бы ни поворачивался ход событий, спасительным будет не политическое противостояние, а прежде всего — стояние на культурной основе.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Преображенский В. Воля к жизни русского меньшинства в Латвии // Русские в Латвии. — 1934. — Сб. 2. — С. 3.
- 2 В качестве примера см.: Нео-Сильвестр Г. <Гроссен Генрих>. На буреломе. — Франкфурт-на-Майне, 1971.
- 3 См.: Пирожкова В. Потерянное поколение // Голос Зарубежья. — Мюнхен, 1988. — N 50.
- 4 Шаховская З. Отражения. — Париж, 1975. — С. 9 и 44.
- 5 Слово. — Рига, 1927. — N 541.
- 6 Новый голос. — Рига, 1931. — N 169.
- 7 Русский ежегодник на 1938 год. — С. 25.
- 8 Белкин Л. Русские газеты за пределами Сов. России. — Новый путь. — Рига, 1921. — N 31.
- 9 Ливен А. П. Поездка в Латгалию // Сегодня. — Рига, 1931. — N 198.
- 10 Слово. — 1926. — N 341.
- 11 Слово. — 1926. — N 46.
- 12 Оболенский В. Путевые наброски. Поездка по Прибалтике // Последние новости. — Париж, 1930. — N 3223.
- 13 Рижское слово. — 1918. — N 1.
- 14 Бордонос Н. Н. Русская общественность в Латвии. — Рига, 1922. — С. 7.
- 15 Там же. — С. 11.
- 16 Гусев Г., Пухляк О. Месть монархиста // СМ сегодня. — 1993. — 27 февр. — N 44/45.
- 17 Тихоницкий Е. Образование среди русских в Латвии // Русские в Латвии. — 1933. — Сб. 1. — С. 89.
- 18 Тихоницкий Е. Русская школа в Латвии // Родная школа. — Режица, 1930. — N 1. — С. 6.
- 19 Рогозинников П. О текущем моменте и о всяческом сближении // Родная школа. — Режица, 1931. — N 4. — С. 25.
- 20 Там же.

- 21 Тихоницкий Е. Основы национального воспитания // Родная школа. — Режица, 1931. — N 5.
- 22 Русский ежегодник на 1940 год. — С. 33.
- 23 Русский студент. — 1931. — С. 2—3.
- 24 Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. — М., 1981. — С. 93.
- 25 Ганфман М. Внутренняя сила русской культуры // Русские в Латвии. — 1933. — Сб. 1. — С. 53.
- 26 Сегодня. — 1929. — N 270.
- 27 Сегодня. — 1929. — N 270.
- 28 Наша задача // Наше Слово. — 1929. — N 1.
- 29 Лукьянов А. Случайно // Народ. — 1925. — N 11.
- 30 Исторический архив Латвии. Ф. 3283. Оп. 1. Ед. хр. 1. — Л. 248.
- 31 Шаховская З. Отражения. — Париж, 1975. — С. 64.
- 32 Истор. архив Латвии. Ф. 3283. Ед. хр. 16. — Л. 19.
- 33 Там же. — Ед. хр. 17. — Л. 14.
- 34 Закон и суд. — 1938. — N 8.
- 35 Почти вся она зафиксирована в нашем библиографическом справочнике «Русское печатное слово в Латвии. 1917—1944» (Стэнфорд). См. также книгу Пахмус Т. «Russian Literature in the Baltic between the World Wars» (Columbus (Ohio), 1988).
- 36 Об этом см. статью Левицкого Д. А. «О положении русских в независимой Латвии» (Новый журнал. — 1980. — N 141).

КУЛЬТУРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ЮГОСЛАВИИ 1920 – 1944 гг.

АЛЕКСЕЙ АРСЕНЬЕВ

Исследователь развития общества и хозяйства пореформенной России Карл Романович Кочаровский, проживавший в 30-е годы в Белграде, писал: «В духовном и общественном смысле зарубежников можно разделить на четыре основные группы. 1) Часть их доживает век без всяких духовных и общественных интересов. 2) Множество мелких группок кипит в политиканстве, думая куда-то «вести» Россию. 3) Есть несколько групп, более даровитых и культурных, с более серьезными установками, стремящихся «служить» России. 4) Некоторые, быть может многие, зарубежники носят в душе немало «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», но хранят их про себя, хотя и живут Россией и думают о ее будущем».¹

Постараемся сжато представить культурную деятельность русских людей, осевших в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. — Королевство Югославия).

В основном их составляли беженцы с юга России. Гонимые исходом и последствиями гражданской войны, они появляются на Балканах «волнами» — весной 1919 г., весной и поздней осенью с 1920 по 1923 гг. Последнюю, так называемую «Крымскую эвакуацию», составляли остатки Русской Армии генерала П. Н. Врангеля, и гражданские лица, в основном, семьи офицеров, административный аппарат южных городов, люди свободных профессий, несколько средних учебных заведений, сироты и военные инвалиды. Многие из них месяцами дожидались решения своей участи, сидя в лагерях около Константинополя, на Галлиполи или островах Эгейского моря. Отсталое и опустошенное в войнах молодое Королевство СХС приняло

до 44 тыс. беженцев² — гостеприимнее любой страны Европы. Заботу о них возложили на себя правительство и русско-сербские комитеты. В июне 1920 г. была создана Государственная комиссия по приему и устройству русских беженцев, которая, постепенно расширяя объем деятельности и увеличивая свое влияние, в 1924 г. переросла в Делегацию по защите интересов русской эмиграции в Королевстве СХС, стала своеобразным государственным министерством.

До Крымской эвакуации беженскую массу составляли почти исключительно интеллигенты: представители науки и практических знаний, государственные деятели, духовенство.³ Согласно ряду статистических данных, из прибывших в разное время беженцев около 75% имело среднее или высшее образование, на фоне неграмотного на 50% (в некоторых районах на 80%) населения приютившей их страны. Поэтому Королевство СХС, во главе с королем Александром Караджорджевичем, воспитанником Пажеского корпуса в Петербурге, не только оказало русским братское гостеприимство, но охотно устраивало их на государственную службу.

Русские в большой степени возместили утраты, понесенными восточными и южными (православными) районами страны во время балканских (1912—13 гг.) и мировой войн, в учителях, врачах, священниках. Северо-восточные, сельскохозяйственные районы (до осени 1918 г. — в составе Австро-венгерской монархии), были охвачены миграционными процессами — страну покидали венгры, немцы, чехи. К молодому Королевству СХС там относились с недоверием, настороженно. В начале 20-х гг. поселившиеся на этих территориях 8—10 тыс. русских сыграли значительную роль в поддержании хозяйства и пополнении административного аппарата на местах — в особенности в отсталых краях или селениях с неславянским и неправославным населением. В лице русских беженцев страна получила лояльные ей и квалифицированные кадры. Большинство из них знало иностранные языки, довольствовалось скромным жалованьем и жильем. По нашим исследованиям, между двумя мировыми войнами в этих районах (в нынешней Воеводине) в средних учебных заведениях преподавало около 300 русских. В селах многие оказались первыми учителями, врачами, аптекарями, ветеринарами.

Своеобразным явлением в деревнях и на хуторах были компактные селения казаков, прибывших в страну в составе расформированных частей русской армии, но продолжавшие состоять в подчинении своих атаманов. Кубанских, донских, терских и смешанных «казачьих станиц», состоявших из 10—50 мужчин, здесь обосновалось более тридцати. Занимались они кустарным производством и сельским хозяйством, женились на девушках или женщинах национальных меньшинств (венгерках, немках, словачках). Браки были устойчивыми, детей крестили в православную веру. Отдаленность от культурных центров и низкий уровень образования родителей обусловили ассимиляцию и денационализацию уже второго поколения.

В центральных, промышленных районах Боснии и Сербии инженеры и офицеры легко устроились на шахты, заводы, на стройки дорог и промышленных объектов. Ряд горных дорог проложен руками бойцов русской армии, казаками. Бывшие части Кавалерийской дивизии несли пограничную службу на неустойчивых рубежах страны.

Около 10 тыс. русских осело в Белграде. В нем и в десятке культурных центров страны концентрировалось ядро их интеллектуального потенциала. В благоприятных условиях оказались профессора, инженеры, врачи, топографы, педагоги, оперные певцы, артисты и художники театра. Благодаря им ряд югославских культурных организаций смог возобновить свою работу. На качественно более высокий уровень было поставлено университетское образование, возникли научные институты, были созданы оперные и балетные труппы в Белграде и Новом Саду, факультеты в Суботице и Скопле. Русские содействовали стремительному строительству и европеизации патриархального, одноэтажного Белграда (в 1920 г. — до 200 тыс. жителей), упорядочили законодательство молодой страны, способствовали духовному и хозяйственному возрождению православных монастырей.

Культурная жизнь провинции протекала под сильным влиянием русского исполнительского искусства. Русские артисты, музыканты и художники поощряли местные таланты, были их первыми наставниками и оказали влияние на воспитание художественного вкуса публики. В военную и гражданскую авиацию были приняты русские летчики, инструкторы и конструкторы. В сельскохозяйственных исследовательских институтах и на полевых опытных станциях работали русские — пионеры югославской гене-

тики, агрокультуры, почвоведения. Они много дали своей «второй родине» и в области медицины, геодезии, архитектуры, киноискусства, балета, исторических исследований, фольклористики, издательской деятельности, а также в археологии, шахматах, переводах художественной и научной литературы.

Вклад русской эмиграции в развитие науки, экономики и культуры Югославии после Второй мировой войны (вплоть до недавнего времени) систематически замалчивался и пренебрегался. Объективные исследования сегодня затруднены из-за плохой сохранности архивных и печатных данных, а также недостаточно изученной культурной истории страны, в особенности ее провинции. Подавляющее число русской интеллигенции покинуло Югославию в 1944–1955 гг. или потерпело неприятности, связанные с неустойчивыми югославо-советскими правительственными и партийными отношениями. К 1955 г. русских в Югославии осталось не более 10-ти тысяч — представителей трех поколений.

Однако русская эмиграция в Югославии оставила заметный след и в плане собственной жизни диаспоры, протекавшей в «Русском Белграде» и в примерно трехстах «русских колониях». Самыми крупными они были в Загребе, Новом Саду, Панчево, Земуне, Великом Бечкереке, Белой Церкви, Сараево, Мостаре, Нише, Крагуеваце. В Сремских Карловцах были расквартированы Штаб главнокомандующего русской армией во главе с ген. П. Врангелем и Архиерейский синод Русской православной заграничной церкви, предводимый митрополитом Антонием (Храповицким). В Великой Кикинде, Новом Бечее и Белой Церкви обосновались три девичьих института; в Белой Церкви — Николаевское кавалерийское училище, Крымский кадетский корпус и Приют русских военных инвалидов; в Сараево и Билече — Русский и Донской императора Александра III кадетские корпуса. По всей стране в 1923/24 учебном году действовало 24 русских учебных заведения, в которых обучалось около трех тысяч детей и подростков.⁴

В колониях сложилась система местного самоуправления — возникли русские церковные приходы, библиотеки и детские сады, артистические кружки, офицерские собрания и филиалы многочисленных русских политических, военных, спортивных и культурных организаций,

центры которых находились в Белграде. По одному подсчету, в Югославии была зарегистрирована ровно 1001 русская эмигрантская организация. Как и число проживавших в стране граждан России, число организаций постоянно изменялось — они угасали или объединялись. Многие зависели и от эволюции беженцев в эмигрантов, осознавших, что не близок возврат на родину.

В первые годы неоднородную массу русских волновали те же вопросы: судьбы России и оставшихся там близких, розыски родственников и друзей, устройство на новом месте. Постепенно идейные единомышленники, земляки, люди тех же профессий объединяются, вступают в кружки и организации, нередко погрязая в политических распрях. Насыщенная общественная и национально-культурная жизнь облегчала и наполняла смыслом жизнь интеллигенции, в первую очередь, проживавшей в провинции.

Приводим избранный перечень русских объединений, уже по одним названиям свидетельствующий о многогранной деятельности русской эмиграции в Югославии.

Гуманитарные, благотворительные и социальные организации

Всероссийское общество помощи жертвам гражданской войны и террора.

Всероссийский союз городов — ВСГ.

Всероссийский земский союз — ВЗС.

Комитет помощи русским воинам и их семьям.

Русское благотворительное общество в Белграде.

Русское общество Красного креста — РОКК.

Здравница баронессы Врангель в Топчидере под Белградом.

Амбулатории РОКК-а в Белграде, Скопле, Враньска-Бане, Нише, Земуне.

Русский хирургический госпиталь в Панчево.

Туберкулезная санатория в Вурберге (Словения).

Приют для инвалидов в Игало Бока-Которская.

Приют русских военных инвалидов в Белой Церкви.

Старческие дома в Кикинде, Панчево, Новом Саду, Белой Церкви.

Дамский комитет памяти вел. кн. Татьяны Николаевны.

Союз русских инвалидов в Югославии.

Ссудо-сберегательное общество русских чиновников и торгово-промышленников.

Церковные и духовно-просветительные организации

- Собор Русской православной церкви за границей.
 Архиерейский Синод РПЦЗ в Сремских Карловцах.
 Общество попечения о духовных нуждах русских православных в Югославии.
 Мариинское церковное сестричество в Белграде.
 Лесненский женский монастырь в мон. Хопово.
 Русские церковные приходы в Белграде, Земуне, Панчево, Новом Саду, Сараево, Белой Церкви, Кикинде, Сремских Карловцах.
 Церкви при русских гимназиях, девичьих институтах, кадетских корпусах в ряде городов — Суботице, Сомборе, Великом Бечкереке, Цриквенице, Загребе.
 Религиозно-философские братства: Св. Серафима Саровского, Св. Владимира, о. Иоанна Кронштадтского, Св. Креста.
 Православно-миссионерское книгоиздательство в Белой Церкви.
 Русская православная миссия в Словении.
 Кружок по изучению эзотерических наук Востока в Белграде.
 Русское теософское общество.

Военные организации

- Совет объединенных российских офицерских обществ в Королевстве СХС.
 Общество галлиполийцев (17 отделов).
 Союз участников Первого кубанского (ледяного) похода.
 Объединение офицеров Генерального штаба.
 Общество кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия.
 Русский национальный союз участников войны — РНСУВ.
 Четвертый отдел Российского обще-воинского союза — РОВС.
 «Русское народное ополчение» — РНО (5 дружин).
 Лига русских офицеров и солдат запаса за границей.
 Корпус Императорской Армии и Флота — КИАФ (6 филиалов).
 «Братство русской правды» — БРП (подпольная организация).
 Кружок военного самообразования.
 Общество ревнителей военных знаний — ОРВЗ.
 Русские военно-научные курсы ген. Н. Н. Головина (13 филиалов).
 Русская охранная группа («Русский корпус») в Сербии.
 Около сотни объединений: гвардейских Преображенского, Кирасирского, Драгунского, гусарских, уланских полков, военных академий, училищ и кадетских корпусов, военных юристов, артиллеристов, топографов, саперов, офицеров военно-воздушного флота, радио-телеграфистов, интендантских служб, пехоты, кавалерии, гардемаринов. . .

Политические и общественные организации

Парламентская группа.

Объединение городских гласных и председателей городских дум.

Объединение гласных земских органов самоуправления.

Окружной совет Объединения монархических организаций в Югославии (представительство Высшего монархического совета в Мюнхене-Париже).

Русский комитет (объединял около 80-ти общественных, научных, профессиональных и проч. организаций монархической ориентации).

Эмигрантский комитет (аполитическое, внепартийное объединение).

«Союз восстановления Родины» (монархисты-парламентарии, позднее присоединились к монархистам-легитимистам).

«Фонд спасения Родины» — ФСР (монархисты-конституционисты).

«Русское согласие» (монархисты-легитимисты).

Русский кружок в Загребе (евразийская организация).

«Молодая Россия».

Союз русской национальной молодежи — СРНМ (9 отделов и ряд представительств в провинции).

Союз младороссов (Младоросская партия).

Национальный союз нового поколения — НСНП, позднее — Национально-трудовой союз нового поколения — НТСНП.

«Лига Обера» (югославский филиал с отделами).

Русское трудовое христианское движение — РТХД (42 филиала).

Новосадское русское правление верноподданных.

Русский национальный монархический союз, Новый Сад.

Русское центральное объединение (центристы-монархисты парламентского типа; более 10-ти отделов).

Комитет монархического единения.

Русский национальный комитет (либералы, кадеты правого уклона).

Объединение прогрессивной и демократической русской эмиграции.

«Крестьянская Россия» (Трудовая крестьянская партия).

Республиканско-демократическое объединение — РДО.

Земгор (белградское представительство пражской центральной партии эсеров).

Железный союз долга и чести (фашистского уклона).

Национальное общество русских женщин.

Общество распространения русской национальной и патриотической литературы.

Казачьи организации

Объединенный совет Дона, Кубани и Терека — ОСДКТ.
Представительства: Донского, Кубанского и Терского казачьих войск.
Общеказачий сельско-хозяйственный союз.
Общеказачья трудовая организация.
Бюро труда «Казак».
Общество «Вольная Кубань».
Делегация по охране кубанских регалий.
Вольно-казачий округ в Югославии.
Белградская общеказачья студенческая станица.
Рабоче-крестьянская казачья партия в Скопле.
Калмыцкая казачья колония в Белграде.
Союз свободных казачек им. Галины Булавиной (около 60-ти казачих станиц, хуторов и куреней).

Студенческие организации

Союз русских студентов Белградского университета (касса взаимопомощи, амбулатория, библиотеки, кружки, отделы по факультетам).
Союз русских студентов-галлиполищцев в Белграде.
Союз русских студентов — в Загребе, Любляне, Суботице, Скопле.
Загребский студенческий казачий хутор.
Кружок студентов-богословов им. Св. Анастасия и св. Иоанна Богослова.

Спортивные организации

Краевой союз Русского сокольства в Королевстве Югославии (22 отдела).
Русский спортивный клуб в Белграде (много секций).
Русский яхт-клуб им. Петра Великого в Белграде.
Русское филателистическое общество.
Организация российских юных разведчиков — ОРЮР.
Национальная организация русских скаутов — НОРС.
Общество рыболовов-любителей в Белграде.

Профессиональные организации

Объединение чиновников Министерства внутренних дел России.
Союз русских педагогов в Югославии.
Русско-сербское общество медиков.
Союз русских писателей и журналистов.

Союз русских инженеров.

Общество русских агрономов, лесников и ветеринаров.

Общества и объединения: сенаторов, правоведов, лицейстов, пажей, помещиков, торгово-промышленников, пчеловодов, таксистов, артистов эстрады и др.

Научные организации

Общество русских ученых в Королевстве СХС.

Русская академическая группа.

Русское археологическое общество в Югославии.

Русский научный институт в Белграде.

Институт изучения России.

Институт изучения России и Югославии (при Земгоре).

Кружок изучения России и Курсы обобщающего научного изучения России.

Донская историческая комиссия.

Высшие научные курсы современной полицейской техники.

Русский военно-научный институт в Белграде.

Институт им. Н. П. Кондакова (в 1939 г. из Праги переехал в Белград).

Культурные организации

Общество славянской взаимности.

Русский народный университет в Белграде.

Русская матица в Любляне (с филиалами).

«День русской культуры» — Объединение русских организаций.

Союз ревнителей чистоты русского языка.

Русская публичная библиотека в Белграде.

Русский дом им. Императора Николая II в Белграде.

Юбилейный комитет к празднованию 950-летия Крещения Руси.

Комитет русской культуры (Руски културни одбор).

Юбилейный Пушкинский комитет.

Литературные и художественные общества и кружки

Литературно-художественное общество в Белграде.

Лига искусств.

Новосадское русское литературно-музыкальное общество.

Общество русских дилетантов в Новом Саду.

Белградское русское драматическое общество.

Общество русских художников в Югославии.

Русское объединение художников «Круг».

Русское музыкальное общество в Белграде.

Русский хор им. Глинки в Белграде.

Русский хор Придворной капеллы.

Театральная студия А. Черепова в Белграде.

Русская студия искусств (при Земгоре).

Литературно-издательское общество «Будущая Россия» в Загребе.

Русская драматическая студия в Загребе.

Русские клубы и хоры в десятках колониях.

Белградские литературные и поэтические кружки: «Гамаюн», «Книжный кружок», «Новый Арзамас», «Кружок молодых поэтов», «Беседа», «Поэзия и проза», «Литературная среда».

Русская эмиграция в Югославии развернула богатую издательскую деятельность. В Белграде выходили газеты: «Русская газета», «Новое время», «Возрождение», «Старое время», «Царский вестник», «Русский голос», «Русское дело», «Русский народный вестник», «Новый путь» и др. Включая провинциальную периодическую печать, выходило более 220 наименований газет и журналов, опубликовано около 1200 книг и журналов.⁵ «Издательская комиссия» при Комитете русской культуры выпустила в свет 43 книги серии «Русская библиотека» — литературных сочинений И. Бунина, Б. Зайцева, А. Куприна, Д. Мережковского, Е. Чирикова, К. Бальмонта, А. Ремизова, Н. Тэффи, И. Шмелева, И. Северянина, М. Алданова и других, а также 12 книжек «Детской библиотеки» и «Библиотеки для юношества».

16–23 сентября 1928 г. в столице Королевства СХС состоялся Четвертый съезд русских академических организаций за границей, при участии видных ученых, а 25–30 сентября 1928 г. — Съезд русских писателей и журналистов за рубежом, на который съехалось более сотни делегатов и гостей из многих стран. Весной 1930 г. в Белграде прошла Большая выставка русского искусства, явившаяся событием в культурной жизни столицы. Было выставлено свыше 400 работ живописцев и скульпторов. Наряду с работами И. Репина, А. Бенуа, И. Билибина, Н. Гончаровой, Б. Григорьева, М. Добужинского, К. Коровина, М. Ларионова, Н. Рериха, К. Сомова, были представлены произведения 38 русских художников, проживавших в Югославии.⁶ В Белграде состоялись персональные выставки Ф. Малявина и Н. Богданова-Бельского. Югославию посещали Анна Павлова, Тамара Карсавина, Федор

Шаяпин, Сергей Прокофьев, Иван Бунин, Борис Зайцев, Аркадий Аверченко, Николай Бердяев, Игорь Сикорский. На Балканы шли письма от Вячеслава Иванова, Владислава Ходасевича, Николая Евреинова. . .

Культурная история Югославии межвоенного периода не знает значительных акций по сближению местной и русской интеллигенции, какие имелись в Праге и Париже. Чаще всего контакты осуществлялись на уровне профессиональной работы — при Сербской академии наук, учебных заведениях, театрах, издательствах и проч. На литературном поприще таких попыток сближения было несколько: в 1923 г. вышел в свет на русском и сербском языке первый (единственный) номер литературно-художественного журнала «Медуза», как «орган пропаганды русского искусства в Югославии и ознакомления с сербским творчеством русских». В нем были помещены заметки о современных поэтах Югославии, переводы стихов Ахматовой, Блока, Ремизова и репродукции картин Л. Браиловского. Русская студия искусств при Земгоре в 1927 г. выпустила общественно-литературный сборник «Ступени», в котором приняли участие русские и югославские поэты и литераторы.

Уникальным изданием во всем Русском Зарубежье можно считать «Руски архив», двухмесячный журнал политики, культуры и хозяйства России, выпускаемый в 1928—1937 гг. на сербском языке Научным отделением белградского Земгора. Основной его целью было объективное, без эмигрантского озлобления и пристрастий, ознакомление югославской общественности с положением и изменениями в Советской России, а также с новинками литературы и искусства русской эмиграции. Сотрудниками журнала были и русские из Праги, Парижа (Марк Слоним, Марина Цветаева, Алексей Ремизов), представители сербской интеллигенции.

Писатель Ирина Ефимовна Кунина-Александр в 30-е гг. собирала в Загребе хорватскую интеллигенцию левой ориентации, писателей и художников круга «Земля», оказывала им материальную помощь. В белградском культурно-литературном журнале «Бизанта», а также в лучших сербских журналах: «Мисао», «Српски книжевни гласник», «Летопис Матице српске» и др. сотрудничали русские. В Белграде было устроено несколько выставок русских и югославских художников и архитекторов, а в 1937 г. во

многих городах совместными силами торжественно и широко было отмечено 100-летие со дня кончины Пушкина.

Русские театральные группы в Белграде

Эмиграция привезла с собой за границу не только достижения русской культуры, но и традиции — праздники, обычаи, культ хорового пения и сценического искусства. Объединяясь около русской церкви, учебных заведений, русских столовых, библиотек и артистических кружков, многие колонии устраивают и любительские драматические труппы — в Дубровнике, Герцегнови, Суботице, Нише, Новом Саду, Загребе.

Первые русские спектакли в Белграде давались в нач. 20-х гг. в постановке Юрия Львовича Ракитина, бывшего актера МХТ-а, режиссера Александринского театра в Петербурге, с 1920 г. режиссера белградского Национального театра. Труппа кружка «Ассамблея» формировалась стихийно из профессиональных актеров и любителей. В Белграде существовали и русские кружки актера и певца Шумского, дилетанта Манглера.

В 1925 г. возникло Белградское русское драматическое общество, объединившее более 80-ти артистов сцены. Спектакли этой труппы отличались серьезной подготовкой и энтузиазмом всех участников. Ставили их опытные режиссеры А. А. Верещагин, А. Д. Сибиряков, Ю. Л. Ракитин, Ф. В. Павловский. Репертуар составляли произведения и сербских, и эмигрантских, и советских авторов. Одновременно Драматическая студия Союза русских писателей и журналистов давала спектакли, преимущественно русского классического репертуара (постановки Ю. Л. Ракитина, А. Ф. Заярного). При эсеровском Земгоре существовало Студенческое артистическое русское театральное общество (САРТО).

Вскоре после переезда Феофана Павловского из Белграда в Литовский оперный театр в Ковно (в 1928 г.), Белградское русское драматическое общество распалось на Русскую студию драматического искусства (режиссер В. П. Загороднюк) и Театр русской драмы (актрисы Ю. В. Шацкой-Ракитиной). Последний просуществовал дольше и ставил пьесы русского, современного мирового и советского репертуара.

В начале 30-х гг. возникли Театральная труппа «Комедия» (режиссер Я. О. Шувалов) и Театр миниатюр «Ягодка» (основал ее молодой художник театра В. И. Жедринский, под влиянием успешных гастролей русского театра «Синяя птица» из Берлина).

С большим успехом в 1929 г. прошли выступления актера Александра Черепова, прибывшего из Риги и обосновавшегося в Белграде. Очень скоро ему удалось создать новую театральную труппу, при материальной поддержке Комитета русской культуры открыть Школу-студию драматического и киноискусства, а в 1933 г., вместе с известным в России антрепренером И. Э. Дуван-Торцовым — Русский общедоступный театр, в только построенном Русском доме им. Императора Николая II, с великолепным концертно-театральным залом. Труппу этого театра, самого известного в «Русском Белграде», составляли опытные актеры и любители. В нем гастролеровали известные артисты и режиссеры: М. Ведринская, О. Гзовская, М. Крыжановская, Е. Полевицкая, В. Греч, П. Павлов, Н. Массалиинов.

С 1937 г. в зале Русского дома шли и спектакли театральной труппы Союза русских артистов в Белграде (созданной Т. Н. Яблоковой). Иногда актеры разных театральных группировок объединялись и готовили один спектакль. На сцене Русского дома спектакли шли почти еженедельно. Исполнялись и пьесы белградских авторов — В. В. Хомицкого, Н. З. Рыбинского, Ю. Ф. Офросимова, А. Н. Жернаковой-Николаевой, а также парижан — Н. Н. Евреинова, И. Д. Сургучева, Н. Н. Берберовой.

В феврале 1941 г. возник Злободневный юмористический театр «Белая ворона». Вскоре немецкое бомбардирование и оккупация Белграда приостановили всю общественную жизнь столицы, но уже в мае 1941 г. популярный актер, любимец русских театралов, Олег Миклашевский создал Общество русских сценических деятелей в Сербии, которое, вопреки трудностям военного времени, непрерывно давало спектакли в переполненном зале Русского дома — вплоть до 3 сентября 1944 г., уже во время союзнических бомбардировок и перед самым наступлением на Белград Третьего Украинского фронта Красной Армии с югославскими партизанами.

Союз русских писателей и журналистов в Югославии

Возникновение этого союза в Белграде и вся его деятельность протекали в условиях менее благоприятных, чем в Берлине, Париже и Праге, где было гораздо больше журналистов и литературных сил. Однако вокруг него стали группироваться русские интеллигенты — люди пера, науки и искусства.

Инициатива объединения принадлежит журналистам А. И. Ксюнину и Е. А. Жукову. Белградский союз был основан 1 октября 1925 г. На первом собрании почетными членами были избраны Е. В. Аничков, И. А. Бунин и Вас. И. Немирович-Данченко.⁷ Своей главнейшей задачей союз считал работу против коммунистической пропаганды и идейную работу за освобождение России. Он содействовал распространению в обществе и печати документов, которые вскрывали сущность большевизма в России: письма писателей из Советской России, резолюции протеста-митинга в Париже 1929 г. против казней без суда в СССР, открытого письма графини Александры Львовны Толстой «Не могу молчать» и др.

Союз принимал участие в деле издания и распространения журналов и газет. При нем было книжное предствительство, связанное с виднейшими русскими зарубежными издательствами. Он начал выпускать серию книг на сербском языке «Словенски класици». По материальным причинам удалось опубликовать лишь два тома произведений Н. С. Лескова и М. Е. Салтыкова-Щедрина. На русском языке вышел сборник рассказов В. Н. Челищева и ценная «Антология новой югославянской лирики» — подвиг молодых поэтов белградского круга: Ильи Голенищева-Кутузова, Екатерины Таубер и Алексея Дуракова. В 1926 г. союз выпустил пять номеров литературно-общественного журнала «Призыв», в котором сотрудничали видные зарубежные писатели, а в 1926—1927 гг. выходила еженедельная газета «Россия» (закрыта тоже из-за нехватки средств).

Белградский союз располагал библиотекой, в которую поступил весь фонд русской библиотеки в Карлсруэ, основанной Тургеневым. Особый интерес представлял отдел газетных вырезок — тетрадей по различным вопросам, со специальным каталогом.

Профессиональная деятельность союза имела своей задачей:

— объединение русских писателей и журналистов, оказание им моральной и материальной поддержки;

— защиту авторских прав;

— чтение произведений авторами с последующим обменом мнениями;

— предоставление возможности выступать публично на общественно-политические темы в «Устной газете».

Благодаря инициативе и подготовительной работе Союза, в 1928 г. в Белграде состоялся Съезд русских писателей и журналистов за рубежом, закончившийся организацией Зарубежного союза с Советом в Париже и Правлением в Белграде. Белградскому союзу удалось добиться официального признания полномочий на защиту авторских прав русских писателей зарубежья.

Постепенно он сделался культурным центром, вокруг которого объединились и русские профессора, артисты, художники. Через членство в союзе прошло свыше 200 человек. В своих помещениях союз принял Кружок молодых поэтов, кружок «Беседа», драматическую студию, редакцию журнала «Бизанта», кружок «Поэзия и проза» и Союз ревнителей чистоты русского языка (как автономного филиала союза). Он организовал три литературных конкурса, выставки художников А. А. Вербицкого и В. Я. Предаевича (копии фресок древних сербских монастырей и «Старый и новый Белград»), ряд любительских спектаклей, концертов русской музыки, литературно-художественных и балетных вечеров, балов.

Чтение авторами своих произведений проводилось на «интимных вечерах», а публичные лекции, собрания и «Устная газета» создали ему обширную аудиторию. До 1937 г. всего было устроено 68 публичных собраний, на которых выступили осевшие в Югославии русские (в том числе В. В. Шульгин, П. Б. Струве, М. П. Чубинский, Е. В. Аничков, С. В. Штейн), или приезжие — А. А. Кизеветтер, В. А. Мякотин, Д. С. Мережковский, А. И. Куприн, И. А. Ильин и многие другие.

Каждый номер «Устной газеты» готовил «выпускающий», в задачу которого входило предварительное пояснение прочитанных статей и председательствование на собрании. За десять лет состоялось 77 «интимных собраний»

и было выпущено 42 номера «Устной газеты». Приводим содержание одного из номеров:

№ 8 от 19 января 1932 г.

С. В. Дмитриевский. «Глаза и уши красного Кремля». Н. Н. «Же ски парту» (русский номер о советах). Л. П. Терешкевич. «Россия и ее новое поколение». А. Ю. Вегнер. «Почему принимаются Европой советские заказы». Н. И. Жухин. «Правая рука Сталина». С. В. Штейн. «Мои встречи с Блоком». Т. Н. Яблокова. Рассказ. Е. М. Гауг. Декламация. С. С. Страхов. Татьянин день (стихотворение). Последние новости советские и иностранные. Объявления. — Выпускающий Н. З. Рыбинский.

За 16 лет своего существования, до немецкой бомбардировки Белграда 6 апреля 1941 г., не все в союзе протекало гармонично, не обходилось без политических разногласий и интриг, однако многим русским он предоставлял объективную, своевременную, исчерпывающую информацию и давал возможность принять участие в общественной жизни, сохранить себя русским.

Союз ревнителей чистоты русского языка

Как своеобразное культурное явление в Русском Зарубежье этот союз возник в 1928 г. в Белграде. К началу 1937 г. в нем было 110 членов. Его бессменным председателем состоял Евгений Александрович Елачич.

В год празднования 100-летия со дня кончины Пушкина союз издал свою «Памятку» — «скромную попытку собрать воедино наиболее часто встречающиеся искажения нашей разговорной речи». ⁸ В разные годы он выпускал «Воззвания», в которых отмечалось: «Одним из первых условий сохранения своей национальности является родной язык. Человек, плохо говорящий по русски, едва ли русский; ребенок, думающий не по русски, вероятно, уже утерян для русской культуры».

Основной целью союза было всемерное содействие охране чистоты русского языка. В Памятке приведены многочисленные примеры его порчи на чужбине:

Засорение иностранными словами: *абстрактный* — отвлеченный; *дегенерация* — вырождение; *претендовать* — притязать; *позитивный* — положительный.

Неправильные выражения: «Займите мне» — вместо: «Дайте мне займы»; «Все ж таки» — Можно говорить:

или «все же», или «все-таки»; ошибочное нововведение: «проработать вопрос».

Опошление языка: «Мне ужасно хочется спать».

Употребление слов в неправильном значении: «Я обязательно приду» — вместо «Я непременно приду».

Ошибки от смешения с родственным сербским языком

Об ударениях. Русские дети за рубежом часто произносят, читая по книге: «Мальчик побежал по по́лю», тогда как в России грамотные прочтут, а неграмотные уверенно скажут: «бежал по́ полю» (ударение на предлоге). Дух языка вряд ли возможно привить книжным путем.

Для достижения поставленных целей союз устраивал встречи и собеседования, содействовал углублению знания русского языка и лучших образцов художественной литературы, призывал безотлагательно приняться за работу по сохранению родного языка. Поэтесса Лидия Алексеева (Девель), состоявшая одно время секретарем союза, вспоминала: «Мы ядовито ловили друг друга на употреблении ненужных иностранных слов и неправильных оборотах. Евгений Александрович был высок, худ, педантичен, вегетарианец, и держал нас всех в повиновении».⁹ В богатом архиве Союза ревнителей чистоты русского языка хранились газетные вырезки с примерами засорения языка — ценный материал для исследований.¹⁰

Русский научный институт в Белграде

Событие в истории русской эмиграции представлял Четвертый съезд русских академических организаций за границей, состоявшийся в 1928 г. в Белграде. В отличие от предыдущих трех, проведенных в Праге (преимущественно организационных), белградский союз имел научный характер. Под председательством проф. В. Г. Коренчевского, члена Листерова института в Лондоне, на съезде было прочитано 104 доклада (из Югославии — 58), принято ряд резолюций и учрежден постоянный центр развития свободной русской науки — Русский научный институт в Белграде, открытие которого состоялось 16 сентября, в день открытия съезда. В связи с основанием института, в Белград переехал академик П. Б. Струве, экономист и социолог с мировым именем.

С 1920 г. в Белграде уже существовало Общество русских ученых, а с 1921 г. — Русская академическая группа (как более либеральная, выделившаяся из этого общества). Около 70 профессоров российских университетов, занявших кафедры в трех университетах страны, занимались не только профессиональной деятельностью и наукой, но и образованием русских людей на чужбине — преподавали в русских гимназиях, читали лекции в Русском народном университете в Белграде или по приглашению русских культурных кружков ездили в провинцию. Они составляли и ядро Русского археологического общества, Союза русских инженеров, публиковали свои труды в русских периодических изданиях, принимали участие в международных научных конференциях.

До основания Русского научного института в Белграде подобные институты возникли в Праге и Берлине, однако, благодаря материальной поддержке югославского правительства, новый институт вскоре стал ведущим во всей эмиграции. Число действительных членов (лиц, занимавших прежде кафедры в высших учебных заведениях России или профессоров югославских университетов) было достаточно устойчивым (40—60), а число члено-сотрудников постоянно росло (в 1929 г. — 12; в 1938 г. — 48). В работе института принимали участие и югославские ученые. В Белград приезжали известные ученые: из Праги — И. И. Лаппо, И. И. Лапшин, Н. О. Лосский, А. А. Кизеветтер, Е. А. Ляцкий, А. В. Флоровский; из Парижа — С. И. Метальников, В. В. Зеньковский, Н. Н. Головин; из Лондона — Д. П. Рябушинский, М. А. Иностранцев; из Берлина — С. Л. Франк, И. А. Ильин; из Рима — Е. Ф. Шмурло; из США — Н. В. Ипатьев, И. И. Сикорский. Институт устраивал «Беседы» и выступления писателей Е. Чирикова, З. Гиппиус, Д. Мережковского, поэтов К. Бальмонта и И. Северянина, шахматиста А. А. Алехина.

Согласно уставу, главными органами института были Совет (все члены) и исполнительный орган — Правление. Председателями института, до его вынужденного закрытия в 1941 г., состояли: бывший ректор Киевского университета Е. В. Спекторский, академик Ф. В. Тарановский, бывший профессор Новороссийского университета А. П. Доброклонский и бывший профессор Донского университета А. И. Игнатовский. Институт состоял из специальных отделений — гуманитарных (философия, язык и литература, социальные и исторические науки,

с военным отделом), естественных и математических наук. Корифеями науки в Югославии являлись: математики Ант. Д. Билимович, Н. Н. Салтыков, В. Х. Даватц, механики и машиностроители В. З. Жардецкий, Г. Н. Пио-Ульский, В. В. Фармаковский, медики А. И. Игнатовский, С. К. Рамзин, Вс. Н. Новиков, С. Н. Салтыков, бальнеолог А. И. Щербаков, бактериолог Д. Ф. Конев, минералоги Н. А. Пушин, А. И. Косицкий, гидролог С. П. Максимов, агрономы Т. В. Локоть, И. П. Марков, лесовод А. И. Шеншин, зоологи В. Э. Мартино, Ю. Н. Вагнер, геодезисты И. С. Свищев, Д. В. Фрост, богословы, историки и юристы — А. П. Доброклонский, С. В. Троицкий, Е. В. Спекторский, М. П. Чубинский, Ф. В. Тарановский, А. В. Соловьев, византолог Г. А. Острогорский, В. А. Мошин, филологи и литературоведы С. М. Кульбакин, Е. В. Аничков, А. Л. Погодин.

Работа института проявлялась в устройстве научных заседаний, курсов и семинаров, в чтении докладов (с прениями) и публичных лекций, в издании научных трудов, оказании помощи молодым ученым (стипендии и введение в методику научной работы), в обмене изданиями со всеми славянскими академиями и важнейшими западноевропейскими университетами. При институте имелась собственная научная библиотека.

За первые десять лет своего существования им было организовано 23 конференции, подготовлено около 670 сообщений и докладов.¹¹ Особое внимание институт уделял изучению всех аспектов прошлого и настоящего Югославии, собиранию данных о деятельности русских ученых за границей и публикации их научных работ на русском языке.

Издания Русского научного института в Белграде:

1) Труды Четвертого съезда русских академических организаций за границей. — Белград, 1929. — Ч. 1: Гуманитарные науки; Ч. 2: Естественные науки. 479+390 с. (79 докладов).

2) Записки Русского научного института в Белграде. — Белград, 1931—1941. — Вып. 1—17. (180 трудов).

3) Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. — Белград, 1931—1941. — Ч. I. — Вып. 1 (1920—1930); Вып. 2 (1930—1940). 394+384 с. (Около 14-ти тысяч библиографических единиц! Вторая часть

второго выпуска не вышла из печати и погибла при оккупации Белграда).

Русское археологическое общество в Югославии

Общество зародилось летом 1921 г. в Белграде из небольшого научного кружка, который составляли М. А. Георгиевский, С. Р. Минцлов, Н. В. Мятлев, Е. А. Пасыпкин, А. Л. Погодин, С. Н. Смирнов, А. В. Соловьев и В. Н. Халаев. Начав со скромных экскурсий, изучения фресок в монастырях Сербии и Македонии, кружок, во главе с председателем проф. А. Л. Погодиным, быстро окреп и превратился в общество, насчитывавшее свыше 70 членов.

До своего роспуска, в апреле 1941 г., Русское археологическое общество находилось под высоким покровительством княгини Елены Петровны (сестры короля Александра, вдовы убитого вел. кн. Иоанна Константиновича Романова). Оно тесно сотрудничало с сербскими учеными, исследовало архивы, устраивало научные экспедиции и чтение публичных лекций не только по археологии, но и истории, искусству, славянской культуре.

Особую ценность до наших дней сохранили три толстых тома «Сборника Русского археологического общества» (1927, 1936, 1940 — всего 776 с.). В них опубликованы труды о хазарах (В. А. Мошина), о происхождении глаголицы (С. М. Кульбакина), о памятниках ассирийского законодательства (М. А. Георгиевского), о провинциальном римском искусстве (Д. Н. Сергеевского), о славяно-финских древностях (А. Л. Погодина), о византийском роде Ангелов (Г. А. Острогорского), о сербских святых в русских рукописях (С. Н. Смирнова), о русских навигаторах среди южных славян (А. В. Соловьева) и т.д.

Профессор Белградского университета Д. Анастасиевич в своей приветственной речи по поводу десятилетия работы общества, которому приходилось работать почти без всяких средств, удивляясь результатам его деятельности, объяснил этот успех исключительно тем идеализмом, который присущ русским ученым.¹²

Русский дом им. Императора Николая II в Белграде

С учреждением в 1928 г. Комитета русской культуры (Руски културни одбор) под председательством слависта Александра Белича, выпускника Московского университета и председателя Сербской академии наук, русским культурным организациям были даны большие денежные ассигнования. В круг забот Комитета вошли Русский научный институт, Русское музыкальное общество, объединения хорового пения и драматические труппы, Общество русских художников и «Русский сокол» в Белграде. Комитет помог пополнению фондов Русской публичной библиотеки, поддержал белградские съезды русских ученых, писателей и инженеров, помог устройству Большой выставки русского искусства. В 1931 г. комитет приступил к осуществлению постройки Русского дома, — уникального в те годы мероприятия в среде российского рассеяния — апофеоза отношения югославского правительства к русской эмиграции. На его торжественном открытии 9 апреля 1933 г. академик А. Белич сказал:

«Этой части нашей земли, в которой мы живем, старому Королевству Сербии, полуразрушенной, замученной, лишенной многих сотен тысяч лучших своих сынов, павших на войне, русские эмигранты оказали действительно существенную культурную помощь. Пройдет еще очень много времени, и в строительстве новой культурной жизни нашей страны, все еще будет заметно участие в ней живших у нас русских интеллигентов <... > Его величество король Александр I, вдохновитель мысли о его постройке, как глубоко ценящий огромное значение духовных нужд русского народа, усмотрел, что помощь нашего народа русским людям не будет исчерпывающе полна, если мы не позаботимся и об этой стороне их жизни.»¹³

Величественное здание, возведенное в стиле русского ампира (архитектор В. Ф. Баумгартен) являлось центром научной, просветительной и художественной жизни, приняв под свои своды: Русский научный институт, Военно-научные курсы, Русскую публичную библиотеку (после Тургеневской библиотеки в Париже самую ценную в Русском Зарубежье), русско-сербские мужскую и женскую гимназии, начальную школу, общество «Русский сокол», два музея, театральные труппы, Русское музыкальное общество, Союз русских художников и другие организации.

В нем были концертно-театральный зал, ателье для художников, кабинеты, гимнастический зал, бильярдная и т.д.

Русский дом, как и русский храм Св. Троицы (1924), были едва ли ни единственными местами скопления русской эмиграции в суровые военные годы германской оккупации Белграда. Послевоенная судьба дома («Дома советской культуры») и его архивов по многим причинам полностью еще не исследованы.

Новосадское отделение «Русской матицы» (Пример культурной работы русской интеллигенции в провинции)

«Слово *матица*, употребительное в древнерусском книжном языке, означает в прямом смысле пчелиную матку. В древнерусской письменности «*матицы*» — сборники религиозных, философских и нравственных статей, составляли одно из излюбленных чтений. В практике славянских народов *матица* есть национально-культурное объединение, собирающее духовные силы народа для борьбы с утратой национального лица и культурных традиций. Согласно с этим, *Русская матица* есть культурно-национальное общество, целью которого является:

- поддержание и развитие национального сознания среди русских людей;
- содействие народному просвещению;
- объединение русских людей на почве национально-культурной работы.

Русская матица зовет в свои ряды всех национально-мыслящих русских людей во имя спасения священных традиций, передачи культурных богатств русской науки, искусства и жизни, ради содействия религиозному, национальному и нравственному воспитанию русских детей», — читаем на обложке одного из выпусков Новосадского отдела Русской матицы.¹⁴

Идея учредить на чужбине Русскую матицу возникла с учетом столетнего опыта и деятельности остальных матиц — Польской (1822), Сербской (1826), Чешской (1831), «Иллирийской», т.е. Хорватской (1842), Лужицко-сербской (1847), Галицко-русской (1848), Словацкой (1862), Словенской (1863), Далматинской (1863).

30 апреля 1924 г. в Любляне русские беженцы создают свою «Русскую матицу» и утверждают ее устав. Председателями состояли профессора А. Д. Билимович, а с 1931 г. — Е. В. Спекторский. Необходимость распространять работу и выполнять намеченные цели не могла ограничиться лишь Любляной, культурным городом в Словении, в котором осело сравнительно мало русских. Очень скоро возникают отделы в остальных колониях — Загребе, Баня-Луке, Бечкереке, Новом Саду, Црвенке, Хростовце, Кральево, Бачкой Тополе, Ужице, Сомборе, Мариборе, даже в Брюсселе.

Отделение Русской матицы в Новом Саду было основано 5 апреля 1925 г. В него влился, возникший еще в 1922 г., Русский национальный кружок. До ноября 1927 г. председательницей состояла Александра Анатольевна Розеншильд-Паулин, преподаватель французского языка в женской гимназии, а после нее, до роспуска отдела в апреле 1941 г., — Дмитрий Васильевич Скрынченко, преподаватель истории и латыни. Вместе с председателем Правление составляли: секретарь, казначей, библиотекарь и ревизионная комиссия. В 1929 г. в отделении числилось 222, в 1933 г. — 275, а в 1941 г. — 152 члена.¹⁵

Все годы отделение занималось разнообразной и плодотворной деятельностью. Были открыты курсы обучения русскому языку, устраивались торжественные заседания, приуроченные к юбилейным датам: 50-летию Русско-турецкой войны, годовщинам Л. Толстого, Глинки, Гоголя, ген. Скобелева, Тургенева, лекции о Достоевском, Писемском, Анне Павловой, заседание, посвященное Острожскому Евангелию, ежегодно проводились праздники «День русской культуры», были отмечены 100-летие Матицы сербской, Пушкинский юбилей в 1937 г. Театральная секция ставила спектакли, устраивала концерты, Рождественские елки. Особой популярностью пользовались лекции, читать которые, помимо новосадцев, приглашались русские ученые-профессора из других городов.

Новосадское отделение Русской матицы поддерживало и лекции на сербском языке, которые читались в залах Матицы сербской. В 1929 г. отделение собрало данные о российских военнопленных, погибших в этих краях в 1915-1918 гг. и на собранные по подписным листам средства соорудило на двух кладбищах памятники-склепы. Отделением финансировалось издание на сербском языке воспоминаний бывшего австровенгерского военнопленно-

го в России, словенца Рудольфа Трушновича, который лишь в 30-е гг. возвратился из СССР. Отделение материально помогало нуждающимся учащимся.

Помимо существующих уже в Новом Саду Русской публичной библиотеки Союза городов и Библиотеки русских военных летчиков, была создана третья — Новосадского отделения Русской матицы. К 1941 г. ее фонд возрос до 7 тыс. томов. Для бесплатного пользования в читальный зал выписывались русские газеты и журналы: белградские — «Русский голос», «Военный журналист», «Галлиполийский вестник», «За Родину!», «Пути русского сокольства», берлинское «Новое слово», прикарпатская «Православная Русь», парижские — «Возрождение», «Россия и Славянство», «Иллюстрированная Россия», «Часовой» и другие. В 1934 г. отделение открыло филиалы своей библиотеки в городах Сремска Митровица и Винковци, снабжало книгами приют и начальную школу русских сирот при монастыре Хопово, школы на шахтах г. Бор (Восточная Сербия), в Ужгороде и даже русскую колонию в африканском местечке Курригха.

Издательская деятельность Новосадского отделения была скромной. Из пяти публикаций первая является самой значительной и известной — сборник «Благовест», 1925. — Вып. I (единственный). Редактор А. А. Розеншильд-Паулин и секретарь Ф. В. Григорьев привлекли в сотрудники видных деятелей эмиграции: митрополита Антония (Храповицкого), А. Д. Билимовича, В. В. Шульгина, Е. В. Спекторского, Н. С. Арсеньева. А. Розеншильд-Паулин опубликовала свою драму «Совершенная любовь», в сборнике были напечатаны и патриотические стихотворения молодежи. В. Григорьев составил хронику Русской матицы. Весь сборник пронизывает идея сохранения на чужбине русских культурных ценностей, религиозного и национального сознания. Это отметили в рецензиях на «Благовест» софийская «Русь» и парижское «Возрождение».

В пользу «Благовеста» был устроен сбор средств. Журнал предполагалось выпускать поквартально. Однако вторая тетрадь так и не вышла. На оставшиеся средства в 1926 г. были выпущены две брошюры скромной Библиотеки «Благовеста», задуманной как периодическое, нумерованное издание для детей и юношества — «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина и «Стих о Егории Храбром».

В первом выпуске редакторы обосновывают цели таких изданий: «С каждым годом, с каждым днем множатся и пополняются ряды детей, не понимающих и не видевших России. В суете нашей жизни, неумолимо поглощающей все наши силы, все время, оскудевает русская душа и рвется родная традиция. Растут и множатся разбросанные в целом мире представители новой интернациональной породы — русские иностранцы. Долг наш препятствовать этому. И если лично каждый отец и каждая мать не в силах окружить ребенка уютом родного быта, дать ему няню, они должны и могут дать ему русскую книгу.»

Второй выпуск предназначался детям старшего возраста. На его обложке приведены патриотические и педагогические «Заветы Русской матицы русской молодежи»:

1. Знать родной язык, всегда употреблять его в разговоре с русскими, изучать родную страну;
2. Быть терпеливым и настойчивым, не оставлять дела, не доводя его до конца;
3. Быть честным и не посрамить имя русского;
4. Сделать из себя человека, чтобы служить России;
5. Стремиться русской молодежи к объединению;
6. Возлюбить Родину свою и Веру.

Третий выпуск Библиотеки «Благовеста», увидевший свет в 1927 г., по всей вероятности финансировался самостоятельно. Опубликован труд «Душа Православия» Н. С. Арсеньева, доктора богословия, видного деятеля экуменического движения, профессора Кенигсбергского и Берлинского университетов.

Лишь в 1936 г. вышло в свет последнее издание Новосадского отделения Русской матицы, скромный сборник «Зарницы», содержащий 16 стихотворений новосадцев — судьи В. И. Майбородова, В. Н. Дорофеевой и лейтенанта флота А. Г. Бальца. Сборник открывает предисловие: «Прошло уже 16 лет нашего изгнания. Постепенно вымирает старшее поколение, принесшее за границу остатки великой русской культуры. Далеко не все в нашем прошлом было плохо и не все среди эмиграции было мелочно и безнадежно <...> Главное, чем жила и живет эмиграция, это Родина, ей отдают все мысли, все надежды, ей посвящаются и искры поэзии, которая всегда живет в русской душе. И Новый Сад имеет эти искры...»

Как культурно-просветительное общество Новосадское отделение пользовалось покровительством короля Александра, но на просьбы Правления Дворцовая канцелярия откликалась редко, в особенности после убийства короля в 1934 г. в Марселе. Финансовое положение все больше обострялось. Все-таки Новосадский отдел Русской матицы оставался самым деятельным. Работа люблянского центра шла по другому руслу — организационному и научному.

...

В рамках одного очерка нам не удастся отразить еще многие объединения русской интеллигенции в ее югославской диаспоре — Общество ревнителей военных знаний, Курсы обобщенного научного изучения России; представить единственный в Зарубежье филателистический журнал «Россика» (номера которого редактировались в городке Белая Церковь, а печатались в Новом Саду, Белграде, Таллинне, Риге, Шанхае); представить деятельность русских учебных заведений (в особенности Константиновский кружок), музей и публикации Русского кадетского корпуса (его директором состоял ген.-лейт. Б. В. Адамович, брат парижского литературного критика и поэта); ближе познакомиться с русскими книгоиздательствами, сатирическим журналом «Бух!», белградскими поэтическими сборниками. . .

«Русская интеллигенция — это класс или круг, или слой (все слова не точны). Слой, по сравнению со всей толщей громадой России, очень тонкий, но лишь в нем совершалась кое-какая культурная работа. И он сыграл свою, очень серьезную историческую роль», — писала З. Н. Гиппиус.¹⁶

В традиционном, западном употреблении «интеллектуал» — понятие скорее профессиональное, у русских — духовное, нравственное. Русская интеллигенция осталась такой и в эмиграции.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Кочаровский К. Р. Зарубежье и отечество. В чем мы согласны — что нам делать? — Белград, 1937. — С. 1.
- 2 Ј о в а н о в и ć М. Doseljavanje ruskih izbeglica u Kraljevinu SHS 1919–1924. — Magistarski rad. Filozofski fakultet. Beograd, 1993. — S. 134.
- 3 М а н а к и н В. Русские в Югославии // Альманах Кральевине Срба, Хрвата и Словенаца. 1921–1922. — Загреб, 1922. — Св. 1. — С. 236–237.
- 4 Зарубежная русская школа, 1920–1924. — Париж, 1924. — С. 26–27.
- 5 K a t c h a k i J. N. Bibliography of Russian Refugees in the Kingdom of SHS (Yugoslavia) 1920–1945. — Arnhem (Holland), 1991.
- 6 Велика изложба руске уметности у Београду. Каталог. — Београд, 1930.
- 7 На страже России. Десять лет Союза русских писателей и журналистов в Югославии. 1925–1935. — Белград, 1935. — С. 7.
- 8 В защиту русского языка. Памятка Союза ревнителеев чистоты русского языка. — Белград, 1937. — С. 7.
- 9 Алексеева Л. Из воспоминаний о Белграде // Русский альманах. — Париж, 1981. — С. 367.
- 10 После войны архив Союза ревнителеев чистоты русского языка из Русского дома был вывезен в СССР и сегодня хранится в Москве (в ЦГАЛИ и в ЦГАОР).
- 11 Спекторский Е. В. Десятилетие Русского научного института в Белграде // Записки Русского научного института. — Белград, 1938. — Вып. 14.
- 12 Осведомитель. Десятилетие Русского археологического общества в Югославии // Россия и славянство. — Париж, 1931. — 5 дек.
- 13 Русский дом им. Императора Николая II. — Белград, 1933. — С. 33, 37.
- 14 Стих о Егории Храбром. — Новый Сад, 1926. (Библиотека «Благовеста». — Вып. 2).
- 15 Историјски архив Новог Сада. — Фонд 13866/1931; Русский народный вестник. — Белград, 1941. — 6 апр.
- 16 Г и п п и у с З. История моего дневника // Русская мысль. — Прага, 1922. — Т. 3. — Кн. 4. — С. 140.

РУССКИЕ В САРАЕВЕ

РОСТИСЛАВ ПОЛЧАНИНОВ

Русские, прибывшие в Королевство СХС (сербов, хорватов и словенцев), были в своей массе политическими эмигрантами, покинувшими родину с оружием в руках, а не беженцами — бежавшими от политических или религиозных преследований, хотя, конечно, были и такие.

Помощью русским эмигрантам в Королевстве СХС ведала державная комиссия по делам русских беженцев (по-сербски — Државна комисија Кралевине СХС за руске избеглице). Здесь слово «эмигрант» было умышленно заменено словом «беженец» (избеглица), чтобы правительству было легче получить от парламента (скупштины) деньги на помощь русским.

Первое время мы, русские, никакой денежной помощи не получали, но я слышал от взрослых, что правительство придумало такой оригинальный способ: русские эмигранты получили право раз в месяц обменивать ограниченную сумму своих рублей на динары. С одной стороны, это было пособием, но, с другой стороны, у Королевства СХС был какой-то шанс в случае падения большевизма получить свои деньги обратно.

Сразу после конца Первой мировой войны в Королевстве СХС ощущался сильный недостаток в образованных людях. Сказывались не только огромные потери на фронтах войны, но и небывалые потери в рядах национально мыслящей интеллигенции в австро-венгерских концлагерях и в рядах отступившей через Албанию сербской армии. Крупные потери от голода и болезней были и среди мирного населения в оккупированных Австро-Венгрией Сербии и Черногории. Сказывался также и уход австро-венгерских специалистов к себе на родину из-за нежелания служить у югославян.

Поэтому в лице русских эмигрантов королевство СХС нашло недостающие кадры для строительства нормальной

жизни в новом государстве, и потому процент русских, устроившихся по специальности на частные предприятия или на государственную службу, был исключительно высоким. Это не могло не сказаться на психологии русских и на отношении к ним местного населения. К этому еще надо добавить традиционное русофильство не только среди сербов, но и в достаточной мере среди хорватов и словенцев.

Правда, русским, особенно вначале, платили меньше и посылали их в провинцию, куда своя интеллигенция старалась не ехать. Одним из примеров низкооплачиваемого интеллектуального труда был отдел государственной статистики в Сараеве.

После заключения мира между Сербией, с одной стороны, и Австрией, Венгрией и Болгарией, с другой, и установления государственных границ, правительство Королевства СХС решило подсчитать, сколько людей, лошадей, рогатого скота, овец, гусей, уток, кур и прочего оказалось на его территории, какой кто веры, кто какой язык считает своим родным и т.д. Для этого в 1920 г. была проведена перепись.

Сараевский отдел государственной статистики был почти полностью укомплектован русскими офицерами. Подсчет анкет делался вручную. Евгению Ивановичу Гердту, русскому немцу, создавшему в Сараеве Русскую художественную деревообделочную мастерскую (Руска уметничка дрветна радња), заказали счёты, которыми югославы никогда не пользовались, были по-русски составлены инструкции и сделан перевод бланков. Директор и главный бухгалтер были из местных, все остальные были русскими. Два-три серба, случайно оказавшиеся среди служащих, очень скоро научились говорить по-русски и помогали русским служащим при всех затруднениях.

Из-за очень низкой оплаты труда служащие «статистики», как ее сокращенно называли, старались подработать где кто мог, и, конечно, искали лучше оплачиваемые места.

Мой отец, перейдя из «статистики» в Дирекцию финансов, устроил на свое место мою мать, но через пару лет, из-за начавшейся в стране безработицы, был издан закон, по которому муж и жена не могли быть одновременно на государственной службе, и мою мать уволили.

Легче было тем, кто до службы в армии имел хоть какую-нибудь специальность. Несколько русских врачей получили право практики без каких-либо особых экзаменов. Инженеры и чертежники легко получали работу.

Так, например, полковник В. Ф. Гуцин руководил метеорологической станцией, а военный летчик — донской казак Иван Стрельников — стал инструктором на военной авиабазе в Райловце около Сараева.

Биолог Скворцов, крупный специалист по малярийным комарам, стал директором научного института. Когда Югославия оказалась в руках коммунистов, его арестовали и вывезли в Среднюю Азию, где он, будучи заключенным, продолжал вести научную работу.

Поручик Димитрий Николаевич Сергеевский, археолог по профессии, возглавил археологический отдел Сараевского музея. Он был автором ряда научных работ на сербско-хорватском и на русском языках.

Гвардейский офицер Доне и князь Гедройц стали вскоре служащими в банках. Первый в «Областном банке» («Земальска банка»), а второй в сербском сельскохозяйственном банке.

Один русский, знавший английский язык, легко устроился на работу в Британском консульстве. Получал он небольшое жалование и комнату в здании консульства — красивом особняке, в котором после зимних олимпийских игр в Сараеве в 1984 г. был устроен Олимпийский музей. Прожив пять лет в консульстве, этот русский попросил дать ему британское подданство, как прожившему пять лет на британской территории, каковой являлось консульство в Сараеве. Для консула такая просьба была большой неожиданностью, а еще большей неожиданностью для консула было согласие Лондона удовлетворить эту просьбу. Об этом, конечно, много говорилось в русской колонии.

В начале 1920-х годов жены офицеров, в том числе и моя мать, подрабатывали, делая искусственные цветы из гофрированной бумаги.

Офицеры первое время донашивали свои военные формы. Мой отец снял погоны со своей шинели, но многие продолжали ходить с погонами. У многих формы были изрядно поношены, и, хотя никто оборванцем не ходил, мальчишки на улицах обзывали их «оборванцами» — крича им вслед — «руски пан подрпан». Не только мне, но

и взрослым ребята на улицах кричали — «рус — купус» (русский — капуста).

Желая помочь русским, местные военные власти выдали офицерам новые австрийские серо-голубые шинели, хранившиеся неизвестно для чего на военных складах. Было только сказано перекрасить их в черный цвет. Со временем русские приобрели себе штатские костюмы и стали незаметными в общей толпе. Хулиганы перестали называть русских «оборванцами», но на боковых улицах продолжали кричать — «рус — купус».

Еще одним способом заработать было рисование акварелью картин. Занимались этим и те, у кого был талант к рисованию, и те, у кого его не было. Кто-то, вероятно, начал продавать свои рисунки и потом спрос вызвал предложение. Темы рисунков, надо полагать, были разные, но мне запомнилось, как один «художник» после обеда в нашей столовой рисовал Ая-Софию в Константинополе.

У него была калька с контуром рисунка. Он эти контуры заштриховал мягким карандашом с нижней стороны, потом наложил кальку на специальную бумагу для акварели и обвел твердым карандашом все линии. На акварельной бумаге появились легкие карандашные очертания. После этого началось писание картины. Получилось быстро и неплохо. «Художник» поставил свою подпись, положил картину в папку и понес ее на Баш-Чаршию («турецкий базар», как его называли русские) к торговцу, которому поставлял свои картины. Мусульмане охотно покупали Ая-Софию для украшения своих квартир.

В Сараеве, как и в других городах Югославии, все русские объединялись в организацию, называвшуюся «Русская колония», а по-сербско-хорватски — «Руски одбор». Друзья отца, узнав, что он живет в Сараеве, написали ему: «Полчанинов — Руски одбор», и письмо дошло.

Председателем русской колонии с первых дней и до смерти в 1934 г. был Леонид Николаевич Новосильцев, как его все звали, а вернее — Новосильцов — потомок Гончаровых, известных тем, что Наталия Гончарова была супругой А. С. Пушкина.

Большинство офицеров состояло в РОВС — Русском обще-воинском союзе. РОВС охватывал целый ряд объединений — казачьих, которые назывались «станицами», галиполийцев, т.е. тех, кто прошел через лагерь в Галлиполи, и других. Был и Союз инвалидов. Югославия была

единственной страной, которая платила русским инвалидам такую же пенсию, как и своим участникам войны.

Русских офицеров, а в Сараеве почти все русские были офицерами, югославянские власти хоронили с воинскими почестями на военном кладбище. Там военные власти выделили для русских отдельный участок, на котором хоронили не только русских военных, но вообще всех русских. Кадеты имели особое место на русском участке.

Я помню деревянные кресты на кадетских могилах, которые в 1925 г. были заменены бетонными плитами. Потом был поставлен большой крест на высоком постаменте.

Спереди на постаменте было написано по-сербски: «Обитель руског кадетског корпуса».

На задней стороне слова кадета V выпуска А. Эйснера:
Звонко прославят вас трубы походные,
В дни наступленья великой весны,
Спите ж спокойно, России сыны,
Жертвы вечерние, жертвы бесплодные.

Справа слова «Б. А.»:

Листки отлетевшие,
Весной чуть пригретые,
Мечты недозревшие
И песни неспетые.

Слева слова кадеты А. Погребного, V выпуска:

Спите спокойно, кадеты родные,
Корпус наш память о вас сбережет,
Будет хранить имена дорогие,
В братской молитве он вас помянет.

Кадетский корпус покинул Сараево 5 сентября 1929 г., и для русских начался новый период.

В корпусе была русская домовая церковь, в корпусе устраивались торжества, читались доклады, устраивались спектакли. С отъездом корпуса в Сараеве остались только русская начальная школа, Колония с библиотекой, РОВС — Русский обще-воинский союз и Союз инвалидов, расколовшийся из-за внутреннего конфликта на два отделения. Общественная жизнь замерла. Случайные встречи бывали только раз в неделю в библиотеке Колонии.

Некоторое оживление произошло с приездом русского батюшки — о. Алексея Крыжко, который был назначен православным священником в городскую больницу. По его почину был создан в Сараеве русский приход. Для

церкви было снято пустовавшее помещение какой-то мастерской на улице Одиена Прице N 6 (новое название после 1945 г.), в центре города, недалеко от отеля «Европа».

Священник, получавший жалование от больницы, не имевший семьи (семья осталась в СССР), отказался брать деньги от небольшого русского прихода. Надо сказать, что русских в Сараеве было не так много, а особенно людей церковных. Трудный характер о. Алексея не способствовал привлечению людей в приход, но все же при церкви было создано сестричество.

Никакого церковного имущества не было. Все надо было либо покупать, либо делать самим. Нашлись добровольцы, сделавшие иконостас. Все иконы были написаны художником Чеглоковым. Он был большим поклонником о. Алексея и, написав икону св. Владимира, крестящего киевлян (по Васнецову), он одному человеку в толпе придал черты лица о. Алексея.

В начале 1931 г. приехавшие учителя Пелипец и его супруга Елена Николаевна основали Воскресную школу.

4 апреля 1931 г. был основан патруль русских одиночных скаутов «Волк», развернувшийся 15 июля 1932 г. в отряд ген. Корнилова.

Воскресная школа, в ее первоначальном составе, долго не просуществовала, и В. Пелипец решил заняться другими делами — оживить общественную жизнь.

Его супруга очень скоро стала активным членом сестричества и таким образом приобрела много знакомых среди русских сараевцев. Знакомство с председателем русской Колонии дало возможность В. Пелипцу основать при библиотеке Колонии «Устную газету». «Устная газета» долго не просуществовала, но и это не обескуражило В. Пелипца.

Следующим его начинанием было создание Югославяно-русской лиги, целью которой было, с одной стороны, сближение русских с югославянскими общественными деятелями, а с другой стороны — подготовка к Пушкинскому юбилею — 100-летию со дня смерти в 1937 г., которое предполагалось отметить во всем мире как событие мирового значения.

В 1934 г. Югославяно-русская лига делала свои первые шаги, и, в то же время, в Сараеве было основа-

но общество «Русский Сокол», которое тоже делало свои первые шаги, и ставило приблизительно те же цели.

Летом 1937 г. в Сараево из Белграда был переведен Виктор Михайлович Байдалаков — председатель Исполнительного Бюро НТСНП (ныне НТС). Это было своего рода ссылкой, сделанной под давлением СССР. Большевики очень рано обратили внимание на НТС и старались всячески мешать его работе.

После убийства в Марселе в 1934 г. короля Александра, который слышать не хотел о большевиках, началась своего рода «оттепель». В том же году или в 1935-ом появились на экранах советские фильмы — «Волга, Волга» и «Веселые ребята». В Югославии последний шел под названием «Пастир Костя». Белградский издатель Страхов выпустил ноты и сербский перевод песен из этих кинокартин. Мне кажется, что не было такого русского в Сараево, который не побывал бы на этих фильмах, а мы, молодежь, — пели по-русски и по-сербски песни из этих фильмов.

30 апреля 1940 г. в Москву прибыла югославянская торговая делегация, а 24 июня последовало признание Югославией Советского Союза.

Если после отъезда кадетского корпуса из Сараева русская общественная жизнь пришла в упадок, то к 1937 г., можно сказать, что она восстановилась.

В. Байдалаков использовал свое вынужденное пребывание в Сараево, чтобы устроить в ноябре 1937 г. первый для Сараева День Непримируемости, в котором приняли участие все русские общественные организации города. Этому способствовала и круглая дата — 20-летие советской власти. Вскоре после этого в Сараево было создано отделение НТСНП.

Я не был на Пушкинских торжествах, устроенных Югославянско-русской лигой, но на Дне Непримируемости мне пришлось выступить с коротким словом от имени русских скаутов-разведчиков. Зная инертность русских сараевцев, я был приятно удивлен, увидев полный зал, вмещавший около ста человек. Даже торжественные события в кадетском корпусе не собирали столько людей. Говорилось, что все русское Сараево было налицо, но это было далеко не так.

Помню, что я опубликовал в скаутском журнале «Голос одиночек» № 2 от 1 июня 1940 г. статью «Статистика русской молодежи в Сараево», в которой было написано,

что русских в Сараеве около 400, а из 108 детей в возрасте от 7 до 18 лет, 37 — не говорящих по-русски.

Многим моя статья не понравилась. Многие спорили со мной, и, когда я называл по фамилиям семьи с не говорящими по-русски детьми, мне возражали — ну какие же это русские? Они поженились на сербках и отошли от русских. На это я отвечал, что хоть они и отошли, но по крови остались русскими, а их дети, хоть и наполовину, но тоже русские.

Надо сказать, что были и такие сербки, которые, выйдя замуж за русских, и общаясь с русскими, сами стали говорить по-русски и учить русскому языку своих детей. Назову двух — Вдовкину и Невструеву. Но женившийся на сербке Запорожан отошел от русских и детей своих не научил русскому языку. Правда, он посылал их учиться русскому в Воскресную школу и записал в скауты.

Большинство русских, во всяком случае в Сараеве, приняло югославянское подданство. В 1928 г. всем русским, специальным указом «У. Бр. 2525» от 1 мая 1928 г., в виде исключения, было предоставлено право на льготное получение подданства, что давало всем русским возможность продвижения по службе и повышения жалования. В чем заключалась эта льгота — не знаю, так как когда отец получил подданство для себя, моей матери и меня, мне было лет десять.

Для дальнейшего повышения по службе и повышения жалования отцу следовало бы сдать экзамен по истории и географии Югославии, а, может быть, и по литературе. Отец на это не пошел.

Отец работал в дирекции финансов с 8 утра до 2 часов дня (а, может быть, до 3-х) без перерыва на обед. Такие часы были во многих государственных учреждениях. К своему небольшому жалованию он подрабатывал, собирая в магазинах заказы для деревообделочной мастерской Гердта, бесплатно распространяя среди докторов лекарства французских фирм и собирая заказы на эти лекарства в аптеках.

Югославия традиционно пользовалась австрийскими и немецкими лекарствами. Западная часть страны еще недавно принадлежала Австро-Венгрии, и старое поколение сараевских докторов оканчивало университет либо в Загребе, либо в Вене. В Сербии тоже привыкли к австро-венгерским лекарствам. После войны (1914—

1918 гг.) Франция старалась вместе с политическим влиянием распространить и свое экономическое влияние и не жалела средств на пропаганду своих лекарств. Отец, вероятно, думал, что его добавочные заработки дают ему больше, чем повышение жалования, связанное с продвижением по службе, но и связанное с экзаменами.

Хотя русские и не чуждались дружбы с местными, и там, где было мало русских, они быстро растворялись в местной среде, в Сараеве все как-то получалось так, что связи русских с русскими были крепче и глубже, чем связи с местными. У русских была своя церковь, своя библиотека, свои соколы и свои скауты.

Языкового барьера не было. Русские очень быстро стали свободно говорить на родственном сербско-хорватском языке, но были барьеры культурные и экономические.

По своему экономическому уровню большинство русских принадлежало к низшим слоям среднего класса, но интеллектуально было ближе к верхним слоям среднего класса.

Например, у серба д-ра Радулашки, большого русофила, было деловое знакомство с моим отцом, а я дружил с его сыном, которого знал по русскому детскому саду, куда мы оба ходили. Д-р Радулашки приходил к нам иногда с сыном, но без жены, или брал меня одного с собой на дачу. Он нас бесплатно лечил. Отношения были самыми лучшими, но не близкими.

На улице Хаджи Сулеймана в доме N 17 (после 1945 г. Ф. Яхича Шпаца N 21) нашей соседкой была судетская немка Саллер. Мы жили дверь к двери и отношения были самые дружеские, но . . .

Раз в неделю, кажется, по вторникам, у нее был «жур» (моя мать называла это — «журфиксом», ей был известен такой обычай по России). В этот день у нее собирались подруги на чашку чая. Каждая из подруг каждую неделю приглашала всю компанию к себе на «жур». Мою мать не приглашали, и понятно — общего у нас ничего не было.

В первом примере мы были равны интеллектуально, но не социально, а во втором — наоборот. Это и заставляло большинство русских держаться среди своих. Местные на нас за это не обижались.

Из тех, кто выбился в верхний слой среднего класса, я знал одного судью и нескольких докторов. Про одного

из них писал Юрий Ракитин (белградец) в газете «Новое время» от 31 июля 1924 г.: «Огромную популярность и практику имеет здесь <в Сараеве. — Р. П.> наш известный петербургский доктор лейб-педиатр Высочайшего двора Иван Павлович Жегалов, друг почти всех артистов, так называемый «Ваничка Жегалов»; великолепный исполнитель романсов. Помню его выступления на вечерах у Н. П. Корабчевского. Здесь он также и театральный доктор, а жена его играет на здешней сцене».

Добавлю от себя, что после отъезда в Белград д-ра Сергея Семеновича Трегубова Жегалов стал и врачом русской начальной школы. Про него говорили, что он «осербился» и вместо именин, которые сербы не отмечают, называл свой день Ангела «красной славой» (день небесного покровителя семьи), и проводил его по сербскому обряду с освящением «колача» и «колива» (кутья) и угощением печеньем, вареньем и черным кофе, обозначавшим, что прием окончен и гостю пора идти домой. Может быть, это было хитрым расчетом, что на «красну славу» никого не приглашают и что гостей не надо занимать, ни особенно угощать. Русские его за это очень осуждали.

В той же статье «Откуда все началось» Ракитин упомянул еще одного преуспевшего русского: «Бывший управляющий кабинетом Его Величества генерал Е. Н. Волков организовал здесь, на Илидже, большое лесное предприятие, где работает также много русских. Думал ли я там, в Петербурге, приходя каждое 20-е число за жалованьем во флигель Аничковского дворца, что буду гостить у самого управляющего Императорским кабинетом и где — в боснийских горах, на лесопильном заводе!»

В 1924 г., когда Ракитин писал о своем посещении Сараева, мне было 5 лет, а когда я подросток, то Волкова ни в Илидже, ни в Сараеве не было, во всяком случае, среди живых.

Будучи скаутским руководителем, я знал все семьи, где были дети. Это были и состоятельные люди, и среднего заработка, и сравнительно бедные. Бедствовавших среди русских в Сараеве не было.

Более состоятельные жили в центре города, имели радио, граммофон, но ни у кого не было ни телефона, ни автомобиля. Было центральное отопление, газовые плиты и холодильники. Менее состоятельные жили дальше от центра, в домах без газа и центрального отопления, а если

жили в центре, то либо в подвальных помещениях, либо на 4-х этажах домов без лифта, а такими были почти все дома в Сараеве.

Мало кто из русских имел холодильники, да и вообще в Сараеве в 1930-х годах холодильники считались предметом роскоши. Люди хранили непортящиеся товары в кладовках, а за скоропортящимися ходили каждый день или почти каждый день на базар. Приготовление еды отнимало у хозяек немало времени. Особенно трудно было вдовам, которым приходилось и работать, и вести хозяйство. Я знал двух таких с детьми. Зарабатывали они на жизнь физическим трудом.

Русские мужья славились в Югославии тем, что помогали женам по хозяйству. Ленивым девушкам говорили, что им нужен русский муж. Местные мужья были, конечно, разные, но очень многие после работы шли в «кафаны», где заказывали себе порцию турецкого кофе и сидели часами, разговаривая с друзьями. Кофе подавался в «джезвах» — небольших металлических сосудах, в которых он и варился. Кофе пили из «фильджанов», маленьких фарфоровых чашечках без ручек. В одну «джезvu» входило два «фильджана».

Почти все русские, прибывшие в Югославию с белой армией, имели образование не ниже среднего. Людей без среднего образования, как мне кажется, не могло быть больше 5%. Первые годы многим приходилось браться за физический труд, но вскоре все смогли перейти на интеллигентную работу. Для психологии русских в Югославии это обстоятельство имело очень важное значение.

Во второй половине 1930-х годов, когда у Югославии улучшились отношения с СССР, стала возможной репатриация югославын, служивших в Первую мировую войну в австро-венгерской армии, попавших к русским в плен и застрявших в СССР. В 1940 г. мне было известно 13 таких семей. Все их русские жены были крестьянками с невысоким уровнем грамотности.

Русские сараевцы и не подозревали об их существовании, а если и слышали про них, то никакого интереса к ним не проявляли. С другой стороны, у новоприехавших никакой тяги к русским не было. Жили они своим мирком и своими заботами.

Встреча белой эмиграции с новоприезжими произошла случайно. Один из скаутов-разведчиков — Игорь Моска-

ленко, учившийся в ремесленной школе, случайно познакомился с одной девушкой лет 15-ти. Ее отец, после того как большевики освободили его из плена, попал в Красную армию, но, когда стало возможным, вернулся к себе на родину — в Сараево.

Девушка была в пионерах, но там ей не очень понравилось. Она не была ни коммунисткой, ни антикоммунисткой, а была обычной девушкой из провинции. Игорь пригласил ее на сбор к скаутам-разведчикам, и ей там понравилось. Было много русских ребят, и она оказалась в центре внимания. Когда она рассказывала о своей жизни в Советском Союзе, все ее внимательно слушали, а потом все вместе пели и «Легко на сердце», и «Как много девушек хороших». Потом она спела пару никому не известных советских песен, а кончился сбор какими-то играми.

На следующий сбор она пришла с подружкой, такой же, как и она, новоприезжей. Они жили по соседству в рабочем поселке — Новое Сараево, а их отцы работали там же в железнодорожной мастерской.

Оказалось, что в Новом Сараеве было еще несколько таких семей с детьми поменьше, которые за пару лет разучились говорить по-русски. Игорь взялся организовать скаутскую работу в Новом Сараеве и дал мне кое-какие данные для статьи «Статистика русской молодежи в Сараеве».

Эта моя статья была опубликована в журнале «Голос одиночек» (N 2, 1 июня 1940 г., Сараево). Журнал печатался под моей редакцией на шапирографе в количестве 40 экземпляров для руководителей одиночных скаутов-разведчиков и старших членов НОРС-Р — Национальной Организации Русских Скаутов-Разведчиков. Текст статьи приводится ниже с некоторыми сокращениями:

«СТАТИСТИКА РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ В САРАЕВЕ»

Работая с молодежью уже 10 лет, я знаю хорошо положение русских детей в разных странах, а особенно в Югославии. Положение детей в разных городах бывает разным. Денационализация там, где нет русской церкви, школы и организации русской молодежи будет сильнее, чем там, где есть и одно, и другое, и третье.

Положение молодежи в Сараеве, где я живу, можно считать характерным для городов со средним количеством русских (в Сараеве около 400 русских), с русской церковью, начальной школой и несколькими общественными организациями.

В мою статистику я взял детей, учащихся в начальных и средних школах, или возраста 7—18 лет. Предоставляю цифрам говорить за себя.

	муж.	жен.	итог
Количество русских детей	60	48	108
говорящих по-русски	39	32	71
не говорящих по-русски	21	16	37
Дети, состоящие в дружине скаутов-разведчиков	22	22	44
Дети, состоящие в о-ве «Русский Сокол»	16	13	29
Дети, нигде не состоящие	33	22	55
Учащиеся в русской начальной школе	12	10	22
Учащиеся в югославянских начальных школах	7	9	16
Учащиеся в югославянских гимназиях	27	19	46
Учащиеся в других югосл. средних школах	7	9	16
Нигде не учащиеся	7	1	8
Учащиеся средних школ, окончившие русскую нач. шк.	14	10	24
— научившиеся по-русски в русской нач. школе	9	8	17
— продолжают получать русское образование в русской воскресной школе	8	4	12
Учеников русской воскресной школы, говорящих по-русски	6	2	8
не говорящих по-русски	2	2	4
Учившихся в воскресной школе	16	13	29
Количество хороших учеников (приблизит.)	26	16	42
Количество средних и ниже (приблизит.)	24	28	52
Без сведений	3	3	6

Семьи	оба русские	только: мать	отец	?	итог
Семьи с 1 ребенком	22	2	5	4	33
Семьи с 2 детьми	10	8	5	—	23
Семьи с 3-4 детьми	5	3	8	—	16
Семьи умственного труда	32	15	3	50	
Семьи физического труда	6	15	—	21	
Без сведений				1	1

При рассмотрении цифр, бросается в глаза, что половина наших детей — из смешанных браков, и что треть детей не говорит по-русски. Если бы к числу неговорящих еще прибавили бы число выучившихся русскому языку в русской начальной школе, то, при отсутствии таковой, число неговорящих было бы больше половины, да и говорящие часто говорят на неправильном русском языке.

Неорганизованной молодежи примерно 50 % — а это отнюдь не такой большой процент, если мы сравним с процентом организованной молодежи у других народов. Из организованной молодежи 83 % принадлежит к организации скаутов-разведчиков (из 53 — 44 человека), что доказывает жизнеспособность организации, и что она более отвечает духу и желаниям как семей, так и самой молодежи.

20 человек детей и подростков (сокольская терминология) из 29, состоящих в обществе «Русский Сокол», состоят одновременно и в дружине скаутов-разведчиков.

Интересно отметить, что в числе однодетных семей преобладающее количество чисто русских; многодетные же семьи главным образом смешанные.

Положение в Сараеве является характерным для мест с соответствующими условиями общественной жизни, и мы на основании этих цифр можем делать общие выводы.

1) Количество организованной молодежи вполне удовлетворительно. Почву для этого создают церковь и школа, которые держат молодежь вместе.

2) Язык есть ключ к национальности, и потому мы замечаем, что в стороне от русской общественной жизни стоят, главным образом, не говорящие по-русски. В этом отношении велика роль наших зарубежных школ.

3) Новое поколение молодежи показывает пониженную успеваемость в школах, в то время как в предшествовавшие годы русские славились хорошими успехами в школах».

В заключение — несколько слов о себе.

Я, Ростислав Владимирович Полчанинов, родился 27 января 1919 г. в Новочеркасске в семье полковника, служившего в Штабе Верховного главнокомандующего при императоре Николае II, Деникине и Врангеле. Эвакуировался с родителями из Севастополя в Королевство СХС (Югославию). В Сараеве окончил 4-классную русскую начальную школу, учился в местной гимназии и заочно на юридическом факультете Белградского университета.

Юрист по образованию, журналист по профессии, историк и общественный деятель по призванию, преподавал многие годы в русских церковных школах. Был заместителем Синодального школьного инспектора (Синода Русской Православной Церкви за границей). Автор ряда учебников («История Русской Америки и Американской Руси», «История русского искусства» и др.), книг «Заметки коллекционера», «О Югославии и русских в Югославии», «По русским улицам Парижа» и монографии «Мы — сараевцы и наши песни».

В 1931 г. вступил в Союз скаутов Королевства Югославии, а затем в НОРС — Национальную Организацию Русских Скаутов. В 1935 г. окончил югославянские курсы для руководителей и 31 декабря 1935 г. был назначен начальником Отделения русских одиночных скаутов-разведчиков в Югославии. В годы войны был одним из руководителей подпольной скаутской работы.

Работая в ОРЮР — Организация Российских Юных Разведчиков (новое название НОРС), в 1945—1951 гг. организовал и возглавил работу югославянских скаутов в «ди-пи» лагерях (для «перемещенных лиц») в Германии и Австрии.

В 1951 г. был назначен начальником ГК — Главной квартиры ОРЮР и наладил отчетность, которой до этого у русских скаутов не было.

В июне 1965 г. возглавил Исторический комитет, а с 8 октября 1986 г. стал начальником Сектора истории ГК ОРЮР. Издаю бюллетень «Страницы истории».

Кроме ОРЮР с 1934 г. состою в русском сокольстве. В июле 1987 г. возобновил издание бюллетеня «Пути русско-

го сокольства», выходявшего в 1938 — 1941 г. в Югославии. С июля 1991 г. в этом деле мне помогает А. Сергеевский.

Вместе с Ю. Лукьяновым в 1989 г. начал работу ОРЮР в России, а затем с А. Сергеевским — сокольскую.

Состою членом Русской академической группы в США и сотрудничаю в «Записках», которые раз в год издает эта группа.

Помогал М. Шатову в 1971—1972 гг. в составлении 4-х томного указателя русской зарубежной периодики (на английском яз.), в 1983 г. для сборника «Русские канадцы, их прошлое и настоящее» (на английском яз.) написал историю русских скаутов в Канаде и отдельную главу о русской периодике в Канаде. В 1986 г. сотрудничал с Кентским университетом (Огайо, США) в составлении «Указателя американской этнической печати: славянской и восточно-европейской» (на английском яз.)

По вопросам истории российского Зарубежья сотрудничаю с кафедрой русской литературы Тартуского университета (Эстония), с Отделом славистики Загребского университета (Хорватия) и со Славянско-балтийским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки. Собираю русские зарубежные открытки и поздравительные карточки и русскую зарубежную периодику. Выпустил четыре номера «Летописи русских зарубежных периодических изданий». Первый номер — по просьбе «Радио Свободы», два следующих — с материалами Кентского университета и последний, о русской скаутской периодике в Югославии, — для О. Джурича и И. Качаки. Готовлю следующий номер.

Пишу мемуары «Мы — сараевцы» — свои воспоминания и воспоминания о покойных друзьях — Б. Мартино, С. Пелипце и М. Муличе.

Состою в Русском нумизматическом обществе и в «Росике» — обществе русской филателии и сотрудничаю в их журналах.

В августе 1968 г. начал печатать в «Новом русском слове» (Нью-Йорк, США) «Уголок коллекционера» и статьи на другие темы. Сотрудничаю с «Единением» (Сидней, Австралия), «Вестником руководителя» (ОРЮР, Нью-Йорк, США) и с другими изданиями.

В общем, стараюсь поделиться знаниями и опытом со всеми, обращающимися ко мне за помощью.

БЛОКОВСКИЙ СБОРНИК

1964 — 1993

1. Блоковский сборник: Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 года / Ред. Ю. М. Лотман. — Тарту, 1963. — 573 с.

2. Блоковский сборник II: Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1972. — 590 с.

3. Блоковский сборник III: Творчество А. А. Блока и русская культура XX века / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1979. — 168 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 459).

4. Блоковский сборник IV: Наследие А. А. Блока и актуальные проблемы поэтики / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1981. — 276 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 535).

5. Блоковский сборник <V>: Мир Блока / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1985. — 142 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 657).

6. Блоковский сборник VI: А. Блок и его окружение / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1985. — 159 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 680).

7. Блоковский сборник VII: А. Блок и основные тенденции развития литературы начала XX века / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1986. — 162 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 735).

8. Блоковский сборник VIII: А. Блок и революция 1905 года / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1988. — 163 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 813).

9. Блоковский сборник IX: Памяти Д. Е. Максимова: Биография и творчество в русской культуре начала XX века / Ред. В. И. Беззубов. — Тарту, 1989. — 178 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 857).

10. Блоковский сборник X: А. Блок и русский символизм: Проблемы текста и жанра / Ред. З. Г. Минц. — Тарту, 1990. — 183 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 881).
11. Блоковский сборник XI / Ред. В. И. Беззубов. — Тарту, 1990. — 146 с. (Учен. зап. Тарт. ун-та. — Вып. 917).
12. Блоковский сборник XII / Ред. А. Мальц. — Тарту, 1993. — 226 с.

ГОТОВЯЩИЕСЯ К ПЕЧАТИ
ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение II (Новая серия). — Статьи Ю. М. Лотмана, М. Ю. Лотмана, Е. Погосян, Л. Пильд, П. Рейфмана, А. Данилевского, Р. Лейбова, и других сотрудников кафедры русской литературы; публикации Л. Киселевой, Т. Милутиной.

ИМЕЮЩИЕСЯ В ПРОДАЖЕ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ

1. **Классицизм и модернизм.** Сборник статей. Тарту, 1994. — Сборник, подготовленный совместно кафедрой русской литературы Тартуского университета и Институтом славянских и балтийских языков Стокгольмского университета. Включает статьи Ю. М. Лотмана, М. Гришакковой, Е. Погосян, Л. Киселевой, М. Л. Гаспарова, П. Торопыгина, Г. Пономаревой, А. Данилевского, П. А. Енсена, С. Витт, П. А. Бодина, А. Юнгрен, М. Лотмана.

2. **Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. I** (Новая серия). Тарту, 1994. — Том, продолжающий «Труды по русской и славянской филологии» (1958 - 1990), включает статьи Ю. М. Лотмана, М. Гришакковой, В. Беспрозванного, И. Булкиной, Л. Вольперт, И. Пильщикова, П. Торопыгина, П. Рейфмана, Л. Пильд, В. Гехтман, Е. Горного, С. Исакова, А. Кретова, а также публикации Л. Киселевой и Р. Лейбова.

3. **Русская филология 6:** Сборник научных работ молодых филологов. — Тарту, 1995. — Сборник материалов международной студенческой конференции, проходившей в Тарту в апреле 1994 года с участием молодых филологов из Эстонии, России, Латвии, Финляндии.

4. **Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia IV:** «Свое» и «чужое» в литературе и культуре. Тарту, 1995. — Сбор-

ник материалов международного семинара, проходившего в Тарту в июне 1993 года. В семинаре принимали участие ученые Финляндии, Швеции, Дании, Италии, Эстонии и России. Сборник содержит статьи Ю. М. Лотмана, Н. Каухчишвили, П. Песонена, Е. Хеллеберг-Хирн, Б. Хеллмана, А. Розенхольм, Т. Суни, Н. Башмаковой, Л. Бюклинг, П. А. Енсена, П. У. Меллера, Д. П. Пиретто, Р. Казари, П. Рейфмана, Л. Вольперт, Ю. Пярли, Л. Пильд, П. Торопыгина, Л. Киселевой, И. Аврамец, Е. Берштейна.

5. **Русская филология 7:** Сборник научных работ молодых филологов. — Тарту, 1996. — Материалы международной студенческой конференции, состоявшейся в Тарту в 1995 году. В конференции принимали участие молодые филологи из Эстонии, России, Финляндии, Голландии, Польши.

Информация и заказы:

Tartu Ülikooli Kirjastus / Tartu University Press, Tiigi 78, Tartu, EE-2400, Eesti/Estonia/Estland

Fax: (372+7) 430061, e-mail: tyk@psych.ut.ee



ISSN 0207-4702
ISBN 9985-56-174-0